

И. К. ПАНТИН, Е. Г. ПЛИМАК, В. Г. ХОРОС

РЕВОЛЮЦИОННАЯ
ТРАДИЦИЯ
В РОССИИ

И. К. ПАНТИН, Е. Г. ПЛИМАК, В. Г. ХОРОС

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТРАДИЦИЯ В РОССИИ

1783—1883 гг.



МОСКВА
«МЫСЛЬ»
1986

ББК 63.3(2)4

П 16

РЕДАКЦИИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рецензенты:

член-корреспондент АН СССР ВОЛОБУЕВ П. В.,
доктор философских наук ВОДОЛАЗОВ Г. Г.,
доктор исторических наук ТАРНОВСКИЙ К. Н.

П $\frac{0505000000-079}{004(01)-86}$ 25-86

© Издательство «Мысль». 1986

ВВЕДЕНИЕ

Российская революционная традиция зародилась в конце XVIII в. Ее история — это история поразительного превращения на первый взгляд незначительных поэтических упражнений одинокого революционера-дворянина Радищева в идеологию и дела трех народных революций XX в., коренным образом изменивших лицо России, а в последующем и облик мира. Для такого превращения понадобились поистине гигантские усилия: поиски великих умов и действия отважных героев, борьба за воспитание и сплочение политического авангарда и работа по пробуждению широчайших народных масс, осмысление ошибок и преодоление блужданий. На этом пути революционерам довелось испытать горечь поражений и радость побед; делу революции были отданы тысячи и тысячи жизней. Ознакомить читателя с историей этой борьбы и исканий, особенно на ее первом отрезке, — цель настоящей книги.

Обобщающий труд, естественно, потребовал особого угла зрения, новой организации уже накопленных сведений, уточнения методологических установок. Для авторов было важно не столько обнаружить какие-то новые факты, сколько осмыслить либо переосмыслить уже известные факты и явления. Вместе с тем провести такое исследование было бы невозможно без опоры на ранее созданные труды. Далеко не всех своих предшественников авторы смогли назвать в своей книге. Но всем им они выражают искреннюю признательность и самую сердечную благодарность. В этой книге — огромная доля их труда.

Каждое поколение ищет в прошлом ответ на свои вопросы, а потому со временем, казалось бы, изученные и переизученные исторические данные открывают перед исследователями новые, ранее неразличимые грани, обнаруживают новые черты.

Для нас несомненно: современность с ее задачами, ее борьбой, ее трудностями каждый раз диктует такое прочтение прошлого, которое должно одновременно опираться на уже сложившиеся представления и быть в чем-

то новым. При этом важно не впасть в модернизацию истории, не утратить ее своеобразие, неповторимость. Нельзя опрокидывать настоящее на былое, как делал порой М. Н. Покровский¹. Необходимо искать между прошлым и настоящим органическую связь. Другими словами, новая историческая перспектива должна позволить распознать в минувшем *его собственное бытие*, но связанное неразрывными нитями с *настоящим*.

Историография темы рассмотрена в книге лишь в небольшой степени. Выделим здесь самое главное.

Неоспоримо, что в советской исторической науке познание отечественной революционной традиции в последние десятилетия продвинулось далеко вперед. Октябрьская революция 1917 г., подведя итог великой исторической борьбы, перевела страну на путь социалистического развития. Вместе с тем эта революция открыла дорогу к изучению своей предыстории. Создались прежде всего теоретические предпосылки для такого изучения — появился новый исторический масштаб для оценки явлений прошлого. Сложилась, далее, и материальные предпосылки для такого изучения — были рассекречены царские архивы, началась систематическая публикация документов и материалов по революционному движению. В результате исследователи получили возможность осветить основные (да и не только основные) события, фигуры, идеи. По теме «Освободительное движение в России» сложилась целая отрасль исторической науки, были изданы сотни книг, тысячи статей. Советские исследователи постепенно овладевали ленинской методологией изучения российского освободительного движения, осваивали с ее помощью богатейший конкретный материал. Вместе с тем исследование это шло не без противоречий и зигзагов.

Работа исследователей 1920-х — середины 1930-х гг. М. Н. Покровского, Ю. М. Стеклова, В. П. Полонского, В. Е. Евгеньева-Максимова, Г. А. Гуковского, Б. П. Козьмина, М. В. Нечкиной и других была весьма плодотворной. Они опубликовали основную массу документального материала, дали немало содержательных монографий². Вместе с тем в ряде трудов встречались элементы вульгарного социологизма — прямолинейного объяснения тех или иных общественных направлений, поворотов в развитии идей социально-экономическими факторами, неправомерного подтягивания домарксистских течений к пролетарскому этапу борьбы.

В 1940—1950-х гг. работа по пропаганде и изучению российской революционной традиции приняла широкий размах. Отметим, в частности, массовые издания сочинений А. Н. Радищева, А. И. Герцена, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, декабристов, петрашевцев (впоследствии эта работа найдет продолжение в переиздании ряда ценнейших первоисточников — «Колокола», «Полярной звезды», «Голосов из России» и др.). Выделим и крупные монографические исследования — М. В. Нечкиной, Ш. М. Левина, Г. П. Макогоненко³. Однако развитие «вширь» сопровождалось подчас упрощениями. Ряд домарксистских революционеров (особенно народники) принижались, другие (революционные демократы 40—60-х гг. XIX в.) возвеличивались, при этом зачастую фактический материал подводился под априорные схемы, которые диктовались привходящими соображениями.

В наши дни мы можем говорить о значительном продвижении исследователей вперед. Вышли содержательные и вместе с тем живо написанные книги о целых периодах в истории освободительного движения, об отдельных революционерах; такие авторы, как Г. Г. Водолазов, А. И. Володин, В. А. Дьяков, Б. С. Итенберг, Ю. Н. Коротков, Н. М. Пирумова, И. В. Порох, В. В. Пугачев, Е. Л. Рудницкая, В. А. Твардовская, Н. А. Троицкий, Н. Я. Эйдельман и др., сделали немало и для науки, и для того, чтобы ее ценности не превратились в «самоценности», дошли до широкого читателя. И вместе с тем многие проблемы еще ждут своего решения. По-прежнему сказывается разобщенность исследователей, которые ограничивают себя чисто локальными задачами освещения тех или иных событий или личностей, теряя при этом общую перспективу; отсутствуют обобщающие работы по истории российской революционной традиции в целом. До сих пор не преодолено заметное отставание теоретического, концептуального осмысления истории освободительного движения в России от ее фактографически-описательного освоения (хотя в самое последнее время признаки такого концептуального осмысления налицо)⁴.

Скажем несколько слов о зарубежной историографии. На Западе, особенно в последние десятилетия, прослеживается стремление к систематическому изучению предыстории Октября. По теме, которую западные авторы именуют «Корни русской революции», вышли и выходят десятки книг, сотни статей. В монографических ис-

следованиях освещена деятельность основных предшественников марксизма в России, появились исследования о Г. В. Плеханове, В. И. Ленине. Зарубежными исследователями рассматриваются различные аспекты русской освободительной мысли: ее размежевание с официальной идеологией, поиски ею «науки об обществе», противоборство в ней атеистических и религиозных идей. Появились исследования, посвященные российской интеллигенции, декабристским организациям, спорам «европейцев и москвитов», народническому этапу движения. Наконец, издано несколько пособий по истории революционной традиции в целом. Особое место уделяется ныне событиям трех российских революций начала XX в., особенно Октября 1917 г.

Среди этих работ есть легковесные поделки, есть и серьезные академические труды (Ф. Вентури, Е. Лэмперт, В. Берлин, Е. Карр и др.). Но все-таки нельзя не отметить известную политическую тенденциозность всей этой литературы, заданную ей явно или скрыто антикоммунистической направленностью (которая оказывает заметное влияние и на объективистские труды). Эта тенденциозность заключается в преимущественном внимании к экстремистским, сектантским, террористическим элементам в российском освободительном движении, в попытках в них искать «ключи к большевизму»*.

Бесспорно, российским революционерам XIX в. были свойственны блуждания, ошибки, организационная и теоретическая слабость. Но не следует упускать из виду, что эти явления, порожденные отсталостью тогдашних общественных отношений, шаг за шагом *изживались* в ходе борьбы, особенно на ее пролетарском этапе. Если Октябрьская революция 1917 г. и была подготовлена российским революционным движением XIX в., то прежде всего в том отношении, что большевизм, освободившись от наследия неразвитого революционаризма, впитал в себя лучшие традиции российской революционной демократии: ее реализм, трезвость, стремление к созданию

* Примечательный факт: спокойное, объективистское исследование итальянского историка Ф. Вентури «Русское народничество», воздерживавшегося от подобных параллелей, было издано в странах, говорящих на английском языке, в сопровождении явно антикоммунистического «Введения» И. Берлина, причем сам объективизм исходной концепции в немалой степени способствовал такому симбиозу (см.: *Ventury F. Roots of revolution. N.-Y., 1966*). Обратим внимания и на изменение заглавия книги («Корни революции»).

науки об обществе, к выражению коренных интересов народа. Руководствуясь большевизм примитивным революционным сознанием, прибегай он к сектантским методам борьбы, он не смог бы довести до победы глубинную социальную революцию в стране. Этот основополагающий факт и обходит буржуазная антикоммунистическая литература.

Можно указать и на основной методологический пробел разбираемых нами западных работ: развитие революционного движения в России, а также эволюция ее революционной мысли рассматривается, как правило, в отрыве от анализа процессов социально-экономического развития страны. Этот недостаток присущ даже самым лучшим западным пособиям вроде упомянутого выше труда Ф. Вентури «Русское народничество»⁵. Автор не связывает рассмотрение идеологии народничества и народнического движения со всесторонним рассмотрением проблем *буржуазного реформирования* страны. Внешние и внутренние аспекты и особенности этого процесса, возможные варианты этого пути, смена этих вариантов выбором: капитализм или социализм — все эти сюжеты обойдены молчанием.

Отметим характерный факт: в работах ряда западных историков мы находим немало благожелательных ссылок на работы видных советских историков: Б. П. Козьмина, П. А. Зайончковского, Э. С. Виленской, М. Г. Седова и др. Лэмперт, резко выступивший в 1950-х гг. против шаблонного изложения материала в работах некоторых советских авторов, тем не менее вынужден был отметить: «Однако работы советских исследователей философских, социальных и литературных идей очень важны, и без них невозможно изучение этих идей. . .»⁶ Факты говорят о возможности контактов советских историков с их западными коллегами, о необходимости оценки сделанных последними выводов, введенных ими в оборот новых сведений (в зарубежных архивах отложились ценнейшие документы российской революционной эмиграции).

Попытаемся обрисовать теперь замысел и концепцию предлагаемой книги. Ее авторы попытались дать общее представление о борьбе российских революционеров на протяжении 1783—1923 гг.; некоторыми сюжетами (русский анархизм, идеология действенного народничества и др.) пришлось пожертвовать; выходы за рамки периода 1783—1883 гг. носят по необходимости фрагментарный

характер. В остальном авторы шли по пути написания сжатых, связанных между собой хронологических очерков, рассказывающих об узловых событиях в российском освободительном движении, его крупнейших представителях, его главных идейных направлениях, некоторых методологических проблемах его изучения.

В книге проводится основная мысль: борьба российских революционеров привела к внушительным, поистине глобальным сдвигам в истории. Под воздействием этой борьбы в 1917 г. изменился сам *характер общественного развития* России. До этого момента мы можем говорить о становлении в стране формации буржуазной. В октябре 1917 г. этот процесс (отличавшийся значительным своеобразием по сравнению со становлением западного капитализма) сменился принципиально иным процессом. Россия стала на путь социалистического развития. И если под воздействием классовой борьбы «стрелки истории» были переведены с одного пути на другой, то объяснение этому надо искать в совокупности социально-экономических, политических, идеологических процессов, протекавших на громадном отрезке времени — от поры Екатерины II до поры первой мировой войны.

Эволюцию той или иной страны, по крайней мере в новое время, неизбежно обуславливает, опосредует историческая среда, в рамках которой совершается это развитие. Мировая капиталистическая система в ее целом складывалась под цивилизующим, по выражению К. Маркса, влиянием капитала, воздействием первоначально возникшего в Западной Европе «центра» капиталистического развития (Англия и ее соседи) на его «периферию» (Россию в том числе). В новое время на смену местной и национальной ограниченности и замкнутости пришла всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга; под страхом гибели буржуазия передового Запада стала заставлять «все нации принять буржуазный способ производства»⁷.

Между тем внутренние предпосылки для такого «принятия» буржуазного способа производства в феодальной России еще далеко не сложились. Развитие капитализма «снизу» только начиналось, в стране не было деспособного класса буржуазии, не сформировался и пролетариат; темное, забитое крестьянство было не способно само по себе сокрушить крепостнический строй, оно было подвластно сильным царистским иллюзиям. В этих условиях развитие капитализма — а Россия пошла после

1861 г. не каким-либо иным, а именно капиталистическим путем — совершалось по особому, отличному от западноевропейского образцу, капитализм здесь был *особого типа*. Детально он будет рассмотрен в тексте книги. Здесь же скажем об одной из важнейших особенностей: развитие современного капитализма в стране в громадной мере осуществлялось посредством преобразований «сверху». В результате после «крестьянской реформы» 1861 г., явившейся следствием поражения царизма в Крымской войне с западными державами, в самодержавной России прогрессировало крупнопромышленное производство с присущим ему антагонизмом буржуа и пролетария. Но в то же самое время политика того же самодержавного государства сохраняла в стране отсталое помещичье землевладение, консервировала архаические формы крестьянского землепользования, превращала в насущнейший вопрос российской истории разрешение задач антифеодальной аграрной революции.

Таким образом, развиваясь по законам капитализма, российское общество так и не стало вполне капиталистическим: в ходе буржуазного прогресса происходило напластование новых отношений и новых противоречий на неустраненные старые. Пережитки крепостничества и патриархальщины в огромной мере сковывали складывавшиеся в недрах общества буржуазные отношения и затрудняли ход экономического развития страны. Все это сделало из России второй половины XIX столетия, страны второго эшелона капиталистического развития, страну многоукладной структуры, где, по определению Ф. Энгельса, «представлены все ступени социального развития, начиная от первобытной общины и кончая современной крупной промышленностью и финансовой верхушкой, и где все эти противоречия насильственно сдерживаются деспотизмом, не имеющим себе равного...»⁸.

К началу XX столетия в самодержавной деспотической России сложилась вместе с тем устойчивая общность интересов угнетенных классов — пролетариата и крестьянства, заинтересованных в преобразовании общества, иная, чем на Западе в XVII—XIX вв., расстановка классовых сил. Назревавшая в России буржуазная революция не могла в этих условиях стать простым повторением ранних буржуазных революций Запада. В последних главенствовала буржуазия, она вела за собой крестьянство, пролетарская (точнее, предпролетарская) струя выделялась еще слабо. Эти революции приводили

и привели к ускорению и завершению процесса складывания в странах Западной Европы буржуазной формации. В России же революция не остановилась на буржуазно-демократическом этапе. В условиях развития капитализма в стране, наличия организованного пролетарского движения, при громадной остроте аграрного вопроса возникла возможность гегемонии в освободительном движении не буржуазии, а пролетариата. А если к этому прибавить боязнь буржуазии революционных способов расправы с остатками средневековья, то становится понятным, почему в России возникла новая расстановка классовых сил, которая привела — в результате чрезвычайно острой борьбы — к иному, чем в буржуазных революциях, исходу. Надо также иметь в виду, что российский капитализм не проявил себя силой, способной обеспечить быстрое социально-экономическое развитие страны, приобщение к развитым в промышленном отношении странам. Эту историческую задачу взял на себя социализм.

Зарубежные историки часто ставят вопрос: возможен ли был для России реформистский путь буржуазной эволюции? Вопрос этот, при всей его кажущейся элементарности, далеко не прост.

Сущность экономического переворота, происходившего в России, сводилась к расчистке почвы для нарождающегося в стране капитализма. Но *форма* этого переворота могла быть двоякого рода — либо путем преобразования помещичьих хозяйств в капиталистические (при превращении крестьян в наемных работников), либо путем уничтожения помещичьих латифундий и превращения крестьян в фермеров. Оба типа развития — их называют «прусским» и «американским» * — объективно были возможны, оба означали исторический шаг вперед,

* Подчеркивая возможность разнообразных сочетаний того или иного типа капиталистической эволюции, Ленин вместе с тем выделял именно «прусский» и «американский» пути как предельные выражения, выявленные развитием мирового капитализма: либо либерально-реформистский путь, наиболее отягощенный наслоениями феодализма, либо революционно-демократический путь, по существу лишенный таких наслоений. При этом он исходил из различий в развитии как базисных, так и надстроечных элементов, учитывал сам характер, способ преобразований (см.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 3, с. 15; т. 15, с. 227). Хотя В. И. Ленин относил термины «прусский» и «американский» путь прежде всего к развитию аграрного капитализма, но несомненно, что форма этого аграрного переворота оказывала огромное воздействие на остальные элементы буржуазного базиса, а также на надстройку.

хотя и предполагали совершенно разную широту воздействия, разный захват масс прогрессивными преобразованиями.

Казалось бы, более легким, практически осуществимым был путь реформы, на который вступил с 1861 г. царизм. Однако, как говорил еще Н. Г. Чернышевский, «есть в истории такие положения, из которых нет хорошего выхода — не оттого, чтобы нельзя было представить его себе, а оттого, что воля, от которой зависит этот выход, никак не может принять его» (Ч., V, 277)⁹.

Самодержавие в России второй половины XIX — начала XX в. было по преимуществу консервативно-охранительным, во многом паразитическим образованием, консервировавшим разного рода архаические пережитки в экономике страны, ограждавшим паразитические же поползновения господствующих классов. Далее, в России, как и повсюду в Европе и Америке, свобода политическая не могла не предшествовать освобождению буржуазной экономики. Между тем существовавшая в России царская монархия была несовместима с какими-либо гарантиями элементарной политической свободы. Иной монархии в начале XX в., кроме *«черносотенно-погромной монархии»* (Ленин), в России не было и не могло быть в отличие от таких стран, как, например, Англия, не знавшая ни монгольского ига, ни гнета бюрократии, ни разгула военщины¹⁰.

Конечно, влияние международных отношений, развитие классовой борьбы в стране, затем прямое воздействие начавшейся в 1905 г. революции заставляли царизм предпринимать определенные шаги в направлении буржуазного реформирования России. Но вылиться в последовательную, целенаправленную деятельность это реформаторство так и не смогло. Мешали заскорузлость, неподвижность всего самодержавного государственного механизма. «Прусский» путь буржуазной эволюции, который, абстрактно говоря, мог бы представить экономическую основу буржуазного реформаторства, в России оказывался в политическом смысле утопией, поскольку для его торжества тоже нужна была иная политическая надстройка. Оставался путь революции.

Существенным обстоятельством было то, что к 1917 г. к задачам свершения радикального переворота «подтянулись» в России широчайшие народные массы, еще раньше — развертывавшиеся в стране идеологические процессы. Если на протяжении всего XIX века массовое

движение в стране по существу отсутствовало, а освободительное движение было представлено «верхушечными», интеллигентскими группами (сначала исключительно дворянскими, а затем разночинско-дворянскими), так и не нащупавшими контактов с народными «низами», то дело радикально изменили события трех российских революций начала XX в. В борьбу вступил российский пролетариат, за ним потянулось крестьянство. Первая мировая война, которая с наибольшей силой ударила по сравнительно отсталой (по меркам Европы) России, особенно обострила недовольство широчайших масс, сделала их восприимчивыми к радикальным лозунгам борьбы. Партия большевиков сумела связать воедино насущные требования солдатских, крестьянских масс с пролетарскими требованиями, направила общедемократический подъем в стране (через лозунги: «Мира, земли, хлеба!», «Вся власть Советам!») в русло антикапиталистического социального переворота.

Новая расстановка классовых сил в России в революции 1905—1907 гг., но особенно на переломном отрезке истории — от Февраля 1917 г. к Октябрю 1917 г., создала возможность заменить стоявшую перед страной альтернативу — либо «прусский», либо «американский» путь развития капитализма — иной альтернативой: путь капиталистического развития *или* путь социалистического развития. А после 1917 г. эта альтернатива стала альтернативой всемирной истории.

Проблематика книги представила достаточную сложность, возможно, те или иные положения, высказанные в книге, вызовут споры. И сама книга рождалась в дискуссиях между соавторами, по отдельным моментам (например, по 5-й главе) не все расхождения были до конца преодолены. Но споры — нормальное явление в науке, они обнажают нерешенные проблемы, стимулируют продвижение исследовательской мысли вперед. Главное — чтобы соблюдались в работе сами строгие принципы научного подхода, те самые, которые нередко игнорировались у нас при изучении и пропаганде российской революционной традиции в 1940—1950-х гг., что и заставило З. В. Смирнову выступить еще на Философской дискуссии в 1947 г. с далеко не сразу услышанным призывом: будьте добры обращаться с историей русской мысли «как с наукой»¹¹.

Авторы хотели бы выразить признательность Г. Г. Водолазову, П. В. Волобуеву, А. И. Володину, Б. С. Итен-

бергу, В. А. Қозлову, В. А. Твардовской, Қ. Н. Тарновскому, Н. Я. Эйдельману, которые взяли на себя труд ознакомиться с рукописью книги в целом или с ее отдельными главами и дали ценные советы.

Введение книги написано авторами совместно, глава 1 — В. Г. Хоросом, глава 2 — Е. Г. Плимаком, глава 3 — Е. Г. Плимаком и В. Г. Хоросом, глава 4 — В. Г. Хоросом, глава 5 — В. Г. Хоросом, глава 6 — И. Қ. Пантиным, Е. Г. Плимаком, глава 7 — И. Қ. Пантиным, Е. Г. Плимаком, глава 8 — В. Г. Хоросом, глава 9 — В. Г. Хоросом, глава 10 — Е. Г. Плимаком, В. Г. Хоросом, глава 11 — И. Қ. Пантиным, Е. Г. Плимаком, В. Г. Хоросом, глава 12 — И. Қ. Пантиным, вместо заключения — Е. Г. Плимаком.

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМАЦИОННОГО ПОРЯДКА

Революционная традиция в России невыводима лишь из внутреннего, национального контекста. Российское освободительное движение, с одной стороны, испытывало сильное воздействие революционной борьбы и общественной мысли в более развитых странах, а с другой стороны, по мере того как набирало силы, само становилось мощным фактором мирового революционного процесса. Соответственно русская революционная традиция может быть понята лишь на общемировом фоне. При этом сравнительно-исторический анализ, результаты которого изложены в данной главе, не должен ограничиваться лишь идейной или политической борьбой: и та и другая определяются особенностями формационного процесса перехода от добуржуазных отношений к капитализму — процесса опять-таки не только российского, но и всемирного.

Предварительные замечания

За последние тридцать лет в нашей исторической науке создана обширная литература по проблеме генезиса капитализма в России. В ней аккумулирован громадный фактический материал. Однако концептуальная разработанность темы значительно отстает от эмпирической: порой авторы обнаруживают различное понимание самых основополагающих категорий или расходятся в определении временных рамок тех или иных процессов становления капитализма в России чуть ли не на 150—200 лет. Происходит это, на наш взгляд, по ряду причин. Исследователи, как правило, сосредоточивают внимание на экономическом материале, причем на количественной его стороне (рост производства промышленной продукции, число предприятий, количество рабочих и пр.), оставляя в тени социальное содержание приводимых данных, их формационное качество. Зачастую не ясно, о чем идет речь — об укладе, способе производства или общественно-экономической формации, на необходимость различения которых в свое время справедливо указывал

Е. М. Жуков¹. В результате возникали такие недоразумения, как, скажем, тезис В. К. Яцунского (безусловно, одного из крупных специалистов по экономической истории России), согласно которому в 1861 г. — т. е. одним росчерком «Манифеста» 19 февраля! — в России капиталистический «уклад превратился в формацию»². Между тем становление капитализма как общественно-экономической формации — это комплексный процесс, который не сводится к экономической стороне или тем более к каким-либо однократным актам; он состоит в постепенном «сцеплении» базисных и надстроечных структур, накоплении «системных формационных предпосылок»³.

Кроме того, отметим присущее многим исследованиям замыкание на чисто российском материале, слабый сравнительный элемент в его анализе. Нельзя сказать, конечно, что никаких сравнительно-исторических исследований в области экономической и общественно-политической истории России в прошлом не было. Они существовали и в дореволюционной отечественной науке (Н. А. Рожков), и в советское время (Н. М. Дружинин, И. Ф. Гиндин, К. Н. Тарновский). В последний период немалый импульс сравнительно-историческому анализу (в орбиту которого включался и российский материал) был дан востоковедами (А. И. Левковский, В. И. Павлов и др.). И все же есть основания считать, что сравнительное изучение различных региональных и национальных вариантов экономической и общественной эволюции (освободительного движения в том числе) только начинается. Мы, разумеется, не можем претендовать здесь на решение этой огромной задачи. Авторы предпринимают лишь попытку постановки проблемы.

Эшелоны мирового капитализма

Мировой капитализм развивался стадиями, эшелонами. Можно выделить регион первичного, классического капитализма (Западная Европа и ее дочернее ответвление — Северная Америка), второй эшелон буржуазного развития (Россия, Япония, Турция, Балканские страны, Бразилия), наконец, третий эшелон (колониальная и зависимая «периферия» Азии, Африки и большинства стран Латинской Америки). Различия между эшелонами, а также сходство национальных вариантов капитализма внутри того или иного эшелона определяется не только и подчас не столько «количественными» показа-

телями, сколько по характеру, механизму становления и соответственно по типу, качеству формирующихся капиталистических структур.

Для *первого эшелона* капитализма характерно самопроизвольное, постепенное зарождение буржуазных отношений в недрах докапиталистического общества. Формационный период здесь длителен и всеобъемлющ: в течение примерно шести веков, с XIV (если не раньше) по XIX в., эпоха за эпохой накапливаются в европейских странах необходимые для становления буржуазного общества формационные предпосылки — экономические, социальные, правовые, политические, идейные, культурные.

Центральная предпосылка генезиса капитализма — реконструированный К. Марксом процесс первоначального накопления, образования связки «капиталист — наемный рабочий» — вырастает в европейском регионе на базе других длительно складывавшихся *экономических* предпосылок: раннего разложения феодального помещичьего хозяйства, технологического прогресса, возникновения и совершенствования буржуазных форм кредита и обмена. К концу средних веков не только в Англии и во Франции, но и в швейцарских кантонах, Северной Италии, даже в некоторых областях Германии и Испании исчезает личная зависимость земледельца; свободные договоры крестьян с феодалами повсеместны уже в XIV в. Первичные формы капиталистического предприятия (с раздачей сырья на дом) появляются во Фландрии в XV в. В XV в. возникают первые торговые биржи (Венеция, Флоренция) и быстро распространяются на другие европейские страны. В начале XVII в. появляются первые акционерные компании (Англия, Нидерланды). На XVI—XVII вв. приходится складывание не только национальных рынков, но и общеевропейского рынка, на котором уже достаточно отчетливо вырисовывается тенденция конкуренции (между английскими и голландскими суконными мануфактурами в XVI в., между лионскими и североитальянскими шелковыми предприятиями в XVII в. и т. д.). Короче, постепенно зарождается, «опробывается» и прогрессирует совокупный механизм капиталистического производства и обмена. Сначала возникают его отдельные звенья и элементы; затем между ними происходят контакты, «замыкания», что приводит в движение всю цепь и обеспечивает необратимость экономической перестройки. Таким «замыканием» было, например, зна-

менитое повышение цен на шерсть в Англии в XVI в., связанное с расцветом фландрской мануфактуры⁴.

При этом скачки промышленного роста в европейских странах осуществлялись по большей части на прочной основе подъема сельскохозяйственного производства и создания рыночного излишка в аграрной сфере. Так было в Голландии в XVII в., когда в результате крупных мелиоративных работ была значительно увеличена площадь национальной пашни⁵. Так было в Англии в период промышленной революции, одновременно с которой происходила революция сельскохозяйственная, — только за одно десятилетие (1760—1770 гг.) в агрикультуре было «сделано больше опытов и открытий... чем раньше в целую сотню лет»⁶. Так было и в Германии, где с середины XIX в. параллельно модернизации промышленности происходит «действительный расцвет немецкого земледелия»⁷.

Аналогичным образом накапливались социальные предпосылки буржуазного развития: классовое расслоение в ремесленных корпорациях, купеческих гильдиях и в сельском земледельческом населении; сближение торгового и мануфактурно-промышленного предпринимательского слоя; рост социального могущества третьего сословия в целом. В период первой буржуазной революции в Англии палата общин по сумме доходов ее членов была в 3 раза богаче палаты лордов⁸. Во Франции третье сословие стало огромной силой в обществе еще в предреволюционную эпоху: его кредиторы держали в тисках долгов короля и двор; оно поставляло различных специалистов и управителей, главных сотрудников министерств, светских и духовных администраторов, а умами управляли сын нотариуса Вольтер, сыновья часовщиков Руссо и Бомарше, приемный сын стекольщика д'Аламбер.

Одновременно рос социальный массив освобожденной от средств производства рабочей силы как естественным, так и насильственным путем. Уже за век до промышленной революции в Англии лица, работающие по найму (чернорабочие и батраки), составляли 1 275 тыс. человек, т. е. более $\frac{1}{5}$ населения⁹. Не случайно К. Маркс отмечал, что капитализм в Европе находит форму наемного труда уже готовой, созданной предшествующим развитием¹⁰.

Правовые предпосылки буржуазной эволюции в значительной мере складывались в ходе переработки правовых норм и институтов докапиталистической эпохи, в частности путем утилизации римского права и его крае-

угольного понятия частной собственности. Довольно рано (XIV—XV вв.) получают распространение и такие идеи римского права, как положение о свободе сделок и о праве взимать процент в качестве вознаграждения за помещение капитала. Средневековая Западная Европа знала частную собственность, основанную на личном труде, — крестьянин обладал полем, которое он возделывал, ремесленник — инструментом, которым он владел как виртуоз. Поэтому переход к капитализму на Западе означал, по словам К.Маркса, *«превращение одной формы частной собственности в другую форму частной собственности»*¹¹.

Из средневекового суда, в котором приговор выносился «пэрами», т. е. лицами, равными по своему общественному положению подсудимому, вырастает суд присяжных. В рамках средневекового обычного права формировалось «представление о верховенстве закона, который нельзя отменить в угоду правительству и который может быть изменен только парламентом, а не единолично королем»¹², — представление, реализованное в известном «Хабеас корпус акте» (1679 г.). Тем самым закладывались основы юридического обеспечения буржуазной демократии: доступ к власти через систему выборов, правовая независимость индивида от власти, подчинение и самой власти праву — тенденция, питавшая затем европейский либерализм XIX в.

Ту же длительность, постепенность мы наблюдаем в накоплении *политических* предпосылок буржуазного развития. Они складывались прежде всего в городах, где издавна функционировали различные общественные организации и формы самоуправления, сыгравшие важную роль в политических битвах предбуржуазной и раннебуржуазной эпохи. Так, в английских городах XIV столетия существовали «гильдии йоменов», боровшиеся за свои интересы с феодальной знатью¹³. В эпоху Тюдоров появляется городская народная милиция. Без малого пять столетий (считая с «Великой хартии вольностей» 1215 г.) идет борьба представительных учреждений с королевской властью, нашедшая свое логическое завершение в английской буржуазной революции. Но хотя основные принципы буржуазной демократии (приоритет парламента как законодательной власти над королем, полномочность «ответственного министерства», разделение исполнительной и судебной властей) были провозглашены в конце XVII в., в полной мере полити-

ческой реальностью они стали значительно позже — в той же Англии лишь в ходе парламентских реформ XIX в. (введение всеобщего избирательного права), когда здание буржуазной демократии было окончательно достроено. Точно так же более полутора веков уходит на утверждение столь «исконного» буржуазного политического института, как свобода печати — от знаменитых памфлетов Дж. Мильтона (конец XVII в.) и появления крупных политических газет во второй половине XVIII в. («Морнинг кроникл», «Таймс» и др.) до полной отмены в 1855 г. гербового сбора на прессу, бывшего сильнейшим средством давления на печать со стороны властей. Примерно столько же времени потребовалось Западной Европе на формирование основных буржуазных политических партий.

Особая роль в становлении «первичной» буржуазной формации принадлежит *идейно-культурным* предпосылкам. Именно в сфере культуры вырабатывается система ценностных ориентаций, направляющих социально-трудовую деятельность человека как главного элемента производительных сил. С этой точки зрения бесспорно длительное, исторически основательное возведение культурного фундамента буржуазной формации в Европе. Уже в XII в. во всех французских городах и во многих деревнях существовали школы и «школки», где преподавались (для бедных зачастую бесплатно) *primitivae scientiae et artes* — умение писать, читать и считать с прибавлением начал латинской грамматики¹⁴. В Англии XIV в. историки фиксируют от 300 до 400 средних классических школ¹⁵. Во Флоренции XVI в. практически все население было грамотно¹⁶. Указ об обязательном начальном образовании издается в Пруссии еще в начале XVIII в.¹⁷

Общеизвестна и социокультурная роль европейских университетов — не только как центров образования, но и как очагов самоуправления, обладавших значительным идейным и политическим влиянием. Парижскому университету случалось смещать пап и разбирать жалобы королей. В Сорбонне в средние века обучалось порой до 30 тыс. студентов¹⁸. При этом из 46 университетов, возникших в Европе с XII по XV в., в 28 богословие совсем отсутствовало в учебной программе. Произошло это, правда, в значительной мере из-за стремления церкви сохранить единство догмы, но выиграла от этого только светская наука.

Весь этот культурно-просветительный поток не был социально нейтральным, по мере эволюции от средневековья к новому времени в нем все более просматривается направленность на обслуживание потребностей буржуазного общества. Как справедливо отмечается в литературе, переход в XII в. европейского города к измерению времени механическими часами означал кардинальную ломку «временного» мирозерцания человека традиционного общества — на городских башнях теперь отзванивались «часы торговых соглашений и часы работы суконщиков»¹⁹. Отсюда в конце концов возникла знаменитая формула В. Франклина «время — деньги». В XIII—XV вв. в Венеции (Леонардо Пизано и Лука Пачиоло) на базе развития математики создается новая, деловая техника, система двойной бухгалтерии²⁰. В XV в. возникает книгопечатание, а в следующем веке аугсбургский писец и гуманист Конрад Пойтингер использует его для пропаганды принципа свободы торговли²¹. Так формируется социально-психологический климат, в котором рождается «дух капитализма» — жажда приобретательства, отрицание традиционных социальных и моральных запретов, «страсть к изобретениям, прямо горячка новых промышленных открытий»²². Итог этого культурного сдвига по-своему зафиксирован в знаменитом тезисе Д. Рикардо, ставшем постулатом классической буржуазной политической экономии: «Во всех делах люди всегда руководствуются собственными интересами». Этот принцип отражал для своего времени реальный процесс возникновения развитой буржуазной личности — рациональной, трудолюбивой, предприимчивой, дисциплинированной, умеющей и осознавать, и отстаивать «свои интересы».

С точки зрения культурных предпосылок буржуазной формации огромное значение имели Возрождение, приспособившее к потребностям новой эпохи наследие античности, и Реформация, особенно последняя, поскольку ее влияние в отличие от элитарной культуры Возрождения захватило массовое сознание. Принцип религиозной свободы, провозглашенный Реформацией, был первой и во многом еще не осознанной формой стремления к буржуазным свободам вообще. Не случайно, по словам Ф. Энгельса, «кальвинизм создал республику в Голландии»²³ и сыграл ведущую роль в английской буржуазной революции; не случайно протестантские общины с их началами выборности и самоуправле-

ния во многом способствовали становлению форм буржуазной демократии. Значителен был вклад Реформации и в сферу образования — Лютер не только перевел Библию на немецкий язык (что дало толчок образованию на родном языке вообще), но и стал автором первой немецкой азбуки, организатором народных библиотек. Он провозгласил принцип обязательности образования, а его последователь И. Штурм создал первую правильную гимназию в Европе²⁴.

Несомненна и роль «протестантской этики» как стимулятора буржуазного предпринимательства. Она заключалась не только в религиозном санкционировании мирской активности и приобретательства, как полагал М. Вебер. Протестантизм способствовал идейному преодолению такого социального тупика, или барьера, на пути первоначального накопления, как «торгашеский феодализм» (термин Э. Ю. Соловьева). «Торгашеский феодализм» — это та неблагоприятная почва феодальной монополии и паразитического стяжательства, в которой чахнут ранние ростки европейского капитализма (североитальянская мануфактура XIV в., бюргерский капитал в Германии XV—XVI вв.). В «торгашеском феодализме» мануфактурист отстает перед представителями примитивного, докапиталистического накопления — ростовщиком, феодальным банковским воротилой, конкистадором и др., поскольку еще не сформировались адекватные социально-культурные условия для нормального капитализма, производства прибавочной стоимости.

В противовес подобному докапиталистическому стяжательству, «маммонизму», означавшему, как правило, ограбление общества, Лютер (сам происходивший из семьи горного мастера) выдвигает идею «честной» предпринимательской деятельности, основанной на идеалах умеренности и прилежания. Позднее этот принцип примет окончательное выражение у идеологов поднимающегося капитализма (Д. Дефо, В. Франклин), которые призывали добывать деньги «честным путем»²⁵; но начинателем его был лютеровский протестантизм²⁶.

Таким образом, рассматривая в целом становление капиталистической формации в европейском регионе, можно констатировать, что процесс этот характеризуется более или менее одновременным вызреванием всего комплекса формационных предпосылок, которые складываются спонтанно, на протяжении долгого исторического периода. Рассредоточенное по многим столетиям количе-

ственное накопление элементов буржуазной формации периодически резко ускоряется скачками, взрывами («замыкания» экономического механизма, промышленный и аграрный перевороты, политические революции, Реформация и пр.).

Взаимодействие («сцепление») базисных и надстроечных предпосылок буржуазной формации в Европе существенно облегчалось единством стран европейского региона — географическим, экономическим, геополитическим, культурным. На это обстоятельство справедливо указывал Н. М. Дружинин²⁷. История Запада полна примеров взаимного влияния, «взаимоподталкивания» европейских государств в области хозяйства, политики, идей. Так, в XVI—XVII вв. Голландия активно влияла на экономическое развитие Англии и Германии (эмиграция мастеров, купцов, сбыт мануфактурной продукции и пр.)²⁸. Позднее преобладающим становится экономическое воздействие Англии на страны континента. В XVII в. голландские протестанты помогли протестантам английским завершить «славную революцию». Французская революция 1789 г. и разнесение ее идей в период наполеоновских войн порождают цепочку других буржуазных революций — в Испании (1812 г.), Сицилии (1812 г.), Норвегии (1814 г.). От французских революций 1830 и 1848 гг. идут «круги» в Бельгии, Германии, Италии, Швеции и других странах. Французское Просвещение XVIII в. в значительной мере явилось результатом пересадки идей английских просветителей (Дж. Локка, Д. Юма и др.).

Далее, нельзя не отметить такую характерную черту генезиса капитализма в Европе, как его *органичное* вырастание из предшествующих докапиталистических форм. При всей противоположности отживающих, докапиталистических и нарождающихся, буржуазных структур, институтов и идей докапиталистические формы в европейском регионе обладали некоторыми чертами, облегчавшими их постепенную трансформацию и рождение новых, буржуазных порядков. Это и сравнительная мягкость феодальных пут, раннее разложение феодального землевладения, переход к денежной форме ренты; и корпоративно-дробный характер социальной и политической структуры феодального общества в Европе, обусловивший соперничество интересов различных групп (феодалов, королевской бюрократии, бюргеров, крестьян, городского плебса), что способствовало в последующем становлению буржуазно-демократического политическо-

го плюрализма; и появление в недрах старого таких общественных образований, прецедентов и форм, которые, наполняясь по мере буржуазной эволюции новым содержанием, все же в значительной мере «сгодились» на создание собственно буржуазных институтов (наемный труд, акционерные общества, банки, биржи, парламентские учреждения, те или иные формы общественной борьбы и т. д.).

То же самое относится к надстроечным факторам, традиционному социокультурному наследию, некоторые элементы которого были инкорпорированы в ткань европейской буржуазной цивилизации. Помимо утилизации принципов римского права, о чем уже говорилось выше, можно указать на идею личности, обоснованную христианской религией (и поднятую на щит протестантизмом), на принцип античной полисной демократии, на рационалистические тенденции средневековой схоластики, проложившие дорогу логике и научному знанию, и пр. Характерно, что идеологи поднимающейся буржуазии апеллируют к институтам, идеям и ценностям прошлого. Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, а затем лидеры французской революции предлагали возродить идеалы античности. Р. Кобден и Дж. Брайт, создавая в XIX в. «Лигу борьбы против хлебных законов», ссылались на средневековую Ганзу как образец Союза промышленных классов и купечества против аристократии²⁹. Точно так же испанская конституция 1812 г., по словам К. Маркса, по форме была возрождением древних «фуэрос» (прав и привилегий феодальной эпохи), «понятых, однако, в духе французской революции и приспособленных к нуждам современного общества»³⁰.

Несомненно, что утилизация поднимающимся европейским капитализмом традиционных институтов и идей была избирательной — в том же римском праве имелись такие положения, как, скажем, принцип, освящающий монархический диктат («то, что благоугодно государю, имеет силу закона»), который использовался в средние века реакционными силами. Но несомненно и то, что восходящее и сравнительно органичное становление буржуазной формации в Европе объяснялось не быстрой и тотальной ломкой докапиталистических структур, а как раз наоборот — тем, что оно было основано на постоянном синтезе традиционных элементов (социальные институты, правовые нормы,^N культурное наследие, в том числе и религия) с «модерном» (отсечение отживших учрежде-

ний, рост науки и техники, секуляризация и т. д.), что облегчало восприятие новых форм массами, придавало этим формам, говоря словами К. Маркса, «прочность народного предрассудка».

Это, разумеется, не означает, что генезис капитализма в Европе протекал плавно, гладко и бескризисно. Напротив, он шел скорее «методом проб и ошибок» — через многочисленные остановки, экономические заторы, разрушительные войны, уничтожавшие плоды предшествующих усилий, периодические наступления реакции. Но здесь-то и выручали длительность, постепенность процесса, которому было «отпущено» с избытком исторического времени; его органичность, в силу чего факторы, порождающие буржуазную эволюцию, воспроизводились снова и снова; наконец, социокультурное единство европейского региона, благодаря которому та или другая отставшая страна могла усваивать достижения стран, вырвавшихся вперед. Наконец, зрелость не только объективных, но и субъективных предпосылок формационного развития в «первом эшелоне» капитализма помогала поднимающейся буржуазии на раннекапиталистической стадии более или менее успешно справляться с социальными противоречиями и конфликтами, неизбежно возникавшими в процессе перехода от старых общественных структур к новым.

Помимо отмеченных выше факторов, сопутствовавших вызреванию первого эшелона капитализма, можно указать еще на такой мощный импульс для процесса первоначального накопления в Европе, как колониальный грабеж. Правда, при всей его значимости, этот фактор нельзя считать определяющим. Накопление капиталов происходило и «естественным» путем — из прибылей во внутренней торговле, ростовщичества, аккумуляции земельной ренты. Кроме того, имел значение не только сам по себе захват колониального богатства, но и его капиталистическая утилизация, что стало возможным лишь при сравнительно развитых буржуазных формах производства и обмена, когда последние уже приобрели самостоятельную инерцию движения. В противном случае награбленные сокровища лишь увеличивали потребление феодальной знати (Испания).

Мы остановились столь подробно на первом эшелоне мирового капитализма, чтобы в сравнении с ним рельефнее проступали черты *второго* эшелона. Принадлежащие к нему страны начинают буржуазное развитие на гораз-

до более позднем историческом рубеже — примерно от конца XVIII до середины XIX в. Некоторые формационные предпосылки (например, социально-экономические) здесь выражены слабо, а какие-то (например, политические или правовые) могут долгое время вообще отсутствовать. Импульс буржуазного развития идет не только (а порой и не столько) изнутри, но и извне, от уже сравнительно развитого буржуазного Запада, который выступает как в качестве примера, так и в качестве внешней угрозы. Процесс капиталистического развития в запоздавших странах форсируется, «сжимается» во времени, что приводит общества второго эшелона к гораздо большему социальному напряжению, диспропорциям, общественным противоречиям и конфликтам. Иными словами, в данном случае имеет место качественно иная ситуация по сравнению со странами Западной Европы и Северной Америки.

Безусловно, между странами первого и второго эшелона нет непроходимой грани. Некоторые менее развитые страны европейского капитализма (Германия, Италия, Австрия, Испания) по отдельным чертам формационного перехода сближаются с наиболее «продвинутыми» странами второго эшелона (в частности, с Россией). К этим сходным чертам относятся неравномерность и диспропорциональность социально-экономического развития, наличие сильных докапиталистических пережитков, консерватизм политической надстройки. Однако даже по этим параметрам более отсталые государства первого эшелона имеют определенный «гандикап» в сравнении со вторым эшелоном. Главное же — благодаря общей культурно-цивилизационной основе, территориальному и геополитическому единству с более развитыми странами «своего» эшелона они на определенном историческом этапе оказываются в состоянии быстро подтянуться к ним.

Кроме того, в той мере, в какой в странах второго эшелона имеет место зарождение зачатков капитализма изнутри, а также в той мере, в какой укореняются ассимилируемые формы «внешнего» капитализма, можно говорить об общих закономерностях с первым эшелоном — процессах первоначального накопления, промышленного переворота, буржуазного расслоения деревни и т. д. Но главное заключается в том, что благодаря ситуации «запоздалости» (более застойные докапиталистические структуры и противостояние уже развившемуся региону западного капитализма) общие закономерности буржу-

азной эволюции проявляются в странах второго эшелона в иной форме по сравнению с первым, здесь возникают новые особенности и закономерности.

А. Н. Чистозвонов — применительно к странам Восточной Европы (Румыния, Болгария, Сербия и др.) — усматривает во втором эшелоне капитализма «качественные деформации» того переходного процесса, какой имел место в центральном регионе буржуазного развития. Изменения эти, во-первых, заключаются в значительном сокращении (а то и в отсутствии) мануфактурного периода; промышленное развитие практически сразу начинается с фабрики. Во-вторых, резко ограничиваются также источники первоначального накопления, такие, как внешнеторговая экспансия и эксплуатация колоний. Снижаются экономическое значение и эффективность первоначального накопления как такового; вместе с тем гипертрофируются такие его формы, как налоговое обложение, внешние и внутренние займы. Однако этих средств не хватает по сравнению с реальными потребностями буржуазного развития во втором эшелоне, так как в эту эпоху значительно возрастают размеры необходимых вложений капитала на одно рабочее место по сравнению с мануфактурным периодом. Поэтому даже «при самом оптимальном варианте буржуазная перестройка хозяйства здесь неизбежно будет связана с особенно тяжелыми формами эксплуатации пролетарских масс и трудового крестьянства, с крайне низким уровнем их материального благосостояния по сравнению с развитыми буржуазными странами»³¹.

Эти положения А. Н. Чистозвонова, которые представляются вполне правомерными, можно дополнить другими характеристиками. Ситуация «вторичного» буржуазного развития с самого начала пронизана глубокими противоречиями, как внутренними, так и внешними. Наличие более развитого капиталистического «центра» является для стран второго эшелона не только стимулирующим, но и угнетающим фактором, поскольку первый эшелон в значительной мере закрывает второму дорогу на внешние рынки, определяя ему лишь подчиненную роль экспортера сырьевых продуктов. Отставшая страна, безусловно, имеет возможность заимствовать достижения передовых стран: их оборудование, технологию, специалистов, капиталы. Однако, попадая на недостаточно подготовленную социально-экономическую и культурную почву второго эшелона буржуазного развития, эти

импортируемые элементы в значительной мере являются, как отметил В. И. Павлов, формационно-инородными³².

Неорганичность буржуазного развития выступает здесь, во-первых, как следствие перепада между сравнительно слабым развитием тех внутренних социально-экономических предпосылок перехода к капитализму, которые наличествуют в странах второго эшелона к началу их формационного «спурта» (мануфактурные предприятия, рост товарно-денежных отношений, накопление купеческого капитала и пр.), и уровнем заимствуемых, развитых форм капиталистического хозяйства (фабрика, банковская система, разветвленная система кредита, высококвалифицированный наемный персонал и пр.), которые второй эшелон стремится «сразу» достичь. Во-вторых, еще более велик перепад между странами второго и первого эшелона капитализма с точки зрения зрелости правовых, политических и культурных предпосылок буржуазной формации.

Чтобы преодолеть эти перепады, нужно время. Но как раз времени второму эшелону историей «отпущено» далеко не достаточно. Буржуазная модернизация для оставших стран диктуется прежде всего необходимостью противостоять растущей экспансии капитализма Запада. К этому мотиву можно прибавить имперские амбиции, а также стремление правящих классов государств второго эшелона к потребительским стандартам развитых стран. Отсюда резкое сокращение сроков формационного перехода. Отсюда одновременность, совмещенность различных фаз буржуазного развития, которые на Западе оказались разделенными значительными промежутками времени — первоначального накопления, «инкубационного» периода машинного производства, промышленного переворота. Отсюда характерная для второго эшелона «инверсия» этапов складывания крупнокапиталистического производства (создание современных средств сообщения, парового железнодорожного и водного транспорта, форсирование тяжелой промышленности в России или Японии стали рычагом «насаждения» национального капитализма, тогда как в странах первого эшелона эти формы «увенчивали» складывание буржуазного типа хозяйства).

По сравнению с веками европейской буржуазной эволюции, отмечал И. Ф. Гиндин, все историческое существование российского капитализма, включая его предысторию, укладывается всего в полтора столетия, а период домонополистического капитализма ограничивает-

ся практическими рамками жизни одного поколения (30 лет). «Сжатые исторические сроки формирования и развития российского капитализма имели свою оборотную сторону в их чрезвычайной сложности, неравномерности, противоречивости, в незавершенности каждого последующего этапа становления и развития капитализма»³³.

Главным противоречием процесса «обуржуазивания» в странах второго эшелона является глубокое несоответствие между становящимся капиталистическим базисом и остающейся еще в значительной степени традиционной докапиталистической надстройкой, а также структурные диспропорции в самом базисе, несостыкованность традиционных и модернизирующихся социально-экономических секторов общества, что обуславливает другие противоречия и негативные факторы: хроническое отставание сельскохозяйственного прогресса от промышленного, наличие ярко выраженных и разнообразных докапиталистических пережитков, переплетение капиталистических и добуржуазных методов эксплуатации, непреодоленность феномена «торгашеского феодализма» и т. д.

Еще одна существенная особенность буржуазной трансформации во втором эшелоне — повышенная роль государства. На это справедливо указывает, например, К. Н. Тарновский применительно к России XIX в.³⁴ Стадия классической свободной конкуренции, характерная для западного региона, здесь как бы пропускалась или существенно видоизменялась, на ее место заступали своеобразный «государственный капитализм», активное насаждение крупной промышленности, банковских учреждений, кредита и т. д. «сверху». Однако роль государства при этом оказывалась, как правило, двойственной и противоречивой: активно насаждая технико-организационные формы буржуазного хозяйства, оно вместе с тем всячески ограничивало «осовременивание» общественно-политической жизни, сознательно консервировало различного рода докапиталистические институты. С точки зрения правящей верхушки и связанных с ней привилегированных традиционных групп в этой тактике была своя логика: путем заимствования технических достижений развитых капиталистических стран укрепить, «подновить», стабилизировать существовавший режим. Но тем самым значительно деформировались (по сравнению с первым эшелонам) как базисные, так и надстроечные элементы становящейся буржуазной формации.

Утилизация развитых буржуазных форм первого эшелона странами второго эшелона капитализма оказывала сильнейшее разрушительное воздействие на существовавшие там общественные структуры. «...Патриархальная Россия, — отмечал В. И. Ленин, — после 1861 года стала быстро разрушаться под влиянием мирового капитализма»³⁵. Однако в силу недостаточной подготовленности формационных предпосылок в странах второго эшелона (особенно на начальном этапе буржуазной эволюции) конструктивные функции «вторичного» капитализма значительно ослабляются его деструктивным воздействием на общество. Выражается это прежде всего в ужесточении форм эксплуатации трудящихся масс, за счет которых главным образом в сжатые исторические сроки осуществляется первоначальное накопление; в значительно большей обостренности (по сравнению с первым эшелонам) социальных противоречий и конфликтов, что не только не благоприятствует, но, наоборот, осложняет перспективу становления «нормальной» буржуазной формации.

Отсюда не следует, что такая перспектива становилась недостижимой, и ряд стран второго эшелона (Япония, Турция, Греция и др.) являются тому доказательством. Наряду с неблагоприятными факторами для буржуазного развития регион «вторичного» капитализма располагал известными резервами для успешного в конечном счете формационного перехода, и резервы эти в той или иной мере были использованы в реальной исторической практике. Во-первых, многое зависело от субъективного фактора (значение которого в формировании «вторичной» буржуазной формации значительно возросло) — более или менее гибкой политики «верхов», их способности в той или иной мере амортизировать социальные конфликты и уступать требованиям времени; от национального освободительного движения и успешности его усилий в изменении политической надстройки.

Во-вторых, существенное значение имела мобилизация тех или иных элементов традиционных, еще «живых» структур (институтов и идей), их синтез с новыми, буржуазными элементами. Этот фактор органичности, сыгравший, как мы видели, немалую роль уже в первом эшелоне буржуазной формации, приобретает еще большую важность во втором эшелоне — и в плане необходимости социально-психологической перестройки за короткий срок массового сознания (с тем чтобы внести в

эту перестройку момент постепенности, «естественности», восприятия массовым сознанием новых форм в «привычных» одеждах), и, что особенно важно, в плане ослабления социального напряжения форсированной буржуазной модернизации. Можно указать в связи с этим на японский вариант капиталистической трансформации общества, где буржуазные отношения складывались в рамках традиционного корпоративизма (корпоративная этика предпринимательского слоя; пожизненные формы найма рабочей силы, когда глава фирмы выступает не только как наниматель, но и как «отец семейства», облеченный определенными обязательствами по отношению к нанимаемому персоналу; принципы дисциплины и повиновения «старшим»; конфуцианские элементы в системе образования и пр.)³⁶. Играли роль и другие благоприятствующие факторы, например наличие богатой буржуазной диаспоры (Греция) или огромные неиспользованные земельные площади, которые могли захватывать буржуазные элементы (Турция).

Наконец, стал исторической реальностью такой исход «вторичного» буржуазного развития, когда на его поздней стадии острейшие социальные противоречия запоздалого капитализма настолько катализировали освободительное движение, что оно смело эксплуататорскую политическую надстройку и завершило переход к индустриальной цивилизации уже социалистическим путем (Россия).

Страны *третьего эшелона* буржуазного развития начинают его еще позже, чем второй эшелон (от конца XIX до середины XX в.). Мы не можем останавливаться здесь подробно на этом сюжете³⁷. Скажем лишь, что, с одной стороны, в качестве обществ запоздалого развития капитализма страны «третичного» буржуазного развития обладают рядом общих черт со «вторичным» (значительная роль внешнего импульса и неорганичность капиталистической эволюции, сосуществование буржуазных и докапиталистических структур, острые социальные противоречия и диспропорции, слабость местной буржуазии и т. п.). С другой стороны, для них характерны и новые черты, прежде всего связанные с фактором колониальной зависимости и жесткой «сырьевой» привязанности к мировому капиталистическому рынку, а также с громадно возросшим разрывом в уровнях развития между империалистическим «центром» и отсталой «периферией». Все это настолько осложняет буржуазный формационный пе-

реход в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки, что в данном случае есть основание говорить о процессе «затухания социально-трансформирующих потенциалов капитализма»³⁸, хотя это не исключает, что ряд стран может осуществлять социальную эволюцию в рамках зависимого, «периферийного» капитализма. Вместе с тем новая историческая эпоха глубокого кризиса империализма и возникновения мировой социалистической системы не исключает возможность иных вариантов социального прогресса молодых государств, на путях некапиталистического развития.

Российский вариант буржуазной эволюции

Разделяя со странами второго эшелона основные закономерности запоздалого капиталистического развития, российский вариант преломляет их в своеобразной национальной форме. Эта форма, обусловленная историческими особенностями докапиталистических структур, в большей мере определяет и содержание, характер буржуазной эволюции. Нельзя не согласиться с тезисом, что «особенности или тип российского феодализма определяли и тип российского капитализма»³⁹.

Русский феодализм формировался в неблагоприятных исторических условиях. Необходимость национального объединения, ликвидации удельной розни, освобождения от татаро-монгольского завоевания, защиты от периодически накатывавшихся орд кочевников и завоевателей Запада, наконец, потребность в выходе к морским торговым путям вызвали к жизни сильное централизованное государство. Однако последнее располагало скудными материальными и культурными ресурсами. Бедное и редкое население; низкий уровень социально-политической автономии городов, большинство из которых было не столько торговыми центрами, сколько форпостами обороны; слабое развитие ремесла — все это осложняло решение национальных задач. Результатом явилось постепенное закрепощение и большое податное напряжение общества, затруднявшее накопление прибавочного продукта, а также рост военно-административного аппарата государства, по масштабам власти сравнимого с азиатскими деспотиями.

Российское самодержавие имело существенные особенности по сравнению с европейскими абсолютными монархиями. Последние возникли, по словам Ф. Энгель-

са, «в качестве естественно складывающегося компромисса между дворянством и буржуазией»⁴⁰ на стадии ускорения формационного перехода к капитализму (и в качестве фактора этого ускорения). В случае же российской феодальной монархии можно констатировать лишь известный компромисс между дворянством и государственной бюрократией, да и то с оговоркой, потому что, хотя русские самодержцы, начиная с Петра I, порой заставляли отступать «породу» перед «выслугой», верхние ступеньки бюрократической лестницы занимали обычно представители «породы». Что же касается компромисса между дворянством и буржуазией, то о нем можно говорить лишь применительно к концу XIX — началу XX в., хотя уже с реформ 1860-х гг. царизм «начинал выражать классовые интересы буржуазии»⁴¹. В формационных процессах докапиталистического и послефеодального периода российское самодержавно-крепостническое государство играло иную, значительно более противоречивую роль.

В свое время, анализируя процесс складывания российской мануфактуры, С. Г. Струмилин хорошо подметил любопытную асинхронность европейского и русского формационного развития. Окончательная дата юридического оформления крепостного права в России (1649 г.), отмечал он, совпадает с английской буржуазной революцией, а к моменту апогея в развитии крепостничества в России в эпоху Екатерины II в Европе уже пробил набат Великой французской революции. Таким образом, в отличие от Запада, где рост капиталистических отношений шел рука об руку с разложением феодальных, в России «первым и при этом уже весьма зрелым росткам капитализма суждено было прививаться в условиях не отмирающего, а чрезвычайно еще полнокровного феодализма»⁴². Данный исторический парадокс имеет достаточно простое объяснение: российское феодальное государство укрепляло под собой почву пересадкой «зрелых ростков капитализма» Европы, развитых форм знания и технологии; заимствуя технико-организационные формы производства и управления, оно тем самым продлеvalo свое существование. Ибо заимствование было сугубо выборочным, прагматическим, перенимались главным образом элементы производительных сил (техника, знание, специалисты, те или иные организационные формы и пр.) и тут же прочно «схватывались» всей системой крепостнических производственных отно-

шений и надстроечных институтов. Безусловно, одновременно закладывались и семена грядущих конфликтов — импортируемые элементы одной формации входили в противоречие с общей системой другой формации; кроме того, инерция подражания прихватывала по пути что-то избыточное — стандарты потребления, идеи и пр. Тем не менее в течение длительного времени (более полутора веков, начиная с реформ Петра I) самодержавное государство в целом контролировало положение, загоняя частью ею же вызываемого джинна капитализма в бутылку крепостнических структур. Такого рода «феодальный капитализм» явился не только порождением ситуации отсталости, «вторичности» буржуазного развития, но и (применительно к России) естественной стратегией империи, имевшей лишь внешние преграды для расширения своего могущества (и потому вынужденной учиться у более развитых соседей), но не имевшей или почти не имевшей преград внутренних.

Симбиоз «полнокровного» феодализма и технико-организационных элементов уже достаточно развитого европейского капитализма начинается при Петре I. Импортируются не только оборудование и специалисты, различного рода «суконные фабриканты», «шлессарные мастера» и пр., но и организационно-экономические формы: акционерные общества, «кумпании». Создаются мануфактуры по производству сукна (чтобы «не покупать мундиру заморского»), полотняное, канатное и кожевенное производства, металлургия и пр. Некоторые предприятия были казенные, некоторые отдавались в частные руки, но таким образом, что значительная доля паевого капитала шла из казны и акционерам (купцам, дворянским военачальникам, нередко приближенным Петра I) устанавливались и размеры капиталов, и сорт товаров, и объем производства, и сбыт. К новым предприятиям не только приписывались крепостные деревни, но и сами «предприниматели» принуждались к своей деятельности, ибо, как объяснялось в петровском указе 1724 г., «всем известно, что наши люди ни во что сами не пойдут, ежели не приневолены будут»⁴³.

Еще Н. Г. Чернышевский показал, что Петру I «были нужны собственно только военные учреждения Запада», а все остальное заимствовалось «мимоходом» и произвело «изменение до того слабое, что много заниматься им и нет надобности» (Ч., VII, с. 611—613). Намеченная цель была достигнута настолько успешно, что россий-

ское самодержавие почти на 200 лет застраховало свое существование. Оно смогло не только прорубить торговое «окно» в Европу, но и вмешиваться во внутренние дела европейских государств, даже претендовать на роль жандарма Европы, пока военное развитие Запада не стало вровень с его уровнем промышленного развития, и тогда катастрофический урок Крымской войны вынудил царизм приступить к реформам.

Отметим еще одну важную черту: пересадка технико-организационных элементов европейской буржуазной формации (при развитии товарно-денежных отношений внутри страны в XVIII в.) сопровождалась в России громадным усилением феодальной эксплуатации масс, ростом крепостнических отношений вширь. На протяжении XVIII в. помещичье землевладение выросло вдвое. Резко возросла площадь барской запашки, производившей зерно для продажи (государству и за границу); в житнице дореформенной России масса товарного хлеба, собранного на барщине, вдвое превышала количество хлеба, произведенного в крестьянских хозяйствах⁴⁴.

Некогда Е. В. Тарле был поражен «техническими успехами» русских предприятий конца XVIII в. и их размерами в сравнении с французскими мануфактурами⁴⁵. Но кто работал на этих предприятиях? Главным образом крепостные рабочие (казенные, вотчинные и посессионные), а также те, которые числились «вольнонаемными», но на самом деле в большинстве случаев были крепостными, отработывающими оброк помещику, т. е. подвергались одновременно феодальной и капиталистической эксплуатации. Вплоть до 1861 г. «вольнонаемный» русский рабочий был поставлен если не полностью в крепостнические, то во всяком случае в полукрепостнические условия.

Что касается сравнительно высокой концентрации рабочей силы на дореформенных предприятиях в России, то она объяснялась как низким уровнем техники, так и возможностью мобилизовать в широких масштабах дешевый крепостной труд. На какой-то период за счет последнего фактора Россия могла даже опережать по объему производства европейские страны. Например, в конце XVIII в. в России выплавлялось 10 млн. т чугуна, тогда как в Англии — 8 млн. т. Но в Англии уже с XVI в. запрещалась рубка леса для металлургии, тогда как в России древесное топливо использовалось практически в неограниченном количестве. Но как только в английскую

металлургию пришли технические нововведения (выплавка чугуна на коксе, пудлингование), положение кардинально изменилось: в 1860 г. по производству чугуна Англия превосходила Россию более чем в 16 раз⁴⁶.

«Эпоха 1861 года» образует рубеж качественно нового этапа формационной перестройки в России*. Поражение в Крымской войне, наглядно выявившее превосходство капиталистического Запада, побудило российское самодержавие взять курс на форсированное «обуржуазивание». Но и в пореформенный период сохраняется основная тенденция предшествующей эпохи — выборочное заимствование некоторых базисных (технико-организационных) элементов капиталистической формации при одновременном стремлении правящих кругов к максимально возможной консервации элементов докапиталистической надстройки (самодержавия прежде всего) и даже некоторых базисных традиционных структур. Это выразилось как в сохранении крепостнических пережитков в деревне, так и в феномене своеобразного «государственного капитализма», в преобладающем воздействии государства на хозяйственную жизнь, что наложило глубокий отпечаток на характер, тип буржуазной модернизации.

В пореформенные десятилетия это воздействие выражалось в привлечении государством огромных капиталов

* Распространенное мнение об «исчерпанности» возможностей развития феодальной формации в России накануне реформы 1861 г. представляется нам преувеличением. В целом в первую половину XIX в. Россия не видела какого-то всеобъемлющего кризиса феодального, преимущественно сельскохозяйственного, производства. С 1802 по 1855 г. посевная площадь в стране возросла (при общем росте населения примерно на 50%) с 38 до 58 млн. десятин (на 53%), валовые сборы хлебов — со 155,8 до 234 млн. четвертей (на 50%); они довольно резко снизились (до 185,6 млн. четвертей) только в первые послевоенные годы (1856—1860). Кризис феодализма в России выявился прежде всего в *сравнительно-историческом* плане. Наблюдалось резкое, прогрессирующее отставание феодальной России от капиталистических и полукapиталистических стран Европы; они обгоняли ее по технике производства, производительности труда, товарной продукции. Удельный вес России в совокупной выплавке чугуна пятью странами (Англия, США, Германия, Франция, Россия) упал за 1825—1860 гг. с 15 до 5%. Ее удельный вес в мировом производстве составлял в 1860 г. приблизительно 1,72% и уступал Франции в 7,2 раза, Германии — в 9, Англии — в 18 раз (см.: Переход от феодализма к капитализму в России. Материалы Всесоюзной дискуссии. М., 1969, с. 59—60, 79—80). Эту сравнительную отсталость феодальной России и выявила Крымская война. Не будь ее, кризис феодализма принял бы более затяжные, длительные формы.

из-за границы для создания железнодорожной сети. Частное по форме железнодорожное строительство фактически осуществлялось при самом непосредственном воздействии государства. Государство способствовало и возникновению новых крупных заводов (металлургических и транспортного машиностроения), которым предоставлялись необходимые средства, обеспечивался устойчивый спрос на их продукцию, гарантировались высокие прибыли. Кроме того, существовал в прямом смысле слова бюрократический капитал: в послереформенную эпоху в России не только осталось, но и росло громадное государственное хозяйство — колоссальный земельный и лесной фонд, горные предприятия и рудники на Алтае, Урале, в Сибири, военные заводы, железнодорожное хозяйство, централизованная банковская система, где государственный банк главенствовал над частными банками, почта, телеграф и т. д. Весь этот обширный хозяйственный массив был составной частью государственного аппарата империи, он управлялся не буржуазными, а дореформенно-бюрократическими методами⁴⁷.

Это бюрократическое насаждение капитализма «сверху» (не исключаяющее его одновременного стихийного роста «снизу») отличало российский вариант буржуазной эволюции от евроамериканского региона, где как на домонополистическом, так и в значительной мере на монополистическом этапе экономическое развитие осуществлялось в основном в частном секторе, а государству отводились функции охраны устоев капиталистического порядка, подавления трудящихся, отстаивания внутриполитических и внешних интересов буржуазии. Например, в Англии те же железные дороги строились без государственной помощи и оставались частнокапиталистическими предприятиями вплоть до середины XX в. Даже в Германии при значительном развитии госкапиталистических форм при Бисмарке промышленность, как отмечал Ф. Энгельс, по большей части развивалась «на просторе свободной конкуренции»⁴⁸.

Однако самодержавное государство было не только «толчком» капитализма в России, но и его тормозом. Ибо капиталистическая модернизация проводилась царизмом не ради осуществления действительного социального прогресса, а прежде всего «ради укрепления собственного политического положения и в интересах дворянско-помещичьего класса»⁴⁹. Цель определяла средства: российский «государственный капитализм» сохранял

многие добуржуазные элементы, он был призван обеспечивать экспансионистскую внешнюю политику царизма, так же как внутри — подавление демократических сил. Не случайно В. И. Ленин усматривал в российском империализме *военно-феодальные* тенденции, связывая их с царизмом и его воздействием на ход буржуазного развития в России⁵⁰.

Тормозящее воздействие царизма на процесс формационного перехода сказалось, в частности, на социальном облике российской буржуазии, которая с самого начала была вынуждена подстраиваться к господствовавшим самодержавно-крепостническим порядкам. В петровские времена купцы добивались права на прикрепление к мануфактурам крепостных деревень «под такую кондицией, дабы те деревни всегда были уже при тех заводах неотлучно»; в екатерининскую эпоху и позднее они добивались дворянства, чтобы наравне с ним пользоваться правом на крепостной труд. Узкокастовость, отстаивание сословных привилегий, преобладание форм феодальной монополии, правовая необеспеченность и социальная приниженность — такие черты отличали процесс складывания буржуазно-купеческих элементов в России в дореформенный период⁵¹.

В пореформенный период всесторонняя зависимость российской буржуазии от самодержавно-бюрократического аппарата не только сохранилась, но даже усилилась. Ибо теперь царизм приручал буржуазию путем гарантированных заказов, щедрых субсидий, передачи частным лицам уже «поставленных на ноги» казной предприятий или, наоборот, взятия в казну предприятий убыточных. Некоторые заводы (например, Балтийский) переходили из казны в частное владение и обратно несколько раз. Отсюда — прилив капиталов к казенным поставкам; жажда сверхдоходов вместо ориентации на нормальную среднюю прибыль; стремление посредством таможенных барьеров и всяческих льгот оградить себя от любой конкуренции. Такая деятельность была не столько предпринимательством буржуазного типа, сколько паразитированием на внешних формах капиталистического промышленно-финансового механизма.

В результате в контингенте российской буржуазии наиболее выделялись два слоя: близкие к правительственному аппарату промышленные и финансовые воротилы, действовавшие отчасти в рамках феодальной монополии, и Разуваевы и Колупаевы (продукт роста бур-

жуазных отношений «снизу»), обиравшие народ во многом еще докапиталистическими методами. Средний предпринимательский слой был очень слаб и незначителен. Вплоть до начала XX в. торговый капитал преобладал над промышленным: согласно, например, справочникам Московской купеческой управы на 1913 г., почти две трети промысловых свидетельств было взято на торговые предприятия⁵². Немногие более развитые предпринимательские элементы тонули в традиционной купеческой среде с ее низкой культурностью, отсутствием элементарной деловой этики, явными чертами «торгашеского феодализма», стремлением к безудержной эксплуатации дешевого наемного труда. Показательно, что попытка ввести даже очень скромное рабочее законодательство, предпринятая в 80-х гг. министром финансов Н. Х. Бунге, была встречена в штыки промышленными кругами.

Дробность структуры российской буржуазии, слабое классово-экономическое единство между различными ее группами усугублялись сохранением в пореформенный период сословных различий, разобщавших предпринимателей из дворян, купцов, казаков, мещан и крестьян. Наконец, ограниченная экономическая дееспособность национальной буржуазии наглядно обнаруживалась на фоне ее значительной зависимости от европейского капитализма. Доля иностранного капитала в имущественных фондах всей национальной фабрично-заводской промышленности в начале XX в. составляла 36%. Фонды русских банков на три четверти контролировались международным капиталом. На заграничную технику приходилось 63% общей стоимости оборудования в индустрии, да и часть остального оборудования делалась по зарубежным чертежам и проектам⁵³.

Несомненно, между буржуазией и царизмом существовали объективные противоречия. Но в целом политическое самоопределение российской буржуазии задерживалось как «попечительной» политикой власти, развращавшей верхушку купечества экономическими и иными привилегиями («одворянивание», награждение орденами и пр.), так и неразвитостью политического сознания самой буржуазии, ее неспособностью представить себе иные формы политического и общественного развития, кроме «указующего перста» самодержавной власти. Политическое оформление российской буржуазии затянулось вплоть до начала XX в. «В то время как крайние направления нашей страны организованы, ли-

берально-умеренное ядро русского общества пребывает еще в состоянии почти бесформенном», — сокрушалось в 1902 г. выходявшее за рубежом «Освобождение» П. Б. Струве⁵⁴. Буржуазные партии создавались уже в ходе начавшейся помимо их воли буржуазно-демократической революции и против нее.

Царизмом и его основной социальной опорой — дворянством, игравшим экономически реакционную роль, было также обусловлено существенное противоречие становления капитализма в России — между передовыми формами промышленности и отсталым, полусредневековым сельским хозяйством. «Плантаторское» большинство дворянства сумело в 1861 г. добиться максимально выгодного для себя варианта крестьянской реформы, отрезав в свою пользу значительную долю наделов крестьян, ограбив их высокими выкупными платежами (по цене земли в полтора-два раза выше рыночной), наконец, прикрыв сельское население (через механизм общины) к земле, т. е. по сути обеспечив себя после реформы дешевым полукрепостническим трудом. Крестьяне в значительной мере по-прежнему оставались бесправными по отношению к своим бывшим господам — в результате искусственного затягивания «временнообязанных отношений» и выкупной операции в целом (рассчитанной на 70 лет!), сохранения фактической судебной власти помещика над крестьянином и пр.

Поэтому в России второй половины XIX в. не был осуществлен даже «пруссский» путь развития капитализма в сельском хозяйстве; соответствующего типа реформы в европейских странах (а также в Японии) совершались иными, более прогрессивными методами. В Австрии, например, согласно реформе 1848 г., выкуп земли крестьянами проводился по цене намного ниже рыночной. В Пруссии антифеодальная земельная реформа была завершена полностью за 40 лет (1807—1848 гг.); выкупная операция проводилась в обязательном порядке не только для крестьянина, но и для помещика; крестьяне получали свои наделы полностью, включая угодья и подземные недра. При этом именно прусские юнкеры проявили большую активность в ломке феодальных пережитков и в переходе хозяйства на капиталистический лад⁵⁵.

Что же касается России, то и после реформы 1861 г. подавляющая часть помещичьего класса продолжала прежний, непроизводительный-потребительский образ

жизни, который обслуживался системой капиталистических банков — в них искусственно стягивались средства для обеспечения дворянского кредита⁵⁶.

Россия — в отличие от стран Запада — так и не решила ни в XVIII, ни в XIX в. аграрной проблемы. Крестьянский вопрос начиная со второй половины XVIII в., в течение всего XIX и в начале XX в. был в центре идейной борьбы в России. Именно стихийный протест крестьянства против крепостничества (затем его остатков) отражала возникшая в стране революционная идеология. Крестьянская революция была признана в конце концов революционерами кардинальным средством борьбы. Однако в народе эта установка долгое время отклика не находила. В России в толще народа были сильны патриархальные, монархические иллюзии, которые составляли немалую опору абсолютизму.

На этом фоне становятся понятными громадные объективные трудности освободительного движения в России, где вплоть до начала XX в. «народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу»⁵⁷. Правда, в XVII—XVIII вв. крестьянский протест против эксплуатации не раз выливался в настоящие крестьянские войны (под предводительством Болотникова, Разина, Пугачева). Но это были на начальном этапе выступления особого социального слоя (казачества); кроме того, они «не могли опереться на сложившийся класс сильной городской буржуазии»⁵⁸. Хотя антифеодальный характер этих движений был несомненен, их лозунги (за «добраго царя») были далеко не тождественны требованиям европейских буржуазных революций XVII—XVIII вв., эти движения потенциально не вели к формационному сдвигу. Они напоминали скорее многочисленные крестьянские восстания китайского средневековья, которые даже в случае успеха сажали на трон «крестьянских царей», не меняя существующих докапиталистических структур. Наконец, в течение всего XIX века российское крестьянство не дало ничего близкого по размаху движения к пугачевщине. Даже в эпоху 1861 г., когда «верхи» решали судьбу крестьянства, «революционного класса среди угнетенных масс вовсе еще не было»⁵⁹. Терпению крестьянства наступил конец лишь в начале XX в., при этом сказался пример пролетарской борьбы.

Пассивность широких народных масс в XIX в. определила и специфику первых российских революционных ситуаций 1859—1861 и 1879—1881 гг. (к ним с известными оговорками можно отнести и восстание дворянских революционеров в 1825 г.). Из основных признаков революционных ситуаций, обозначенных В. И. Лениным (кризис «верхов»; обострение бедствий угнетенных классов; значительное повышение активности масс)⁶⁰, в них наиболее отчетливо был выражен первый признак, вызванный либо неопределенностью вопроса о престолонаследовании (в декабре 1825 г.), либо военным поражением царизма (в Крымской войне), либо натиском революционеров (как в период «Народной воли»), а бедствия трудящегося населения были более или менее постоянной величиной. Что же касается массовой активности, то ее отдельные проявления — как, например, разрозненные крестьянские бунты и протесты в 1861 г. — выступали скорее как потенциальная угроза на будущее, в конце концов осуществившаяся в начале XX в.

В целом российская буржуазия так и не стала в авангарде антифеодальной борьбы в России, российский капитализм в целом не проявил себя силой, способной ликвидировать национальную социально-экономическую отсталость. Если в 1860 г. доля России в мировом промышленном производстве составляла 1,72%, то в 1890 г. она была практически такой же — 1,88%. К 1913 г. этот показатель вырос до 3,14%, но это все равно далеко не соответствовало масштабам и возможностям такой гигантской страны, как Россия⁶¹. Русский капитализм развивался больше вширь, чем вглубь. Например, к 1913 г. «вал» по добыче угля увеличился по сравнению с 1861 г. более чем в 100 раз, но производительность труда на одного рабочего менее чем в 1,5 раза. В начале XX в. средняя годовая производительность труда на одного рабочего по всей промышленности в России была в 3,5 раза меньше, чем в США, и в 1,5 раза ниже, чем в тех же США в 1860 г.⁶²

И по прошествии полувека форсированного «обуржуазивания» доля сельскохозяйственной продукции в народном доходе европейской России на 1913 г. в 2,2 раза превышала долю промышленной продукции, причем натуральная часть народного дохода от сельского хозяйства более чем вдвое превышала товарную⁶³. С. Ю. Вите имел все основания в начале XX в. докладывать царю, что «Россия и по настоящее время остается еще страной

существенно земледельческой. За все свои обязательства перед иностранцами она расплачивается вывозом сырья, главным образом сельскохозяйственных произведений... Потребности свои в фабричных изделиях, горных продуктах она в значительной степени покрывает привозом из-за границы»⁶⁴.

Причины этих диспропорций и сравнительно невысоких показателей развития капитализма в России коренились в тех исторических условиях, которые были связаны с тормозящим воздействием самодержавного государства и крепостнических пережитков. «...Почему это, — писал В. И. Ленин накануне первой мировой войны, — развитие капитализма и культуры идет у нас с черепашьей медленностью? почему мы отстаем все больше и больше?

На этот вопрос... сатрапы нашей промышленности боятся ответить именно потому, что они — сатрапы. Они — не представители свободного и сильного капитала, вроде американского, а кучка монополистов, защищенных государственной помощью и тысячами сделок и сделок с теми именно черносотенными помещиками, которые своим средневековым землевладением... и своим гнетом осуждают $\frac{5}{6}$ населения на нищету, а всю страну на застой и гниение»⁶⁵.

Конечно, в период капиталистического развития России были созданы технически передовые предприятия, национальный комплекс тяжелой промышленности и машиностроения, построены железные дороги. Но во-первых, индустриализация в значительной мере предназначалась для обслуживания имперской политики самодержавия. Во-вторых, промышленные успехи российского капитализма покупались дорогой ценой — растратой национальных сырьевых богатств, непропорционально высоким обогащением немногочисленной элиты, громадной эксплуатацией трудящихся и ростом острейших социальных противоречий.

Оборотной стороной усиленного роста российской промышленности была значительно более жесточенная, чем в развитых капиталистических странах, эксплуатация рабочего класса. Например, заработок русских судостроителей в конце XIX — начале XX в. был вдвое меньше, чем английских⁶⁶. Для основной массы наемного труда в России второй половины XIX в. историки фиксируют «относительно падающий уровень жизни»⁶⁷. Еще хуже, чем у промышленных рабочих, было положение

ние народных промыслов, кустарей, разорвавшихся фабрикой, — процесс, характерный именно для второго эшелона капитализма.

Отсталость русского капитализма В. И. Ленин связывал с обилием докапиталистических пережитков, задерживавших развитие капитализма и ухудшавших положение производителей⁶⁸. Это особенно проявлялось в российской деревне, где не только процветала эксплуатация земледельца полукрепостническими методами, но и преобладали экстенсивные методы хозяйства. Постоянное увеличение запашки под пшеницу на экспорт приводило к нарушению элементарной агротехники, истощению почвы, а отсюда — к систематическим неурожаям и голодовкам. Достаточно назвать грандиозное бедствие 1891 г., хотя периодические недороды стали обычным явлением с конца 60-х гг. Падающее потребление трудящегося населения деревни вызывалось также многочисленными поборами и выкупными платежами, в результате чего у пореформенного русского крестьянства (берем данные накануне революции 1905 г.) оставалось примерно 15 пудов зерна на человека — норма, достаточная лишь для жизни впроголодь, тогда как в Дании, Бельгии, США и других развитых капиталистических странах на человека приходилось от 40 до 140 пудов (без семян)⁶⁹.

Поистине драматическим было такое прямое следствие «недоделанной» реформы 1861 г., как обезземеливание, пауперизация крестьянской массы. Через полвека после царского «освобождения» четверть крестьянства оказалась безземельной (10 млн. хозяев-мужчин). В. И. Ленин в период первой русской революции исчислял аграрное перенаселение российской деревни в 13 млн. хозяйств⁷⁰. Но далеко не все сельские бедняки могли найти работу в промышленности, поскольку промышленный переворот в России, в значительной мере начавшись сразу с фабрики и с более высокой степени применения машинной техники, нежели это было на соответствующей стадии в Европе, не мог поглотить столько рабочих рук. Отсюда — явление «босячества», столь выразительно запечатленное в русской художественной литературе, рост социального неравенства, преступности и т. д.*

* Г. И. Успенский в своих замечательных очерках одним из первых вскрыл драматический процесс развала пореформенной России.

Зато немногочисленная верхушка имущих располагала баснословными доходами, которые далеко выходили за рамки «нормальной» капиталистической эксплуатации. «Русская» сверхприбыль в два-три раза превышала среднюю прибыль на капитал в Европе. Например, при строительстве Московско-Курской железной дороги члены группы московского купечества и бюрократии, используя государственную поддержку и почти не вложив собственных денег, получила по три и даже по 6 млн. руб. каждый⁷¹. Взятка, перекаldывание средств из одного ведомственного кармана в другой, искусственное раздувание смет и проектов железнодорожного строительства — такими методами достигалась в данном случае «прибыль», которая во многом еще не была капиталистической. Приносившие огромные убытки как при строительстве, так и при эксплуатации железные дороги в России строились на костях трудящихся масс — и в прямом смысле слова (вспомнить хотя бы знаменитое некрасовское стихотворение), и в переносном — через громадное налоговое обложение, обеспечивавшее сверхдоходы общественной верхушке.

Мы видели, как складывались экономические и социальные предпосылки формационного перехода к капитализму в России. Еще более неадекватными выглядели правовые и политические предпосылки. В феодальных структурах на Руси не выработалось необходимых элементов буржуазного права; русские крестьяне никогда не были частными собственниками своей земли⁷². Не безусловной была и частная собственность помещиков — правительство в принципе могло всегда наложить секвестр на того или иного владельца «населенных имений». Красной нитью через все историческое развитие докапиталистической России проходит тесная зависимость суда от государства, во многом оставшаяся и после реформы 1864 г., сохранившей к тому же сильные элементы дворянской сословности в суде. Столь же урезанными после «Временных правил» 1865 г. были права печати.

ской деревни, переполнения ее «сердитым нищенством» в результате стремительного вторжения товарно-денежных отношений, распространения эгоистически-рваческих установок, хищнических методов эксплуатации. Крестьянин, который «все вытерпел — и татарщину, и немечщину», не смог устоять «под ударом рубля» (*Успенский Г. И. Избр. соч. М. — Л., 1949, с. 381, 411—412 и др.*).

Правовая необеспеченность личности — эта коренная черта российской общественной жизни — явилась серьезным препятствием для развития капитализма. Еще Екатерина II в своем «Наказе» отмечала, что состоятельные крестьяне «закапывают в землю свои деньги, боясь пустить оные в обращение, боясь богатыми казаться, чтобы богатство не навлекло на них гонений и притеснений»⁷³. Но и в пореформенную эпоху, например, различные «дозволенные» организации буржуазно-купеческих кругов (Мануфактурный совет, Коммерческий совет, Совет торговли и мануфактур, предпринимательские съезды и др.) могли «только обсуждать, предоставлять, ходатайствовать; осуществление каких бы то ни было мер им не было предоставлено»⁷⁴. Такая правовая необеспеченность составляла контраст не только с европейским регионом, но и со странами второго эшелона капитализма (например, с Японией), где, как отмечал В. И. Ленин, были созданы «условия наиболее полного развития товарного производства, наиболее свободного, широкого и быстрого роста капитализма...»⁷⁵.

Что же касается политических предпосылок, то здесь российское самодержавие обнаружило особое, держимордовское упорство в неприятии даже ограниченных конституционных начал по сравнению с другими странами второго эшелона капитализма, где были приняты в XIX в. буржуазные конституции, например с Грецией (1844 г.), Румынией (1866 г.), Сербией (1869 г.), Болгарией (1879 г.), Японией (1890 г.) и др. Только султанская Турция может сравниться с Россией в этом плане. Но даже там в 1876 г. были введены конституционные начала на европейский манер (правда, через год фактически отнятые султаном). В России политические и правовые предпосылки буржуазной формации были созданы лишь в феврале 1917 г. Но было уже поздно: через несколько месяцев накопившийся революционный взрыв снизу смел эксплуататорский строй.

Наконец, серьезным препятствием для завершения становления буржуазной формации в России была глубокая отсталость культурно-образовательных предпосылок, корни которой уходили в феодальную эпоху. Еще в середине XVI в. на Стоглавом соборе было признано, что учиться в Московском государстве негде — «учителя, какие есть, сами мало умеют»⁷⁶. Лишь в конце XVII в. возникает первое церковное учебное заведение — Славяно-греко-латинская академия, созданная как цитадель

для борьбы с «иноверным» Западом. Очаги светского образования появляются только в эпоху Петра I (школа математических и навигацких наук, Морская академия, цифирные школы для «солдатских детей»). Но эти учреждения просуществовали недолго — в России еще не было необходимых условий для серьезного образования. Когда Петр I захотел устроить в России университет, то для него пришлось выписать из Германии не только 17 преподавателей, но и... 8 студентов, так как своих слушателей просто не имелось. Немногим лучше обстояло дело в основанном в 1755 г. И. И. Шуваловым и М. В. Ломоносовым Московском университете, где в 1765 г. на юридическом факультете был 1 студент, так же как в 1768 г. — на медицинском. Долгое время на «ученье» в России смотрели лишь «как на средство для удовлетворения государственных потребностей»⁷⁷. В 1788 г. чиновник О. П. Козодавлев, ревизовавший первые устроенные Екатериной II гимназические училища, так объяснял в своем донесении нежелание многих учащихся низших классов продолжать обучение в высших: «Всякий знает, что для снискания места в гражданской службе нужно одно токмо чистописание...»⁷⁸ Средняя школа, созданная в екатерининскую эпоху, была и долго еще продолжала оставаться дворянско-сословной (хотя многие дворяне предпочитали учить своих детей частным образом).

В начале XIX в. в России существовало уже шесть университетов, но средняя и низшая школы количественно были немногочисленными и сосредоточивались исключительно в городах. На 3,5 млн. городского населения в тот период приходилось немногим более тысячи школ (для сравнения: церковей было в 4 раза больше, а «питейных заведений» — в 12 раз)⁷⁹.

Безусловно, в XIX в. (особенно после 1861 г.) высшая и средняя школы постепенно демократизируются, из их стен выходит много выдающихся представителей литературы, искусства, науки. Но это был все же элитарный уровень, количественно незначительный по отношению к основной массе населения. В начале 70-х гг. в Европейской России одно среднее учебное заведение приходилось на 300 тыс. жителей⁸⁰. Еще хуже обстояло дело с массовой, народной школой. «Обучать грамоте весь народ... — говорил в николаевскую эпоху министр просвещения А. С. Шишков, — принесло бы более вреда, нежели пользы»⁸¹. Церковно-приходские школы возни-

кают только в 1839 г. (20 тыс. учащихся), через 40 лет в них училось 100 тыс. детей⁸². И хотя существовала еще земская низшая школа, все же начальное образование охватывало небольшую долю трудящегося люда (не говоря уже о качестве образования). Так, на 1890 г., согласно земским переписям, среди мужского крестьянского населения числилось 14,8% умеющих читать и писать, среди женского — 2,8%⁸³. В это же время в Англии было грамотно более 90% населения, в Голландии — 94,5, во Франции — 90, в Пруссии — 89%⁸⁴. Но и в Японии к началу XX в. уже около 90% мальчиков посещали хорошо организованные начальные школы⁸⁵. Культурную революцию Россия проделала лишь после Октября 1917 г.

Здесь уместно сказать несколько слов о культурно-исторической роли религии в России, которая в отличие от западного христианства была здесь куда более консервативной. Уже во времена Московского государства русская церковь имела очень малую автономию по отношению к самодержавной власти; начиная с эпохи Петра I она становится прямым звеном государственной бюрократии. В отличие от католичества и протестантизма на Западе российское православие сторонилось светских, социально-политических проблем. Поэтому оно мало способствовало делу образования; вплоть до XIX в. церкви не удалось добиться даже поголовной грамотности священнослужителей. Точно так же русский раскол не имел аналогии с Реформацией. Хотя из его среды впоследствии выходили некоторые социально активные элементы (например, старообрядческий отряд московского купечества), но политически они оставались консервативными.

В целом докапиталистические культурные традиции в России содержали мало предпосылок для формирования нетрадиционного, буржуазного типа личности. Скорее они выработали тот комплекс институтов и идей, который Н. Г. Чернышевский называл «азиатством»: домострой, вековые привычки подчинения государству, равнодушие к «юридическим формам», заменяемым «идеей произвола» (Ч., VII, 616). Поэтому, хотя образованный слой в России обнаружил сравнительно высокую способность усвоения элементов европейской культуры, эти элементы не могли закрепиться в толще населения; попадая на неподготовленную почву, они вызывали скорее разрушительный эффект, приводили к социально-

культурной дезориентации массового сознания (мещанство, босячество, пьянство и пр.).

Отсюда становится понятным тот своеобразный парадокс культурного процесса в России XIX в., который состоял в резком разрыве между развитой прослойкой интеллигенции, дворянства, разночинства и трудящимися массами. Относительная культурная молодость российской цивилизации (ибо наследие Киевской Руси, стоявшей по уровню развития в одном ряду с европейским регионом, погибло в эпоху татарского нашествия, а период Московского государства собственно в культурном отношении не мог дать многого) облегчила восприятие передовыми элементами имущих классов европейской культуры. Более или менее свободные (после указа о вольности дворянства 1762 г.) и материально обеспеченные передовые представители дворянства с конца XVIII в. стали энергично отряхивать прах домостроевских традиций и принялись стремительно наверстывать упущенное, усваивая идейно-культурные достижения более передовых стран.

Мы любим всё — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...

Это «ученье», соединенное с сильным патриотическим чувством и бережным отношением к элементам народной, крестьянской культуры, привело к культурному взлету в XIX в., имевшему не только национальное, но и общемировое значение. Этот взлет дал выдающихся представителей литературы, искусства, науки, общественной, в том числе революционной, мысли — от декабристов и Герцена до Ленина. Развитость российской культурной элиты определила и чрезвычайно высокий уровень революционной теории, и в конечном счете достижения российского революционного движения, оказавшего в следующем веке обратное и гигантское воздействие на мировой революционный процесс.

В этом пункте нашего анализа мы выходим к одной из существенных особенностей исторического развития России. В условиях России XIX в., когда национальная буржуазия не смогла стать гегемоном освободительного движения, а крестьянство — его движущей силой, основным субъектом революционного процесса выступила образованная прослойка общества — интеллигенция. «Не

бог знает, конечно, какая находка это слово (интеллигенция. — *Авт.*), — писал Н. К. Михайловский, — но любопытно, что... нигде в Европе подобное слово не употребляется в смысле определения особой общественной силы... По-моему, в самой наличности этого нескладного на русское ухо слова есть нечто отчасти утешительное, отчасти прискорбное, и, во всяком случае, обусловленное особенностями русской истории»⁸⁶ *.

Тот факт, что столь специфическое самосознание образованного слоя и даже генетически исходное понятие «интеллигенция» впервые возникает в стране второго эшелона капитализма, отнюдь не случаен. Как мы видели, ситуация запоздалого буржуазного развития обуславливает слабость и нарастающий кризис двух основных имущих групп — традиционно-дворянской и новобуржуазной, первая из которых политически и морально деградирует, а вторая не может «развернуться». К этому надо добавить неразвитость массового сознания, засилье докапиталистических пережитков, традиционных структур и идей.

В таких условиях демократическая интеллигенция отставшего в развитии общества самым ходом вещей выдвигается на повышенную социальную роль. В. И. Ленин точно заметил: «В старые времена в России была революционной одна только интеллигенция»⁸⁷.

Конечно, общественная автономия интеллигенции относительна. Ее деятельность и идейные построения так или иначе являются проекцией различных социально-классовых интересов, в частности трудящихся масс, на которые она стремится опираться. «Идейное движение, происходящее сейчас в России, — указывал К. Маркс после реформы 1861 г., — свидетельствует о том, что глубоко в низах идет брожение. Умы всегда связаны не-

* Н. К. Михайловский был прав. Термин «интеллигенция» в смысле специфически социальной группы («особой общественной силы») был впервые употреблен писателем П. Боборыкиным в 1863 г. и быстро стал достоянием общественного мнения в России. В Европе же понятие *intelligentia* — от Теренция и Варрона до Гегеля и позже — употреблялось в смысле «человеческого интеллекта», «понимающей способности человеческого разума». Лишь в 20-х гг. нынешнего века Оксфордский словарь поместил «русское» значение термина «интеллигенция», которое с тех пор стало общепринятым (подробнее см.: *Максимено В. И., Хорос В. Г. Интеллигенция несоциалистических обществ как историко-социологическая проблема.* — Известия АН Грузинской ССР. Серия философии и психологии. Тбилиси, 1981, № 3, с. 21—24).

видимыми нитями с телом народа»⁸⁸. Тем не менее дальше глухого брожения в «низах» дело не пошло. Практически и на протяжении второй половины XIX в. (не говоря уже о первой) революционная интеллигенция оставалась оторванной от народа. В этом смысле представления народнических мыслителей о решающей роли «критически мыслящих личностей» были не только преувеличением, но и своеобразным отражением рассмотренной ситуации «вторичного» буржуазного развития.

Повышенные идейно-политические функции интеллигенции были характерны (хотя и в меньшей степени) для других стран второго эшелона буржуазного развития. И в третьем эшелоне нынешних развивающихся стран самосознание национальной интеллигенции весьма сходно с предшествующим российским образцом: то же выделение интеллигенции в качестве особой, авангардной общественной силы; ее чувство долга перед трудящимися, прежде всего крестьянством; аналогичное утверждение своей социально-критической миссии по отношению к «старому порядку», докапиталистическим структурам; вместе с тем «стыдливое» отношение к буржуазии, стремление к «минованию» буржуазной стадии и пр.⁸⁹

Укажем и на громадные объективные препятствия и противоречия, на которые наталкивалась деятельность революционной интеллигенции в России. Разрыв между «друзьями народа» и самим народом; несоответствие между воспринимаемыми из более передовых стран идеями и отечественной действительностью; узость революционного слоя, лишенного массовой поддержки, — все это не могло не сказаться на деятельности российской радикальной интеллигенции как в идейно-теоретическом, так и в практическом плане. Отсюда — постоянные противоречия в революционной среде, «покаяния» перед народом, частые внутренние идейные и нравственные надломы, проявления революционного экстремизма и т. д., которые стали преодолеваются с появлением в конце XIX в. пролетарского движения, с переходом революционеров к научному социализму.

Попробуем подытожить сказанное. Российскому варианту формационного перехода были присущи как общие закономерности запоздалого, «вторичного» капитализма, так и определенные национальные особенности. Как первые, так и вторые хорошо выявляются при сопоставлении с такой близкой по многим характеристикам к России страной, как Япония. И здесь и там — сов-

мещение различных фаз становления буржуазного способа производства, «инверсия» стадий промышленного переворота. В обоих случаях — насаждение капитализма «сверху» (при росте его «снизу»), «государственный капитализм» и бюрократический капитал, ранняя концентрация производства, содержащая элементы феодальной монополии, милитаристские тенденции. В обеих странах во второй половине XIX — начале XX в. имели место диспропорции социально-экономического развития, феодальные пережитки, ужесточенная эксплуатация трудящегося населения как источник капиталистического накопления. И там и здесь формировался, выражаясь словами К. Маркса, «род капитализма, вскормленный за счет крестьян при посредстве государства...»⁹⁰.

Но имелись и немалые отличия как объективного, так и субъективного свойства, которые и привели к различным историческим результатам. Во-первых, в аграрной сфере. Феодальная Япония не знала крепостнического закабаления крестьянства и помещичьего хозяйства, сильнейшие пережитки которого оставались в России и после полукрепостнической реформы 1861 г.; 30 тыс. помещиков-латифундистов располагали таким же количеством земли, что и 10,5 млн. крестьянских хозяйств; разница размеров владений более чем в 300 раз. Такая пореформенная ситуация стала сильнейшим препятствием развития национального капитализма и одновременно до предела обострила социальные противоречия в России, обусловила — рано или поздно — неизбежность революционного взрыва. 1861 год, как подчеркивал В. И. Ленин, породил 1905-й и, думаем, 1917-й.

Во-вторых, деспотическая роль государства как на протяжении всей российской истории, так и на этапе развития капитализма была гораздо более значительной, нежели в Японии. Как мы старались показать, это обстоятельство сыграло не только стимулирующую, но и тормозящую роль в развитии российского капитализма, придало ему в значительно большей степени «казенный», бюрократический характер, а также в большой мере пропомещичью направленность. Союз помещичьей, бюрократической и буржуазной верхушки создал тот «октябристский капитал», на реакционное социально-политическое содержание которого неоднократно указывал В. И. Ленин.

По сравнению с этим в Японии эпохи Мэйдзи наряду с аналогичными централизаторскими тенденциями и

структурами «государственного капитализма» мы видим более гибкую и вместе с тем более последовательную буржуазную стратегию правящего руководства, активно поощрявшего свободу частного предпринимательства, больше, чем в России, способствовавшего демократизации общественной жизни, сравнительно чутко реагировавшего на общественное мнение, более широко проводившего антифеодалные преобразования.

Наконец, в-третьих, если говорить о культурных предпосылках формационного перехода в обеих странах, существенна разница в степени интеграции традиционных институтов и структур сознания в процесс буржуазной трансформации. В Японии процесс адаптации традиционных институтов к буржуазным отношениям прошел более успешно и органично, чем в какой-либо другой стране второго и тем более третьего эшелона. Традиционные ценности и стереотипы поведения (идея долга как перед вышестоящим, так и нижестоящим, лояльность по отношению к власти, вместе с тем умение отстаивать групповые или классовые интересы в рамках национального консенсуса, патернализм, сыновняя почтительность, культ учителя и пр.), с одной стороны, «сработали» как мобилизующий фактор на строительство национального капитализма, а с другой стороны, помогали относительно сглаживать социальные противоречия, не доводить их до высшей точки кипения, в известной мере приучали трудящихся «терпеть» ту повышенную эксплуатацию, которая неизбежно сопровождает процесс капиталистического накопления в обществе запоздалого буржуазного развития. Огромную мобилизующую роль сыграл традиционный японский великодержавный национализм, побудивший японцев «учиться» у Запада ради того, чтобы догнать его и отстоять «величие нации».

Российское общество было сравнительно более молодо и менее развито с точки зрения степени национальной и культурной интеграции населения. Для него был характерен глубокий раскол между низшими и высшими классами. Соответственно был велик разрыв между традиционными и буржуазными стереотипами личности. Последние плохо укоренялись в самодержавно-крепостнической атмосфере России, а также в среде патриархального и полупатриархального крестьянства. Если к этому прибавить острейшие национальные противоречия российской империи, то можно сделать вывод, что формирование культурных предпосылок капитализма в России

шло еще медленнее, чем политических или социальных.

Отсюда отнюдь не следует вывод, что капитализм в России не развивался или не имел условий для своего развития. Споры на эту тему между марксистами и народниками отшумели почти сотню лет назад. Российский капитализм развивался, и развивался весьма быстро, если сравнивать сроки его становления с веками европейской истории. Точно так же не является главной характеристикой капитализма в России его «количественное» отставание от уровня стран Запада (по объему выплавленного чугуна, числу фабрик, технологическим параметрам и пр.). Проблема заключается в другом: российский капитализм был *иного* типа и качества, капитализмом второго эшелона с характерной для него глубокой диспропорциональностью развития, острейшими классовыми противоречиями, неравновесностью социальной системы. Абсолютизм и опухоль помещичьего землевладения явились в этой ситуации серьезными усугубляющими факторами, так же как и сравнительная «неподготовленность» к буржуазной трансформации традиционных структур. Поэтому историческая эффективность российского капитализма далеко не соответствовала его объективным потенциям, громадным природным и людским ресурсам страны. Его деструктивное воздействие на общество выступало чрезвычайно остро и вызывало к жизни сильные противодействующие антикапиталистические тенденции. Все это постепенно подготавливало крах капитализма в России, революцию социалистического характера.

Более того, неравномерность и противоречивость становления капитализма в России привели к тому, что в нем парадоксальным образом сочетались развитость и отсталость, передовые и застойные формы. В. И. Ленин указывал на контрасты российского развития начала XX в.: «...самое отсталое землевладение, самая дикая деревня — самый передовой промышленный и финансовый капитализм!»⁹¹ Заимствование технико-организационных достижений буржуазного Запада, а также традиции крупных казенных предприятий в докапиталистической России обусловили чрезвычайно высокую, бóльшую, чем во многих европейских странах, степень концентрации промышленного производства и рабочей силы. К 1914 г. промышленный пролетариат более чем наполовину был сосредоточен на крупных предприятиях, а в Петербурге — на 70%⁹².

Российский рабочий класс рано обнаружил высокую общественно-политическую активность: забастовки, «фабричные бунты», стали обычным явлением начиная с 70-х гг., а знаменитая Морозовская стачка, вспыхнувшая в 1885 г. (т. е. за 10 лет до начала пролетарского этапа освободительного движения), заставила даже правительственный лагерь признать, что в России «народился рабочий вопрос». Соответственно росла доля представителей пролетариата в освободительном движении: если в 80-х гг. она составляла 15,1% * при 53,3% интеллигенции и учащихся, то к началу XX в. это соотношение было обратным: 46,1 * и 28,7%⁹³.

В общественной борьбе формировались те черты рабочего класса России, которые способствовали его продвижению на роль гегемона освободительного движения. В отличие от Европы и Америки, где значительным тормозом, обусловившим реформистские тенденции в социал-демократическом движении, была рабочая аристократия, в России как раз наиболее квалифицированные отряды рабочего класса — металлисты и железнодорожники — стали его авангардом, что объяснялось также относительным «уравнением» в сверхэксплуатации, распространявшейся практически на все слои промышленного пролетариата. Далее, в среде городских рабочих сравнительно рано пробудилось стремление к знаниям, к культуре; процент грамотности «фабричных» намного превышал соответствующий показатель среди крестьянства. Известный писатель и просветитель Н. А. Рубакин, хорошо знавший рабочую среду, констатировал, что в 90-х гг. тип «вполне интеллигентного человека из фабричных рабочих... определился довольно ярко»⁹⁴. Отсюда становится понятным, почему к городским рабочим, как к более развитому и отзывчивому слою, потянулись революционеры еще в домарксистский период освободительного движения. Эти традиции были продолжены на новой основе пролетарскими революционерами. Ленинский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» в 90-х гг. XIX в., затем в начале XX столетия ленинская «Искра» несли в рабочие массы идеи социализма и диктатуры пролетариата. В 1903 г. В. И. Лениным была создана боевая пролетарская партия нового типа.

* Сюда включены кроме лиц, занимавшихся промышленностью, и лица, занятые в торговле.

Наконец, важной чертой пролетарской солидарности в России явился ее интернационалистический характер. В. И. Ленин не случайно отмечал, что 1905 год «объединил рабочих всех наций России»⁹⁵.

В целом можно заключить: будучи отсталым с точки зрения общей буржуазной культуры, зрелости социальных и политических предпосылок капиталистической формации, российский капитализм одновременно успешнее, чем во многих других, более развитых странах, готовил себе могильщика. В условиях наступающей новой эпохи и в такой стране, как Россия, где пролетариат вел за собой трудящихся, прежде всего крестьянские массы, борьба за демократию и борьба за социализм уже не были так резко разделенными во времени, «как в странах первого эшелона капиталистического развития», а стали «звеньями единого революционного процесса»⁹⁶.

Россия оказалась тем «слабым звеном», в котором была прорвана в Октябре 1917 г. цепь мирового капитализма. Но это звено было слабым и в другом смысле: «среднеслабый», по ленинскому выражению⁹⁷, российский капитализм далеко не в полной мере создал необходимую материальную и культурную базу для строительства социализма (не говоря уже о разрушениях периода империалистической и гражданской войн). Поэтому, как указывал В. И. Ленин, в России было «неизмеримо легче начать», но «труднее продолжать... революцию», чем в развитых капиталистических странах; поэтому после совершения революционного переворота необходимо было «на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы»⁹⁸. Объективные проблемы и противоречия формационного развития российского общества еще долго давали о себе знать в стране строящегося социализма.

Тот факт, что социализм начал свой исторический путь со страны второго эшелона мирового капитализма, далеко не случаен. Дело не только в том, что структуры, подобные российской, несут в себе средоточие социальных противоречий, напряжения которых не выдерживает общество. Дело еще и в том, что социализм вынужден решать ту историческую задачу, которая оказывается не по плечу запоздалому, оставшему капитализму, — задачу «подтягивания» к индустриально развитым нациям, к достижениям мирового производства и культуры. Еще более выпукло эта историческая миссия возникает в третьем эшелоне капитализма, где социализм

становится императивом национального развития во многих странах социалистической ориентации.

Иначе сказать, реальный социализм помимо своих сущностных, внутренне присущих ему целей вынужден осуществлять — в странах запоздалого буржуазного развития — и задачи, «недорешенные» капитализмом (индустриализация, кооперация, культурная революция). Такая альтернатива в громадной степени расширяет фронт исторического продвижения различных народов, возможности их приобщения к мировой цивилизации. Вместе с тем это историческое ускорение связано со специфическими проблемами и трудностями совмещения разноформационных напластований и задач развития (что обостряется еще и противоборством социализма и капитализма в мировом масштабе), вызывает к жизни противоречия, которые приходится преодолевать мировому социализму.

АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ. У ИСТОКОВ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТРАДИЦИИ

Основоположником российской революционной традиции был Александр Николаевич Радищев (1749—1802), выходец из дворян.

В 1766 г. вместе с группой молодых дворян Радищев был отправлен Екатериной II в Германию, учился в Лейпцигском университете. За границей у русских студентов возник интерес к энциклопедистам (Гельвеций, Мабли, Руссо). Первые же годы службы Радищева по возвращении в Россию показали ему невозможность применить «для пользы отечества» полученные за границей познания (Р., I, 173). В начале 80-х гг. Радищев пишет оду «Вольность», где славит революции в Англии и Америке, приветствует день грядущей революции в России, «избраннейший всех дней!» (Р., I, 17). Под непосредственным влиянием начавшейся французской революции Радищев приступает к политической пропаганде печатным словом. В 1790 г. в домашней типографии он печатает первую в России революционную книгу — «Путешествие из Петербурга в Москву». За издание книги, наполненной, как писала Екатерина II, «самыми вредными умствованиями», содержащей попытку «произвесть в народе негодование противу начальников и начальства и, наконец, оскорбительные и неистовые изращения противу сана и власти царской»¹, Радищев был осужден на смертную казнь, замененную ссылкой в Сибирь. В 1797 г. Павел I разрешил Радищеву вернуться в Центральную Россию, в поместье Немцово, под городком Малоярославцем. После убийства Павла I Радищев переезжает в 1801 г. в Петербург, около года работает в Комиссии по составлению законов царя Александра I. Осенью 1802 г. он кончил жизнь самоубийством.

«Радищев — поистине колоссальная фигура» — эти слова принадлежат Г. А. Гуковскому, знатоку просветительской литературы XVIII столетия, в них нет тени националистического преувеличения (Р., I, с. III). Они сказаны о борце редкого мужества и целеустремленности в защите истины, мыслителе и писателе, не уступав-

шем по своему кругозору и силе гения лучшим мыслителям и писателям той эпохи.

Радищев жил во времена могучего пробуждения умов и грандиозных социальных катаклизмов. Лозунги Просвещения, казалось, обращали в поборников «вольности» всесильных монархов, они же поднимали на борьбу за «вольность» угнетенные народы.

Враждебность абсолютизма свободе лучше всего показала политика Екатерины II. Но и великие победы народов за рубежами России несли с собой великое разочарование. В Америке «сто гордых граждан» утопали в «роскоши», в то время как «тысящи» не имели «надежного пропитания» и «собственного от зноя и мраза укрова» (Р., I, 317). Франция повторила злополучный опыт Англии: место казненного тирана занял новый «злодей», ввергнувший человечество в пучину кровавых войн.

Проблема каких-то трагических злоключений, переРождений «вольности» была почувствована Радищевым сразу же, в его первом революционном произведении, над ней он бился до конца жизни. Эту проблему он поднял до уровня своеобразного социологического обобщения: «Таков есть закон природы; из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...» (Р., I, 361).

И все же, оставаясь в рамках теоретических представлений XVIII в., Радищев не смог разобраться в существе коллизий буржуазных революций нового времени. Его последние произведения полны трагизма, чувства катастрофы, безысходности, обреченности человеческих дел. Но в них же и сознание несгибаемости свободного духа, стремление передать грядущим векам уроки «оснадцатого столетия», оно «безумно и мудро»...

«Нам вольность первый прорицал»

XVIII век принято именовать «Веком Просвещения». Но, принимая это определение, не будем забывать о сложности идеологических процессов: эволюции просветительских идей, резких изломах, связанных с переходом мысли в дело, классовых различиях отдельных направлений просветительства, наконец, его удивительных видоизменениях. Идеи Просвещения служили не только воспитанию будущих вождей антифеодальных революций. Эти идеи пытались использовать и некоторые монархи Европы для подновления феодальных порядков.

В России эпоха «просвещенного абсолютизма» на-

чинается с 60-х гг. XVIII в. С дней «Наказа» Екатерины II и на долгие годы тьма «ласкателей» будет воспевать заботы великой монархини о «блаженстве каждого и всех на Руси». Но та же политика «просвещенного абсолютизма» способствует становлению русского дворянского Просвещения, зарождению русской сатирической журналистики.

Начатому дворянскими просветителями во главе с Н. И. Новиковым разоблачению казенной идеологии автор оды «Вольность» придаст невиданную ранее остроту.

Радищев не ограничивается намеками на лицемерие обещаний Екатерины II — он рвет с царской властью решительно, бесповоротно. «Блаженствующая» Россия предстает в его оде как царство тьмы, обмана, всеобщего запустения; в этих обширных областях «рабства»

Власть царска веру охраняет,
Власть царску вера утверждает;
Союзно общество гнетут... (Р., I, 4).

Нет у Радищева и тени присущих дворянским просветителям надежд на «исправление», «прозрение» несправедливого государя. Царей, изгоняющих «истину», расчищающих дорогу всяческим «мерзостям», попирающих «права» народа, не исправляют и не просвещают. Их народ отправляет на плаху:

Преступник, изо всех первейший,
Предстань, на суд тебя зову!.. (Р., I, 7, 359).

Отсутствует у Радищева и типичное для дворянских просветителей стремление хотя бы несколько облегчить участь закрепощенной «братии». В оде «Вольность» проводится идея превращения «раба» в «свободного мужа» — человека, владеющего своим стадом («Но ныне, ныне ты мое»), своей землей:

Но дух свободы ниву греет,
Бесслезно поле вмиг тучнеет;
Себе всяк сест, себе жнет (Р., I, 10).

Каким образом, на какой почве возникла в России начала 80-х гг. XVIII в. столь радикальная освободительная идеология?

Идеи Радищева, утверждал еще в 1930-х гг. Г. А. Гурковский, принадлежат «истории всей Европы», и понять их «можно лишь на фоне общеевропейского исторического движения»².

А вот более поздние суждения других знатоков литературы XVIII в. Система социально-политических убеждений Радищева, писал П. Н. Берков, «целиком сложилась на почве русской действительности, на основе классовой борьбы крепостного крестьянства с эксплуатировавшими его дворянами-помещиками и чиновниками»³. Его коллега Г. П. Макогоненко протянул и прямые нити от манифестов Пугачева, жаловавших народ «вольностию и свободою», к оде «Вольность» Радищева⁴.

Концепция, утвержденная литературоведами в 1950-х гг., привлекает простотой, историчностью. Величайшее на Руси народное крестьянское возмущение непосредственно порождает революционную, крестьянскую по своему существу идеологию; ее основоположник сразу же поднимается на уровень, превосходящий не только русское дворянское, но и западное буржуазное Просвещение, также чуждое идее народной революции, занятое просвещением государей...

Бесспорно, Крестьянская война 1773—1775 гг. оказала на течение идеологических процессов в России громадное воздействие: нельзя было резче обнажить разрыв власти с народом. И все же непосредственно радикализации русского Просвещения восстание не способствовало. Удаляется от всякой общественной деятельности и Радищев, забыв «прежнюю свою охоту упражняться в сочинениях»⁵. Только через 6—8 лет после Крестьянской войны пишется ода «Вольность».

Утверждение «вольности» показано здесь как мировой процесс:

Внезапу мощно потрясье
Поверх земли уж зрится всей... (Р., I, 9).

На основе достижений мировой просветительской мысли, идей «общественного договора» Руссо строится и обоснование законности революции. Причем для автора оды «Вольность» все это не просто теория. Это теория, вошедшая в жизнь Европы. Прежде всего Радищев пропагандирует «пример великий» Кромвеля:

Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил;
Но научил ты в род и роды,
как могут мстить себя народы,
Ты Карла на суде казнил (Р., I, 7—8).

Славится утверждение «вольности» и на Американском континенте — победа мужественной армии Вашингтона:

Не гряда правильно стремится, —
Вождем тут воин каждый зрится,
Кончины славной ищет он.
О воин непоколебимой,
Ты есть и был непобедимой,
Твой вождь — свобода, Вашингтон (Р., I, 11).

Казалось бы, логичен переход: революция предстоит и поработенной России. Но Радищев не торопится с таким выводом. Он вклинивает в текст оды описание «гражданских браней» в Древнем Риме, вспоминает Мария, Суллу, затем Августа. Все это — обоснование упомянутого выше «закона природы». Оказывается, народ не только восстановит поправленную царями «вольность» — он же ее и утратит:

Но корень благ твой истощится,
Свобода в наглость превратится,
И власти под ярмом падет (Р., I, 14).

Только после тяжких раздумий о «законе природы» (мы еще вернемся к их сути) Радищев обращается к судьбам родины. Для автора оды революция в России — дело отдаленнейшего будущего; он предупреждает, что предстоит громадный, трудный этап просвещения народа. И все же он убежден: «приидет вожделенно время», наступит день свободы — «избраннейший всех дней!» (Р., I, 16—17).

«Из мучительства рождается вольность»

Ода «Вольность» выразила суть революционной концепции Радищева. В «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790 г.) эта концепция получает обоснование и развитие на фактах русской жизни.

Несомненна заостренность книги против все той же идеологии «просвещенного абсолютизма». Поехав по петербургской дороге «в след Государя» (в 1787 г. было совершено обставленное «потемкинскими деревнями» путешествие Екатерины II на юг России), «путешественник» открывает за наружным фасадом «блаженствующего» государства бездну народных страданий.

Положительные персонажи книги разными способами пытаются помочь «себе подобным». Но постепенно

выявляется тщетность попыток: блюстители «закона» оказываются бесчеловечными тиранами, просвещение монарха — возможным только во «сне», служба в суде завершается разочарованием, проекты постепенного освобождения крепостных (созвучные дворянско-либеральным проектам 60-х гг. XVIII в.) валяются в «грязи» на дороге, они брошены «искренним другом» «путешественника». В главе «Медное» разъясняется причина его неудач: «Но свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения» (Р., I, 352).

Где-то на полпути «из Петербурга в Москву» разговор об освобождении народа в рамках существующих порядков прекращается. Глава «Торжок» клеймит цензурный деспотизм. Глава «Тверь» (пересказ оды «Вольность») рисует картину грядущей революции, отправляющей царя — «преступника изо всех первейшего» — на плаху.

Полемика с казенной трактовкой «вольности», данной в «Наказе» Екатерины II («вольностию должно называть то, что все одинаковым повинуются законам» — Р., I, 354) ведется с нарастающей силой: «О законы! премудрость ваша часто бывает только в вашем слоге. Не явное ли се вам посмеяние? Но паче еще того, посмеяние священнаго имени вольности. О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы безчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их, изторгнулися великие мужи, для заступления избитаго племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены. — Не мечта сие, но взор пронизает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие» (Р., I, 368—369).

Можно подумать, что писатель предвидит нечто вроде простого повторения Крестьянской войны 1773—1775 гг. Но дело обстоит сложнее. С одной стороны, Радищев рассчитывает на народный протест, в самом бунтарском характере русского человека он видит залог грядущих национальных перемен: «Если что либо случится не по нем, то скоро начинается спор или битву. — Бурлак идущий в кабак повеся голову и возвращаю-

щейся обогрениой кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательное в Истории Российской» (Р., I, 230). Но с другой стороны, Радищев не приемлет полностью знакомые ему формы массового протеста народа. Рассказав об одном из эпизодов Пугачевского восстания — расправе крестьян над варваром-помещиком, он восклицает: «Глупые крестьяне, вы искали правосудия в самозванце! но почто неповедали вы сего, законным судиям вашим?» И тут же понятное для нас многозначительное напоминание: «Но крестьянин в законе мертв, сказали мы... Нет, нет, он жив, он жив будет, если того восхочет...» (Р., I, 305).

За этой двойственностью — неприятием данной возглавленной самозванцем Крестьянской войны, верой в какое-то другое, грядущее через столетие и освобождающее страну Крестьянское восстание — скрывается узел знакомых проблем: осознание невозможности непосредственного перехода от «рабства» к «свободе», признание необходимости громадного этапа подготовки антисамодержавной революции — просвещения народа вольным словом. К этой идее писатель возвращается, венчая книгу «Словом о Ломоносове». Сопоставляя своего знаменитого соотечественника Ломоносова, который, следуя обычаю «ласкати царям», все же льстил Елизавете, и гражданина Америки Франклина, «изторгнувшего гром с небеси и скиптр из руки царей», писатель делает выбор в пользу последнего. Действующие «в среде народной толщи» «мужественные писатели», восстав на «губительство и всесилие», дадут «первый мах» тому творению, которое преобразит мир: «Вот как понимаю я действие великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю действие разума над разумом» (Р., I, 388, 391—392).

По-видимому, Радищев представлял, что носителями революционного просвещения явятся в России передовые дворяне. Во всяком случае, образы благородных дворян, пытающихся помочь народу, борющихся за справедливость, выписаны им ясно — здесь и сам «путешественник», и его давний друг Г. Крестьянкин из главы «Зайцово», и его «искренний друг» из глав «Хотиллов», «Выдропуск», «Медное», и добродетельный дворянин из главы «Крестьяцы».

Думаем, что приход на русскую землю поколения дворянских революционеров был предчувствован авто-

ром «Путешествия...». Правда, дворянские революционеры не примут радищевской революционно-демократической идеи крестьянской революции. Но ее воспримет поколение революционеров-разночинцев.

«Пример твой мету обнажил»

Разобранная нами концепция Радищева отличается поразительным радикализмом. Первыми его стали выявлять литературоведы, изучавшие «Путешествие...», — Г. А. Гуковский, Г. П. Макогоненко, С. Ф. Елеонский, Н. И. Громов, А. Н. Васильева. Но признан был этот радикализм в нашей науке далеко не сразу. Мешали традиции буржуазной историографии (П. Н. Милюков и др.), изображавшей Радищева поклонником екатерининского «Наказа», жаждавшим пробиться к «престолу»⁶. Мешали и бытовавшие в нашей науке упрощенные трактовки Просвещения XVIII в., стиравшие громадные сдвиги в его развитии — ту же разницу между политическими концепциями Гольбаха, ждавшего «чуда» обновления человечества от просвещения монархов, Гельвеция, разуверившегося в таком просвещении, Мабли, уповавшего на созыв Генеральных штатов, подкрепленных волей народа, Томаса Пейна, уже не верившего ни в какой другой путь обновления, «кроме полной и всеобщей революции», и т. д.

И все же в конце концов тайна радищевского радикализма была полностью раскрыта. Продолжение сравнительно-исторических изысканий, начатых еще В. П. Семенниковым, Я. Л. Барсковым, показало: разрабатывая свою концепцию, Радищев опирался не столько на ранние, предреволюционные идеи просветителей XVIII в., еще не отрешившихся от веры в «просвещенных монархов», сколько на идеи, рожденные в ходе самих революций XVII—XVIII вв.

Обвинение монарха из оды «Вольность» Радищева — по-видимому, пересказ обвинения, предъявленного Карлу I Верховным судебным трибуналом 20 января 1649 г. Через популярнейшую в XVIII в. книгу Рейналя и Дидро «История обеих Индий» Радищев знакомился с событиями Американской революции. В последнем (1780 г.) издании книги Рейналь и Дидро, преодолевая свои либерально-просветительские иллюзии, провозгласили Американскую революцию делом всего человеческого рода. Славя вооруженную борьбу за свободу и обретая

утерянный было оптимизм, они призвали отбросить прежние надежды. Они выразили веру в то, что Европа в один прекрасный день увидит учителей в «своих за- океанских детях». «Мы определяем их судьбу», — передавали Рейналь и Дидро слова американского революционера Томаса Пейна, обращенные к европейцам. «Пример твой мету обнажил», — обращался к «словутой стране» Радищев в оде «Вольность» (Р., I, 14) ⁷.

Правда, сравнивая оду «Вольность» и «Путешествие...», мы видим, что восторженное отношение Радищева к Америке явно угасает. Хотя вождь Американской революции Вашингтон не повторил «злодейств» властолюбца Кромвеля, именно в Америке обнаружилась зловещая роль «новой корысти». «Заклав Индийцев единовременно, злобствующие Европейцы» привили здесь «хладнокровное убийство порабощения, приобретением невольников куплею»; в стране, занятой заботами созидания, плоды изобилия стали доставаться ничтожной кучке людей, обнаружилась противоположность роскоши и нищеты (Р., I, 316—317). И тем не менее в законоположениях «американских правительств» писатель по-прежнему находит постановления, «вольность гражданскую утверждающие» (Р., I, 346).

Вопрос о «почве», на которой выросла революционная концепция Радищева, решается, очевидно, следующим образом. Она была обобщением краха политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II, — краха, нашедшего предельное выражение в Крестьянской войне 1773—1775 гг., обобщением опыта революций нового времени, показавших, что идеалы «вольности» утвердит сам восставший народ.

К. Маркс и Ф. Энгельс писали в «Немецкой идеологии», что присущие буржуазной эпохе крупные общественные противоречия могут фиксироваться «только в пределах национального сознания», неизбежно обрастая «национальной дрянью». Но они могут фиксироваться и «не в данных национальных рамках, а между данным национальным сознанием и практикой других наций, т. е. между национальным и всеобщим сознанием той или другой нации» ⁸. Первый случай представляли манифесты Пугачева, даровавшие народу «вольность» от имени нового царя. Второй случай представляли произведения Радищева, связавшие утверждение «вольности» с сокрушением самодержавия. Екатерина II не ошиблась, сказав о Радищеве: «Бунтовщик хуже Пугачева».

Но, будучи синтезом российского исторического опыта с опытом всемирным, концепция Радищева была с самого начала обременена мировыми проблемами. Самое интересное в его творчестве — осмысление, противопоставление двух принципиально различных типов преобразовательной практики XVIII столетия.

Выделим попутно главную черту теоретического анализа Радищева: безбоязненность его выводов, сочетание пламенной приверженности прогрессивным идеалам со строжайшей объективностью. «Истина, — писал он в «Путешествии...», — есть вышшее для нас божество, и если бы всемогущий восхотел изменить ее образ, являясь не в ней, лице наше будет от него отвращенно» (Р., I, 390).

«Сей был и есть закон природы»

Еще в начальных строфах оды «Вольность» автор углубляется в далекие как будто нашему пониманию сюжеты. «Изображается, — перескажет он эти строфы в «Путешествии...», — закон в виде божества во храме, коего стражи суть истина и правосудие» (Р., I, 356). Всячески подчеркивает писатель лицемерие, двуличие «божества», выясняет, что «божество» помогает царю «давить» народ (Р., I, 2—3).

Картина уясняется при рассмотрении деталей политики «просвещенного абсолютизма», которую начали практиковать как раз во времена Радищева Фридрих II, Иосиф II, Екатерина II и другие государи. Едва ли не основным формальным признаком этой политики было стремление к выработке некоего всеобъемлющего законодательства, призванного гарантировать (вспомним тот же «Наказ» Екатерины II) «благополучие», «безопасность» и даже «равенство» (!) всех людей. Но, заходя очень далеко в словесном восприятии просветительских принципов, монархи XVIII в. мало двигались вперед в деле их реализации; к тому же реформаторские тенденции прерывались контрреформаторскими.

В политике «просвещенного абсолютизма» были свои национальные вариации⁹. Но в целом эта политика ни в одной стране Европы XVIII в. не поколебала основ феодально-абсолютистского строя.

Никчемному реформаторству государей Радищев решительно противопоставил созидательную практику ре-

волюций нового времени. И все же он понимал: с воплощением новых принципов и в ходе революций дела обстояли далеко не идеально. Эту истину (точнее, существенную ее часть) выявлял Радищевский «закон природы».

На его выведение мыслителя подтолкнули реальные события нового времени: крушение в Англии индипендентской республики (1649—1653 гг.), утверждение протектората Кромвеля. Понятно и то, почему механизм этого процесса исследуется на античных образцах. Античность была для мыслителей XVIII в. своеобразным теоретическим «полигоном», на котором выявлялись закономерности истории, объяснялись важнейшие происшествия современной им жизни. Такие «псевдо-исторические экскурсии», писал Энгельс, являлись у просветителей «лишь словесным приемом, позволяющим рациональным образом объяснить возникновение чего-либо...»¹⁰.

Разумеется, Радищев не единственный в XVIII в. мыслитель, рассуждающий о «примере» Кромвеля. У Гельвеция и Руссо, Марата и Робеспьера имя этого «узурпатора» фигурирует рядом с именами Мария, Цезаря. У авторов «Истории обеих Индий» Рейналя и Дидро мы видим и попытки выявить какую-то обратимость общественных процессов нового времени. Нечто подобное радищевскому «закону природы» мы находим в гётевском «Фаусте», где Мефистофель говорит Гомункулу:

Оставь! Ни слова о веках борьбы!
Противны мне тираны и рабы.
Чуть жизнь переинчат по-другому,
Как снова начинают спор знакомый!
И никому не видно, что людей
Морочит тайно демон Асмодей.
Как будто бредят все освобожденьем,
А вечный спор их, говоря точней, —
Порабощенья спор с порабощеньем¹¹.

Мысль Радищева движется в русле исканий, тревог века. Но отметим и оригинальные черты его мышления. «Пример» Кромвеля для Радищева не просто пример узурпации власти, как для Робеспьера, — это повод для теоретических обобщений. С другой стороны, если у Рейналя и Дидро «закон природы» — некий универсальный закон превращения всего и вся в обществе, то Радищев лишает его всеобщего характера, он концентрирует мысль на революциях нового времени. В этом

смысле он ближе к Гёте, но в отличие от Гёте пытается исследовать и сам механизм угасания «вольности».

В «Путешествии...», пересказывая оду «Вольность», Радищев так раскрыл действие «закона природы»:

«Но страсти изощряя злобу....
Превращают спокойствие граждан в пагубу....
Отца на сына воздвигают,
Союзы брачны раздирают,
И все следствия безмерного желания властвовать...
Описание пагубных следствий роскоши. Междоусобий.
Гражданская брань. Марий, Сулла, Август....
Тревожну вольность усыпил.
Чугунный скиптр обвил цветами....
следствие того — порабощение....
Таков есть закон природы; из мучительства рождается
вольность, из вольности рабство....» (Р., I, 361).

К этим рассуждениям можно отнести по-разному. Можно не заметить их смысл, углубившись в изучение словарного состава оды. Можно выпятить их «наивность», «примитивизм». Можно в «наивных» строках увидеть первый подход к труднейшим проблемам революционной борьбы.

Историю делают люди, в этом смысле нельзя не признать, что «страсти» движут историю, «страсти», в том числе сребролюбие и властолюбие, — реальный исторический феномен. Но человеческие страсти в реальной истории оказываются включенными в сложнейшие системы социальных, классовых, политических отношений, разных в разные эпохи, а потому несводимых друг к другу.

Социально-экономической сущностью буржуазной революции в Англии, как покажет К. Маркс, было так называемое «первоначальное накопление» — отделение крестьян от земли, с одной стороны, концентрация средств производства в руках капиталистов — с другой, иными словами, рождение «полюсов» капиталистической системы производства. Затем начиналась «подгонка» к новому экономическому «базису» политических, «надстроечных» форм, принимавшая на каком-то этапе видимость попятного движения, «круговорота». Совершенно другой процесс шел в Древнем Риме — процесс гибели рабовладельческого строя, выделения собственников, которым противостояла «праздная чернь» (Маркс)¹². Разнились принципиально и гражданские войны Древнего Рима и Новой Англии XVII в., эту раз-

ницу, кстати говоря, начали подмечать некоторые мыслители XVIII в. «Плодом гражданских войн в Риме было установление рабства, — писал Вольтер, — плодом английских мятежей — свобода»¹³.

Казалось бы, можно сделать заключение: аналогия Радищева «не работает», она ошибочна, антиисторична. И все же назвать параллель Радищева просто «ошибкой» мы бы не решились. Оставаясь на поверхности политических событий, оперируя античным материалом, автор оды по-своему улавливал важнейшую закономерность политического развития революций нового времени — их своеобразную «цикличность». В XIX в. над ней будет ломать голову Чернышевский, он уже отметит, что через повторяющиеся откаты назад совершается восходящее в целом движение (Ч., VI, 12—17; IX, 262—254; XI, 144—145). В том же XIX веке в суть закономерностей развития буржуазного общества глубоко проникнут Маркс и Энгельс. О сформулированном Энгельсом законе, требующем «от революции продвинуться *далее, чем она может осилить*, для закрепления менее значительных преобразований», вспомнит в начале 20-х гг. XX в. В. И. Ленин, решая сложнейшую проблему предотвращения отката пролетарской революции назад; тогда же он подчеркнет, что нэп и дает возможность большевикам достичь результата, недостижимого для якобинцев. Не случайно у него появляется сопоставление: «1794 versus 1921»¹⁴.

Обратил внимание Радищев и на феномен бонапартизма, явившийся результатом «цикла» 1640—1653 гг. (затем — 1789—1799 гг.). И эта проблема «доживет» до революций XIX—XX вв.; Маркс посвятит ей классическое произведение «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». В нем он определит тревожившее Радищева «безмерное желание властвовать» как существенное качество низменного, нацеленного на единоличное распоряжение «огромным государственным зданием» авантюриста, — качество, позволившее Луи Бонапарту в годы революционных испытаний и потрясений во Франции 1848—1851 гг. использовать для своего возвышения противоборство буржуазии и пролетариата, промахи соперничавших монархических, буржуазных и мелкобуржуазных партий, своекорыстные бюрократии и военщины, иллюзии невежественных крестьянских масс. Бонапартизм, скажет В. И. Ленин о политике Керенского в 1917 г., как раз и вырастает в демократическую рево-

люционную эпоху (история Франции дважды подтвердила это), вырастает «при определенном взаимоотношении классов и их борьбы»¹⁵.

Закономерности буржуазных революций марксизм будет исследовать на основе неведомой Радищеву теории классовой борьбы, марксизм выйдет к неведомым Радищеву проблемам (перерастание буржуазных революций в пролетарские, нэп и т. д.). Но качественное различие ситуаций и теорий высшего и низшего порядка не отменяет наличия глубинной преемственной связи между ними.

«Из вольности рабство»

Радищев издавал «Путешествие...» в радостные для него времена. Еще одно государство Европы озарилось светом «вольности». Начиналась Великая французская революция.

Эта революция сокрушила устои средневековья во Франции: самодержавную власть, феодальные отношения в деревне, цеховые и иные привилегии в городе. Но, ликвидировав «неразумный» строй, революция не создала строя «разумного». «...Установленные «победой разума» общественные и политические учреждения, — писал Энгельс, — оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей»¹⁶.

Не постигло ли разочарование в итогах французской революции и Радищева? На этот счет у советских исследователей нет единого мнения. Одни отстаивают тезис о «духовной драме» Радищева последних лет его жизни. Другие отвергают этот тезис. Решить спор может только обращение к поздним произведениям Радищева, прежде всего к «Песне исторической» и «Оснадцатому столетию».

Согласимся с когда-то высказанным мнением: ««Песнь историческая» была прямым продолжением оды «Вольность»»¹⁷. Но сразу же уточним: продолжала и развивала она только один сюжет оды — превращение «вольности» в «рабство».

Есть ли изменения в трактовке знакомой темы? Прежде всего прорабатывается куда больший исторический материал: «вольность» сначала «в век потухла невозвратно» в Древней Греции (Р., I, 77—86), затем

начался роковой процесс исчезновения «Римской свободы» (с. 86—112).

Есть и более существенные изменения. В оде «Вольность» решительно отвергалась возможность появления «бесстрастных» царей (Р., I, 13). В «Песне исторической» появляется вереница добродетельных монархов — Веспасиан, Тит, Нерва, Траян, Антонин, затем «отец» римлян Марк Аврелий (Р., I, 114, 115—117, 118—119, 120—122); их правления описаны не менее детально, чем правления зловещих тиранов — Мария, Суллы, Калигулы, Нерона и пр. А вот и мораль описаний:

О, властители вселенной,
О, Цари, Цари правдивы!
Власть, вам данная от Неба,
Есть отрада миллионов,
Коль вы правите народом,
Как отцы своим семейством (Р., I, 111).

И все же к простой морали — надо следовать примерам царей «правдивых» и избегать примеров царей «гнусных» — содержание «Песни исторической» не сводится. Всем ходом рассуждений Радищев доказывает: «добрые» цари ничего не меняли в «погибшем царстве», где один тиран сменял другого:

Иль се жребий есть всеобщий,
Чтоб возвышенная сила,
Власть, могущество, блеск славы
Упадали, были гнусны? (Р., I, 110—111).

В общем и целом мы можем заключить: Радищев действительно возвращается к разработке «закона природы». Но теперь трактовка закона приобретает сугубо пессимистический характер. В оде «Вольность» напоминание о «законе природы» служило простым предостережением борющимся народам блюсти «дар благой природы» (Р., I, 14). В «Песне исторической», напомнив о кончине Марка Аврелия, Радищев призывает оставить все «благие помышленья о блаженстве рода смертных» (Р., I, 121).

Крайне характерно, что одинаково в пессимистическом духе толкуются теперь Радищевым как античные примеры «просвещенного абсолютизма», так и хорошо известные ему и его современникам античные примеры революционной борьбы.

По-прежнему прославляется Брут, положивший «угольный камень Зданию Римския свободы». Но последователи Брута не предотвратили падения этого «Здания», даже умерщвляя тиранов: «Тиран мертв, но где свобода?» (Р., I, 87, 102).

Возродить в «превратном Риме» прежние добродетельные нравы и равенство не смогли и старания братьев Гракхов:

Пали жертвы вы, достойны
Упадающей свободы (Р., I, 95).

Всего один раз в поэме на античные сюжеты Радищев выходит к современности, уподобляя диктатуру кровавого тирана Суллы в мятежном Риме диктатуре Робеспьера в мятежном Париже. Мотив осуждения гражданских междоусобий звучит здесь с особой силой:

Ах, во дни сии ужасны,
Где отец сыновней крови,
Где сыны отцовой жаждут,
Господу где раб предатель,
Средь разврата нагла правов
Может разве самодержец,
Властию венчан всесильной,
Дать устройство, мир — неволи —
Пусть неволи, но отдохнет
Человечество от тяжких
Ран (Р., I, 97—98).

Мысль автора «Песни исторической» находится в тупике: революционных путей утверждения и сохранения «вольности» он не видит, особой веры в «царей правдивых» у него также нет. И все-таки какой-то выход из тупика обозначился в «Осмнадцатом столетии»...

**«Мир, суд правды, истина, вольность
лиются от трона»**

Напомним сюжет этого стихотворения. Века бесследно утекли в бездонное и безбрежное море вечности. Но восемнадцатый век — столетие «безумно и мудро», «кроваво» — будет незабвенным. Здесь, почти достигнув пристани, попал в страшный водоворот корабль, несущий человеку надежду:

Счастье и добродетель, и вольность пожрал омут ярой,
Зри, всплывают еще страшны обломки в струе.

Трагический мотив усиливается: кровь, кровь и кровь — вот что оставило людям в наследство уходящее столетие.

И все же в океане крови есть кусок твердой земли. Это престол российских царей, русский народ:

Но зри, две вознеслися скалы во среде струй кровавых:
Екатерина и Петр, вечности чадал и Росс.

Мрачная мелодия сменяется радостным гимном. Поэт вспоминает о бессмертных идеалах ушедшего века, его славных завоеваниях:

О, незабвенно столетие! радостным смертным даруешь
Истину, вольность и свет, ясно созвездье во век. . .

В «осмнадцатом столетии» человек приподнял «завесу творения», постиг тайны природы, проник в недра земли и вознесся на небеса. Это столетие «побудило упряму природу к рождению чад новых» — оно заключило в ярем «летучи пары», приземлило «молнию небесну», дало смертным «воздушные крылья», оно сокрушило «железны двери» призраков, свергло «идолов», разорвало тягчившие дух узы, открыло дорогу к «истинам новым»:

Мощно, велико ты было, столетье! дух веков прежних
Пал пред твоим олтарем ниц и безмолвен, дивясь. . .

Внезапно ликующие звуки гимна обрываются, поэт вспоминает: сил века «недостало к изгнанию всех духов ада». Снова возникает трагический мотив крови:

Иль невозвратен навек мир, дающий блаженство народам
Или погрязнет еще, ах, человечество глубже?

Но нет, надежда не должна покидать смертного. Бог жив, он держит всемогущей рукой цепь времени, его премудрость дарует тревожному миру победу. Вновь — торжественным финалом — звучит хвала российскому престолу:

Мир, суд правды, истина, вольность лиются от трона,
Екатериной, Петром воздвигнут, чтоб счастливы был Росс.
Петр и ты, Екатерина! дух ваш живет еще с нами.

Зрите на новый вы век, зрите Россию свою.

Гений хранитель всегда Александр будь у нас. . . (Р., I, 127—129).

Нетрудно понять, какой громадный спад происходит в мысли Радищева. В годы написания оды «Вольность» и «Путешествия...» он «снял» антифеодальную идеологию XVII—XVIII вв. на ее высшем «срезе». Тогда он провозглашал: идеалы «вольности» осуществляются самими народами, революционным путем. В годы написания «Оснадцатого столетия» писатель возвращается к низшему «срезу» той же антифеодальной идеологии. Теперь он утверждает: идеалы «вольности» осуществят просвещенные монархи.

Нетрудно связать этот спад с совершенно определенными событиями: крахом Французской революции, завершившейся 18 брюмера (9 ноября) 1799 г. переворотом Бонапарта, с одной стороны; началом «обновления» российских порядков, следовавшего вслед за дворцовым переворотом 11 марта 1801 г. в России, — с другой. Вступив на престол, Александр I торжественно объявил, что будет действовать «по законам и сердцу» бабки своей Екатерины II; к разработке новых законоположений был привлечен им и амнистированный Радищев.

И все же тот факт, что Радищев так и не опубликовал «Оснадцатое столетие», очевидно, не был случайным. Писатель слишком долго боролся с лицемерием политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II, чтобы наивно поверить в «просвещенный абсолютизм» Александра I. Лишь очень короткое время, всего какие-нибудь полгода-год, Радищев пытался сделать хоть что-то для «пользы миллионов», работая над законодательными проектами нового, «либерального» царя. Но и этого времени хватило для того, чтобы лишний раз убедиться в тщетности преобразовательных замыслов. Неизбежный конфликт с властью имущими назрел к середине 1802 г., когда Радищев услышал от своего начальника Завадовского угрожающее напоминание: «Сибирь».

Все пути утверждения «вольности» были испробованы, все они к «вольности» не привели; 11 сентября 1802 г. Радищев кончил жизнь самоубийством.

Трагедия «осмнадцатого столетия»

Личная трагедия Радищева была всего лишь одним из эпизодов трагедии куда более грандиозного масштаба, постигшей после Великой французской революции всю радикально-просветительскую мысль. XVIII век

был не только веком взлета революционных идей. Он был веком их проверки в бурных классовых битвах. И революционная теория той поры «сломалась», не выдержала проверки. Эта теория была еще слишком проста, примитивна, а революция оказалась гигантски сложным делом.

Кризис пережила революционно-просветительская мысль; его приближение прекрасно иллюстрирует одна из речей Дантона (27 марта 1793 г.): «Революции разжигают все страсти. Великий народ в революции подобен металлу, кипящему в горниле: статуя свободы еще не отлита, металл еще только плавится; если вы не умеете обращаться с плавильной печью, вы все погибнете в пламени»¹⁸.

Кризис пережила и близкая идеям Просвещения мировая литература. А. И. Герцен, наблюдавший крах революции 1848—1849 гг., с полным основанием протягивал нити от горьких, ранящих строк своей книги «С того берега» к выстрадавшим, полным слез строкам произведения Н. М. Карамзина «Мелодор к Филалету»: «Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества... Где теперь эта утешительная система? Она разрушилась в своем основании; XVIII век кончается, и несчастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтоб лечь в нее с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки... Век просвещения, я не узнаю тебя; в крови и пламени среди убийств и разрушений, я не узнаю тебя» (Г., VI, 10).

До грандиозного, «вселенского» уровня поднимает дилеммы XVIII столетия Гёте в «Фаусте». К концу жизни Фауст обретает смысл бытия в радостях борения и созидания, по его планам трудится «народ свободный на земле свободной». Но стук лопат, который слышит ослепший старец, — всего-навсего стук лопат лемуринов, роющих ему могилу; смерть Фауста, падение его в яму сопровождаются саркастическим замечанием Мефистофеля:

Зачем же созидать? Один ответ:
Чтоб созданное все сводить на нет.
«Все кончено». А было ли начало?
Могло ли быть? Лишь видимость мелькала...

Разумеется, не исключено, что какой-то революционный писатель, доживший до XIX в., над катастрофой Века Просвещения не задумывался, жил прежними пред-

ставлениями, кризиса не переживал. Но если такой случай — противоречащий общей тенденции — имел место, то он требует тщательного обоснования. Между тем как раз произведения Радищева последних лет его жизни исследуются сторонниками «непоколебимости» его взглядов весьма предвзято. Не выявляется связь тревог поздних произведений с тревогами произведений ранних. Из безысходной «Песни исторической» вырываются отдельные строфы, после чего следует вывод: «Вновь Радищев использовал поэзию для пропаганды революционных идей»²⁰. В этих строфах действительно есть осуждение «тиранов лютых», но нет никаких революционных призывов.

Предприняты попытки обнаружить «сугубо иносказательный смысл» в «Песнях, петьх на состязаниях в честь древним славянским божествам»²¹. Но, усматривая в картинах битв новгородцев с кельтскими завоевателями чуть ли не картины борьбы «с чудищем самодержавия и крепостничества», исследователь не подчеркивает, что автору вообще не ясен исход будущего:

Но се мгла мне взор объемлет,
Скрылось будущее время... (Р., I, 71).

Из «Осмнадцатого столетия» попросту изымаются хвалебные строки в адрес российских монархов, их объявляют то «данью литературному этикету»²², то... «вписанными чужой и к тому же бездарной рукой»²³. Исполнители этой операции режут живую ткань произведения. Они оставляют начало радищевской мысли: идеалы XVIII в. потонули в крови — и отбрасывают продолжение его же мысли: эти идеалы воплотит в жизнь российский престол. Поставлен под сомнение бесспорный факт самоубийства Радищева: дело, оказывается, в том, что царская водка, в которой сыновья писателя выжигали старые офицерские эполеты, не имела цвета. «И мы не можем исключить того, что Радищев принял ее за воду»²⁴.

В поздних произведениях Радищева нельзя не отметить одно-два места, противоречащие их общему трагическому настрою. Это мажорная концовка «Песен, петьх на состязаниях...», выражающая веру в отдаленное великое будущее русского народа. Это мажорная концовка «Осмнадцатого столетия», возлагающая ближайшие надежды на российский престол. О незыблемости

революционных убеждений писателя эти места нам ровным счетом ничего не говорят. Показывают они одно: мысль Радищева металась в поисках решения, у него возникали упования на какую-то особую историческую миссию России, в тягостном настроении появлялись отдельные просветы (связанные с чтением «Слова о полку Игореве», с амнистией и т. п.). Но упования сменяла все та же безысходность, просветы — все тот же мрак; жизнь неумолимо шла к роковой развязке.

Нет, трагедия Радищева не придумана какими-то предвзятыми исследователями. Она вписана в историю российской освободительной традиции кровью писателя.

Зачем нужен нам анализ «духовных драм» революционеров?

Против вывода о «духовной драме» Радищева высказывались соображения фактического порядка. Думаем, после анализа последних произведений и последних лет жизни писателя они отпадают. Но порой такие выводы объявлялись уступкой буржуазно-либеральной науке, возрождением ее «легенд» (Г. Штурм). Остановимся и на этой принципиальной стороне дела.

Начало исследованию «духовных драм» великих революционеров прошлого положил В. И. Ленин. Его статья «Памяти Герцена» была образцом разоблачения российских либералов, прикрывавших цветистыми фразами о скептицизме Герцена свой отход от революции. Для Ленина же скептицизм Герцена был формой перехода от надклассовых теорий буржуазного демократизма к суровой теории классовой борьбы. Иными словами, «духовные драмы» Ленин рассматривал как ступени становления марксизма, его «выстрадывания» в России²⁵.

Для углубленного понимания генезиса научной революционной теории именно изучение «духовных драм» давало Ленину ценнейший материал: эти «драмы» были наглядным обнаружением «болевых точек» революционного процесса, его проблематика ставилась с исключительной резкостью, над ней бились великие умы. И если для либералов те или иные «духовные драмы» революционеров были доводом за то, чтобы не делать революцию вообще, то для Ленина — чтобы делать ее лучше.

Делать революцию «лучше» можно одним-единственным способом: осознав трудности революционного про-

цесса, уяснив их природу, мобилизовав все силы на их преодоление. Природу трудностей революционного процесса домарксистские мыслители в полной мере понять не могли. Выявлению трудностей они способствовали в немалой степени.

Первым российским революционером, бившимся над трудностями революционного процесса, был Радищев. Его «стихотворец» из главы «Тверь», представляя оду «Вольность», шутливо замечает: «иные почитали стих сей удачным находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия» (Р., I, 354).

Над трудностями революционного процесса ломали голову Герцен и Чернышевский. Вспомним мудрое предупреждение Герцена: «взять неразвитие силой невозможно»; вспомним его выражение «Дон-Кихоты революции»; вспомним его неустанную борьбу с разного рода изобретателями систем примитивного «казарменного» коммунизма (Г., V, 206; VII, 253; XX, кн. 2, 590). В. И. Ленин ссылался на замечательное обобщение Н. Г. Чернышевского, когда ему надо было обрисовать трудные перипетии политической борьбы: ««Политическая деятельность — не тротуар Невского проспекта» (чистый, широкий, ровный тротуар совершенно прямой главной улицы Петербурга), говаривал еще русский великий социалист домарксова периода Н. Г. Чернышевский. Русские революционеры, со времен Чернышевского, неисчислимыми жертвами заплатили за игнорирование или забвение этой истины»²⁶.

Это высказывание не случайное и не второстепенное в наследии вождя пролетарской революции. Создание марксизма подняло революционную теорию на принципиально иной уровень, сделало возможным решение ранее неразрешимых задач. Но оно не отменило трудностей борьбы: двигаться к социализму приходилось по неизведанному пути. Ленин выдержал в период Бреста напряженнейшую борьбу с «левыми» большевиками, которые не хотели считаться со сложнейшими изломами истории. Ленин прямо говорил, что «левые» мешают тому, чтобы люди учились революции. «...Революция, — подчеркивал он, — мудрая, трудная и сложная наука...»²⁷

Именно ленинское понимание революции должно, на наш взгляд, определять современное прочтение, «оживление» революционной классики.

Далеко не все первопроходцы, избирающие дорогу там, «где не бывало следу», доходят до цели. Не удалось увидеть торжества «вольности» и Радищеву. Незадолго до 11 сентября 1802 г., подводя итог собственным исканиям и исканиям века, он написал горькие слова:

Смертной что зиждет, все то рушится, будет все прах.
 Но ты творец было мысли: они ж суть творения бога;
 И не погибнут они, хотя бы гибла земля... (Р., I, 127).

Царизм преследовал Радищева и после смерти: на «Путешествие из Петербурга в Москву» и даже на имя сочинителя был наложен запрет. Правда, «Путешествие...» напечатал в 1858 г. в Вольной русской типографии эмигрант Герцен, но широкому кругу читателей оно стало известно только во время революции 1905 г. И все же идеи первого русского революционера не «погибли». Свободу «вслед Радищеву» восславил Пушкин. Революционность декабристов продолжает и развивает революционность Радищева. Мы можем с полным основанием утверждать: герой «Путешествия...», передовой дворянин, порывающий со своим классом и становящийся «прицателем вольности», стал прототипом реальных революционеров, вышедших четверть века спустя на Сенатскую площадь*.

* Разумеется, надо помнить о сложности развития революционной традиции в России, резких перерывах, возникавших в ее развитии из-за царских репрессий. Сделанный в 50-х гг. вывод: «Радищев имел огромное влияние на декабристов» (см.: *Щипанов И. Я.* Воззрения декабристов. — Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. 1. М., 1951, с. 19) — выдавал желаемое за действительное; он не подтверждается ни показаниями декабристов, ни их мемуарами.

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ В ВОЕННЫХ МУНДИРАХ

Прошло немногим больше десяти лет со дня смерти Радищева — и в России среди дворян-офицеров возникла первая революционная организация — Союз спасения.

Союз спасения просуществовал с 1816 по 1818 г., создателями его были А. Н. Муравьев, С. П. Трубецкой, Н. М. Муравьев, М. И. и С. И. Муравьевы-Апостолы, И. Д. Якушкин. Активнейшую роль в обществе играл П. И. Пестель. Состав организации не превышал трех десятков человек, ее цели, а главное, практические намерения отличались большой неопределенностью. Как «спасти отечество» от произвола абсолютизма, как ликвидировать крепостное право, члены организации ясно не представляли. Стремление Павла Пестеля и Александра Муравьева придать обществу сугубо заговорщический и более деятельный характер встретило сопротивление умеренных членов общества. Результатом был распад Союза спасения и создание новой организации — Союза благоденствия.

Союз благоденствия существовал с 1818 по 1821 г., по сравнению с Союзом спасения он значительно расширил состав (до 200 человек). Формулировавшая цели Союза «Зеленая книга» требовала оказания содействия правительству во внедрении «Блага всеобщего во все поры государства». Пропаганда передовых взглядов в дворянских кругах, распространение грамотности в узком слое народа, отдельные случаи выкупа крепостных, организация литературных обществ, подача проектов реформ правительству, попытки борьбы с судебскими беззакониями — так в основном выглядела практическая деятельность Союза благоденствия.

Бесперспективность либерально-просветительской тактики, крах надежд на реформаторство царя Александра I приводят к распаду Союза благоденствия. В 1822—1825 гг. в России существуют уже две стремящиеся к координации действий, но тем не менее обособленные друг от друга революционные организации: Северное общество (в Петербурге) и Южное общество (на Украине); к по-

следнему присоединяется и созданное в начале 20-х гг. низшим офицерством Общество соединенных славян. И Северное и Южное общества делали ставку на восстание подчиненных членам общества — офицерам войск. В отношении же планов будущего устройства России между ними существовали серьезные расхождения. Обширный конституционный документ — «Русская правда» Павла Пестеля, — принятый Южным обществом, ставил целью учреждение республики после периода военной диктатуры. Конституция Никиты Муравьева, обсуждавшаяся в Северном обществе, склонялась к конституционной монархии.

Открытое военное столкновение с войсками нового царя — Николая I — произошло в Петербурге 14 декабря 1825 г. Отсюда название дворянских революционеров — декабристы. Их выступление закончилось поражением. Вслед за этим было подавлено и вспыхнувшее восстание на Украине. Николай I жестоко расправился с побежденными. Пять декабристов — Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Петр Каховский — были повешены, свыше 120 человек было сослано в Сибирь.

Декабризм просуществовал, таким образом, около 10 лет. Каковы же были основные черты этого своеобразного этапа российского освободительного движения? В чем состояло историческое значение борьбы дворян-революционеров?

«Почему же не так у нас?»

Отметим, что только в 1975 г. М. В. Нечкина назвала среди тем, которые «ждутся авторов», ту, которая, по нашему мнению, и должна быть основополагающей в изучении декабризма: она предложила вписать восстание декабристов *«в общую историю всемирно-исторической борьбы народов против феодального строя»*¹.

Безусловно, излишне драматизировать ситуацию не следует. Еще А. Н. Пыпин, В. И. Семевский рассматривали западные влияния на декабризм². В советское время, в дни юбилея 1925 г., Е. В. Тарле приступил к выявлению общности декабристского движения и военных революций в Европе 1820-х гг. Н. М. Дружинин в 1930-х гг. тщательно исследовал роль передовых идей Запада в формировании взглядов Н. М. Муравьева³. В 1950—1970 гг. появились работы М. В. Нечкиной, Ю. Г. Оксма-

на, С. С. Ланды, Н. М. Минаевой, О. В. Орлик, исследовавших связи декабризма с европейским революционным движением.

И все же обще­европейские закономерности, специфика их проявления в России до сих пор не выявлены четко, суммарно даже в монографических исследованиях. Соотношение общемировых и национальных факторов в генезисе декабризма не стало предметом методологического рассмотрения. Наряду с признанием декабризма одним «из слагаемых во всемирно-историческом процессе революционной борьбы против обветшалого феодально-крепостного строя» сохраняются формулировки, фактически замыкающие его в национальные рамки: «Движение декабристов выросло на почве русской действительности. Не увлечение западноевропейской передовой философией, не заграничные военные походы, не примеры западноевропейских революций породили движение декабристов, его породило историческое развитие их страны, объективные исторические задачи в русском историческом процессе»⁴.

Пожалуй, самое парадоксальное в работах, выводящих декабризм преимущественно из российской «почвы», — недоговоренность и неточность как раз в анализе «русского исторического процесса». Повторяя ряд установленных нашей наукой истин (в стране развивался капиталистический уклад, выявлялась хозяйственная специализация отдельных районов, росло число вольнонаемных рабочих и т. п.), эти работы уходят, как правило, от сделанных той же наукой важных обобщений, например о том, что тормозящее воздействие феодальных отношений пока еще не исключало некоторого прогресса на их основе, о «заметном хозяйственном подъеме» в России в первые десятилетия XIX в.⁵ Соответственно разнятся итоговые оценки многих декабристоведов и специалистов по экономической истории России. Первые выводят декабризм с его антифеодальными лозунгами из назревшего в России «конфликта» между развитием производительных сил и характером производственных отношений, из «резко» обострившихся противоречий, из «кризиса и упадка» крепостной системы хозяйства, они считают, что «феодально-крепостнические отношения отжили свой век, исчерпали себя». Вторые утверждают (на наш взгляд, куда более точно), что «противоречия между старым и новым еще не переросли в непримиримый конфликт»⁶.

Иными словами, Россия времен Александра I была довольно своеобразным «слагаемым» в процессе всемирной борьбы «против обветшалого феодально-крепостного строя»; об «обветшалости» российского феодализма говорить пока не приходится; Россию отличала (например, по сравнению с Францией времен Людовика XVI) *недостаточная зрелость* объективных предпосылок буржуазной революции.

В этих условиях и возникло своеобразное (снова оставшееся за пределами собственно декабристovedения) явление в виде опережающего экономические и социальные процессы революционного сознания и движения. «В течение первой четверти XIX в., — писал А. В. Предтеченский, — сознание передовой дворянской общественности развивалось, как... надстроечное явление, быстрее, чем экономический базис феодальной империи... Отсюда — попытка передовой дворянской общественности ликвидировать это несоответствие революционным путем, вызвавшая восстание декабристов»⁷.

Важное обобщение Предтеченского все же неполно. Не обозначены причины, вызвавшие ускоренное развитие «надстроечных» процессов по сравнению с процессами «базисными», субъективного фактора по сравнению с объективным. Между тем в условиях обрыва собственной революционной традиции, идущей от Радищева, ограниченности дворянской просветительской идеологии, с которой соприкасался декабризм, именно знакомство с передовым Западом рождало у декабристов общее представление о «свободе», превосходстве представительного строя перед самодержавным, вольного труда — перед крепостным, представление о способах ломки несправедливых порядков. Это знакомство позволяло превратить критическое восприятие самодержавно-крепостнического строя в России из «предмета частных неудовольствий», как выразился Пестель, в «целую картину народного неблагоденствия»⁸. Если Радищева вдохновлял пример революции в Америке в 1773—1775 гг., то Пестеля — пример европейских революций начала XIX в. А. В. Поджио в своих показаниях с подкупающей непосредственностью выразил существеннейшую черту декабристского мышления: «...впал в сравнения и тут же стал убеждаться в необходимости видеть и свое отечество... на ряду с просвещеннейшими народами!»⁹

Подобных высказываний у декабристов множество. Но они не были суммированы, осмыслены, а иногда и

попросту игнорировались в исторических работах. Можно сказать, все декабристоведение обошло известное высказывание А. А. Бестужева (Марлинского): «Еще война длилась, когда ратники, возвратясь в дома, первые разнесли ропот в классе народа. «Мы проливали кровь, — говорили они, — а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа». Войска от генералов до солдат, пришедши назад, только и толковали: «Как хорошо в чужих землях». Сравнение со своим естественно произвело вопрос: почему же не так у нас?»¹⁰ И почти у всех авторов это высказывание фигурировало в усеченном виде: сохранялась его первая, «антикрепостническая» часть, убиралась часть вторая*, вводящая в круг идущей еще от Радищева проблемы рождения дворянской революционности в России на стыке российского и западного исторического опыта.

Как понимать формулу «Мы были дети 1812 года»?

Не получится ли при таком подходе, спросят нас, умаления роли «российской действительности» в генезисе декабризма? Но присмотримся к этой действительности поближе.

«Мы были дети 1812 года», — скажет декабрист Матвей Муравьев-Апостол. Декабризм рождался как движение в первую очередь национально-патриотическое; двойное название первой организации (Союз спасения — Общество истинных и верных сынов Отечества) — прекрасное тому подтверждение. Раз возникнув в эпоху борьбы с Наполеоном, чувство патриотизма осталось у декабристов необычайно сильным, доходящим до экзальтированности; оно, отмечал еще П. Е. Щеголев, «проникало и обнимало всю психику человека и было таким же мощно действующим, как у народников — любовь к народу, у искренно верующих людей — любовь к богу»¹¹.

* Этот подход к источнику сохраняется в литературе начиная с 50-х и по 80-е гг. См., напр.: *Анисимов И. В.* Восстание декабристов — первое революционное выступление против царизма в России. — *Декабристы. Сб. статей.* М., 1951, с. 8; *Никандров П. Ф.* Революционная идеология декабристов. Л., 1976, с. 17; *Нечкина М. В.* Декабристы. М., 1982, с. 11. Отметим и исключения: *Овсянникова С. А.* Бестужев-Марлинский А. А. — Очерки из истории движения декабристов. Сб. статей. М., 1954, с. 410.

Но если чувство патриотизма передового офицерства не кануло в Лету вместе с окончанием Отечественной войны, то прежде всего в силу оплодотворения этого чувства опытом передового Запада. «Происшествия 1812, 13, 14 и 15 года, — свидетельствует Н. И. Тургенев, — сблизили нас с Европою; мы, по крайней мере многие из нас, увидели цель жизни народов, цель существования государств; и никакая человеческая сила не может уже обратить нас вспять»¹². В этом смысле декабристский «преобразовательный» патриотизм явно выделяется из более широкого общенационального патриотизма, охватившего в эпоху 1812 г. широчайшие слои русского народа, дошедшего до крестьянских «низов», но пошедшего в этих «низах» по нисходящей линии, не переросшего в антифеодальную борьбу.

Совершенно неоспоримо существенное влияние российских условий на выработку организационных форм декабристского движения. Но известны факты широкого использования декабристами в 1816—1821 гг. масонской — отнюдь не только российской — конспирации. Отмечены попытки копирования в те же годы декабристами структуры прусского «Тугендбунда», тесные контакты с греческой организацией «Филики Этерия», влияние на декабризм французского, итальянского карбонаризма, испанских военных организаций. В общем и целом «тайные политические союзы» были типичным для Европы начала XIX в. образованием. «Народы, обманутые в своих ожиданиях правительствами, — писал Михаил Фонвизин, — прибежали против их явных угнетений к средствам сокровенным»¹³.

Общеввропейской, во многом обусловленной прямым воздействием революционного Запада была и тактика декабризма. Правда, на уровне Союза спасения она вообще не обретает определенных черт. Союз благоденствия в своей легальной деятельности (по крайней мере до 1820 г.) копирует некоторые черты «Тугендбунда». К тактике «военной революции» декабристы безусловно шли самостоятельным путем, ее активнейшим поборником был с 1819 г. М. Ф. Орлов. Но несомненно, что принятие декабристами в конце концов действия «посредством войск» резко стимулировало революционные события в Испании, Италии, Португалии в начале 20-х гг.

Принадлежат к мировой антифеодальной идеологии и во многом прямо порождены ею преобразовательные планы декабристов. При всей романтической идеализации

ции прошлого (вечевых порядков «Великого Новгорода» и даже фигур отдельных русских князей и т. п.) конкретные представления о будущем устройстве России (идеи народного суверенитета, «освобождения» личности, свободы печати и пр.) декабристы брали прежде всего из реального настоящего — буржуазного конституционного законодательства XVII—XIX вв.

В русле общеевропейской антифеодальной борьбы идет и стремление декабристов противодействовать реакционной внешней политике Александра I. Известная рукопись «О повиновении высшей власти и какой власти должно повиноваться» (1823 г.) хорошо выявляет глубину понимания декабристами реакционной идеологии и практики «Священного союза», этого «уродливого произведения новейшей политики», вмешивающегося в «чужие дела», ставящего целью подавление любых «свободомыслящих» людей, учреждений, движений¹⁴.

Из сказанного можно сделать выводы. Типологически декабризм относится к европейским освободительным движениям первой четверти XIX в., причем фиксируется прямое воздействие на декабризм передовой европейской революционности. Последний момент издавна отмечался в марксистской историографии. Так, в речи Г. В. Плеханова на русском собрании в Женеве 14/27 декабря 1900 г. утверждалось, что передовые русские офицеры «стали появляться под влиянием освободительного движения западноевропейского tiers état»¹⁵. В. И. Ленину принадлежат слова о том, что во время наполеоновских войн русские дворянские офицеры «были заражены соприкосновением с демократическими идеями Европы»¹⁶. Именно раздумья над ленинскими мыслями привели отдельных советских авторов в 1970-х гг. к попыткам углубить, уточнить эти мысли. «Формула «заражены демократическими идеями», — писал Ю. М. Лотман, — указывает на одну чрезвычайно существенную сторону мировоззрения декабристов — его динамический, переходный, постоянно эволюционирующий характер. Перед нами чрезвычайно интересный пример того, как одна идеологическая система, попадая в орбиту другой, облучается, «заражается» по существу чуждыми ей идеями, как эти идеи все более мощно вторгаются в нее, навязывая ей не только те или иные конкретные решения, но и свою внутреннюю структуру, так что в конечном итоге создается органическое соединение идеологического субстрата и воздействующих теорий»¹⁷

Думаем, что Ю. М. Лотман прав в главном. Объяснять генезис, эволюцию, природу декабризма, дворянской революционности вообще вне учета мощного и систематического воздействия передового Запада на отсталую Россию — значит не понять суть вещей. Что же касается конкретного соотношения национальных и интернациональных моментов в истории декабризма, то надо говорить, на наш взгляд, не о первостепенности первых и второстепенности последних, а о нерасторжимом в сущности их единстве*.

В целом мы имеем дело с рождением в Европе в эпоху буржуазных революций (причем под мощным интернациональным воздействием) национально-освободительных движений, проявлявшихся и в стремлении к национальной независимости, и в объединительных тенденциях, и в мощно развернувшемся процессе оформления национальных культур, и в вырастании антифеодальных движений из национально-освободительных. В эпоху войн с Наполеоном этот процесс дает в верхнем пределе взрывание испанской буржуазной революции 1812 г., в нижнем пределе — те же скромные антифеодальные требования патриотического прусского «Тугендбунда». Думаем, что в рамки именно этого процесса в значительной мере укладываются подвиги Квируги и Риго, Пестеля и Рылеева, так же как и такие «несимпатичные»

* Острейший и, как оказалось, далеко не академический спор по поводу методологии изучения аналогичных процессов, завязавшийся еще на Философской дискуссии 1947 г. между З. В. Смирновой и М. Т. Иовчуком, И. Я. Щипановым (см.: Вопросы философии, 1947, № 1, с. 109—114, 212—221, 494—501), время разрешило в пользу З. В. Смирновой. Но рецидивы прежнего, примитивного подхода нет-нет да и наблюдаются в литературе о декабристах. «Не отвергая известного влияния Запада, — писал в юбилейные дни 1975 г. В. Г. Вержбицкий, — несомненно, главным источником движения и взглядов декабристов была русская действительность конца XVIII и первой половины XIX в.». В подтверждение приводится высказывание Д. И. Завалишина, который утверждал, что революционные идеи декабристов «истекали... из собственных исторических примеров, — подражание же внешним примерам и образцам было только уже последующим и второстепенным явлением». Но исследователь оставляет за границами своего рассмотрения весь массив иных высказываний декабристов по данной проблеме (см.: Вержбицкий В. Г. Патриотизм декабристов. — Исторические записки, т. 96. М., 1975, с. 93 и др.). О том, как опыт и теория передового Запада помогли декабристам решать национальные проблемы отсталой России, см.: Ланда С. С. Дух революционных преобразований... 1816—1825. М., 1975.

черты новаторов начала XIX в., как нотки шовинизма у Фихте или стремление к русификации национальных окраин России у Пестеля.

Российская «историческая альтернатива» начала XIX в.

Выделим еще один важный момент: процесс взаимодействия России и Запада происходил в условиях громадной отсталости России, бедности ее собственного политического опыта. «Имея недостаток в своих собственных, мы следуем за политическими происшествиями Европы»¹⁸, — писал Николай Тургенев.

Сложность этого движения состояла в том, что сами пути капиталистического развития Европы и Америки, уровни, достигнутые в разных странах в результате промышленного развития и борьбы антифеодальных сил, не были одинаковыми. Одни страны (Англия, США, Франция) уже проделали свои антифеодальные революции, другие (Испания, Италия, Португалия) к ним только-только приступали. Широчайшую гамму политических оттенков — от буржуазно-республиканского законодательства США до полуфеодального законодательства какого-нибудь Бадена — представляли в силу этого и западные буржуазные конституции, к переработке которых приступили декабристы. Определенную разновариантность обнаруживали и чисто русские национальные элементы декабристских проектов, резко модифицирующие западные образцы.

К какому варианту склонялся в своих преобразовательных планах декабризм? Мы уже писали во Введении: переход пореформенной России к капитализму В. И. Ленин связывал с борьбой двух путей, условно названных им «американским» и «прусским». «Либо эволюция прусского типа: крепостник-помещик становится юнкером, — писал он. — На десятилетие укреплена помещичья власть в государстве. Монархия. «Обшитый парламентскими формами военный деспотизм» вместо демократии. Наибольшее неравенство в сельском и в остальном населении. Либо эволюция американского типа. Уничтожение помещичьего хозяйства. Крестьянин становится свободным фермером. Народовластие. Буржуазно-демократический строй. Наибольшее равенство среди сельского населения, как исходный пункт и условие свободного капитализма»¹⁹.

Разумеется, «американский» и «прусский» пути не были единственными; существовали «английский», «французский», «шведский» и т. д. Но избранные Лениным образцы отличались методологической значимостью — они давали предельные выражения выявленной развитием мирового капитализма XVI—XIX вв. альтернативы: демократический путь, абсолютно лишенный наслоений феодализма, или либеральный путь, наиболее отягощенный этими наслоениями.

Правда, возникает вопрос: относится ли все это ко временам декабризма, тем более Радищева? В последние годы были выдвинуты принципиальные возражения против поисков «двух путей» в России в первую четверть XIX в., была подчеркнута мысль Ленина о том, что две исторические тенденции впервые дают себя знать с 1861 г.²⁰ Четкая увязка двух исторических тенденций с «относительно высокой зрелостью капиталистических отношений и остротой социальных антагонизмов»²¹ на первый взгляд отличается сугубой историчностью. И все же мы не вполне согласны со сторонниками такой увязки. Они снова игнорируют факт *опережающего* развития идеологии по сравнению с социально-экономическими процессами, притом идеологии не только революционной, но и либеральной, в том числе и либерально-правительственной. Разработка преобразовательных проектов и декабристами, и дворянскими либералами, и приближенными Александра I — факт бесспорный, но бесспорно и то, что любой такой проект предвещал (пускай только в уме, пускай не в столь ясных формах) тот или иной путь буржуазной эволюции России.

Интересно, что в ленинском документе «С[оциал] д[е]мократия и либ[ерали]зм» мы находим формулировку, как раз протягивающую нити от 60-х гг. XIX в. к декабризму:

«О. Тема — вкратце познакомить

1 Либ[еральное] дв[ижение] в России

(Дворянское: декабристы).

Земское. 60-ые годы и после»²².

Эти наброски не получили дальнейшего развития в работах Ленина. Но думаем, что находятся на верном пути те советские авторы, которые утверждают, что декабризм соприкасался с русским «дворянским» или «буржуазно-дворянским» либерализмом: именно борьба между демократическими и либеральными тенденциями определяла «постепенное вытеснение одних другими»,

создавала ту «особую сложную систему, которую мы определяем как дворянскую революционность», само «сложное и противоречивое единство дворянской революционности»²³ *. Попробуем же внимательнее приглядеться к этому «противоречивому единству», памятуя о богатстве идеологической жизни в декабристских организациях (споры велись и вокруг принципов централизма и федерализма, идей революционной диктатуры, идей славянской и балканской федерации, принципов союза с польскими революционерами и т. д.).

Наличие республиканских идей фиксируется в среде декабристов с 1820 г. Правда, до поры до времени вопрос о том или ином принципе высшей власти не носил принципиального характера — главным было представительное правление, все равно — при президенте или монархе. Но вопрос, казалось бы, сугубо академический принял характер практический после поражения европейских революций начала 1820-х гг. Декабристы поняли, что монархи в Испании, Неаполе, вроде бы присягнувшие конституции, при первой же возможности изменяли своим обещаниям. Во всяком случае, мнение о «республике и истреблении» (т. е. необходимости истребления царской фамилии) возобладало в Южном обществе, в Северном его стали разделять К. Ф. Рылеев и его друзья, образовавшие нечто вроде демократической «отрасли».

В проектах преобразования аграрных порядков России декабристы с трудом поднимались выше идеи постепенного и безземельного освобождения крестьян, причем за выкуп и с сохранением крестьянских повинностей. В Союзе спасения первоначальная мысль об освобождении крестьян «была кратковременна: ибо скоро получили мы убеждение, что нельзя будет к тому Дворянство склонить»²⁴, — признал в своих показаниях Пестель. Союз благоденствия, расширяя свою деятельность в кругу дворянства, вообще снял из Устава пункты об освобождении крестьян, и это в период пробуждения эмансипаторских настроений даже в среде петербургских вель-

* Соглашаясь с приведенными формулировками, подчеркнем, что неправомерно возвращение к огрубляющим формулировкам М. Н. Покровского, который считал Южное общество «демократическим», «мелкобуржуазным», «революционным», а Северное — «соглашательским», «буржуазно-помещичьим» (см.: *Покровский М. Н. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв. М., 1924, с. 37, 39 и др.; его же. Декабристы. М.—Л., 1927, с. 20, 85, 90 и др.*).

мож²⁶. Выступления отдельных членов Союза в пользу освобождения были их личной инициативой.

Правда, в 20-х гг. П. И. Пестель, И. М. Муравьев в своих проектах категорически потребовали, чтобы дворянство отрелось «от гнусного преимущества обладать другими людьми». Пестель стал догадываться, что без принуждения помещиков дело не обойдется. Но и И. М. Муравьев, и даже П. И. Пестель во многом теряли свою решительность, когда дело заходило о ликвидации такой дворянской привилегии, как обладание громадным массивом земель. Никита Муравьев поначалу вообще не намеревался поступаться помещичьей собственностью и лишь позже сделал ничтожную уступку в пользу крестьян в виде двухдесятичного надела; в этом отношении его проект не превзошел даже разрабатывавшегося в 1818—1820 гг. аракчеевского проекта²⁶. Павел Пестель в своих проектах «дележа земель» предлагал безвозмездно отобрать половину земель в поместьях свыше 10 тыс. десятин, отобрать за «возмездие» половину земель в поместьях от 10 до 5 тыс. десятин, сохранить, по всей видимости, мелкие дворянские владения.

Что касается способа преобразований, то декабристы покончили с надеждами на реформы «сверху». Но до революции «снизу» они так и не дошли.

Правда, отдельные вкрапления революционного демократизма фиксируются и в декабристской идеологии — в тех же песнях Александра Бестужева и Кондратия Рылеева, — песнях, в какой-то мере известных за пределами офицерской среды и призывающих народ «силой» отнять задущенную барами «свободу»²⁷.

Подобные призывы не дают оснований «усомниться в авторстве представителей *дворянских* революционеров»²⁸. Они просто-напросто свидетельствуют о том, что дворянская революционность не противостоит абсолютно революционному демократизму. Тот же Рылеев высказывал мысли о крайней «ненадежности» переворотов, производимых «военною силою», а не «гражданским состоянием»²⁹. Горбачевский свидетельствует, что «славяне» уже «в народе... искали помощи, без которой всякое изменение непрочно»³⁰.

И все же такого рода мысли и высказывания в целом нетипичны для декабристов; революционное офицерство стремилось произвести переворот, опираясь исключительно на армию, подчиненные им части, без какого-либо вмешательства «снизу».

Фиксируя сложное переплетение самых разных элементов в воззрениях декабристов, подчеркнем существенный момент. Применение ленинского учения о «двух путях» буржуазной эволюции отнюдь не сводится к механической наклейке на те или иные проекты, идеи, преобразования противоположных оценок — «ярлыков»: аграрный либерализм — непрогрессивно, аграрный демократизм — прогрессивно; конституционная монархия — плохо, республика — хорошо; реформа «сверху» — путь неверный, революция «снизу» — путь верный и т. п. Дело в том, что в различных исторических ситуациях одни и те же идеи и преобразования играют существенно различную роль, все решают уровень социально-экономического развития страны, степень зрелости ее политических сил. Следует учитывать и то, что развитие капитализма в США совершалось на «чистой» почве, свободной от феодальных институтов. Это развитие не требовало болезненной ломки архаичной социально-экономической структуры, что оказывалось абсолютно неизбежным при «переносе» «американского» пути развития на почву стран, обремененных феодализмом.

В этом смысле определенная умеренность преобразовательных планов декабристов была не просто историческим минусом — эти планы обещали перевести Россию в русло «свободного» (объективно буржуазного) развития без крайне резких потрясений. Наличие элементов «прусского» пути (та же цензовая конституционная монархия по Конституции Никиты Муравьева, аграрные проекты декабристов) в планах дворянских революционеров несомненно. Но несомненно и то, что только к «прусскому» пути декабристский вариант эволюции отнюдь не сводился. Наиболее оригинальным построением была «Русская правда» Павла Пестеля, предусматривавшая учреждение диктаторского временного Верховного правления на переходный период, сильную власть в центре, непосредственно опирающуюся на «чиноначальство». Пестель не только предусматривал обеспечение обычных, формально-юридических буржуазных прав, не только гарантировал «свободную» деятельность, но и выступал за ограничение «аристократии», как феодальной, так и на богатстве основанной, вводил деление всего массива земель на частный и общественный фонды. «Русская правда», несмотря на несомненные элементы утопизма, в наибольшей степени пыталась учесть действительность российского общества с его исторически

сложившимися формами землевладения и землепользования, полной отрешенностью от политической жизни масс народа. Мы бы назвали проект Пестеля проектом «русского» пути буржуазной эволюции России, резко отличным от проектов «американского» или «прусского» типа.

«Дворянская революционность — категория общеисторическая, а не только российская?»

В 1960-х гг. М. В. Нечкина поставила интересную методологическую проблему: «Теперь необходимо сделать следующий шаг. Дворянская революционность — категория общеисторическая, а не только российская. Множество деятелей Английской революции XVII в. отчетливо подходят под эту категорию, немало представителей революционной Франции заслуживают это название. Широко приложимо оно и ко многим деятелям польского революционного движения. Между тем ни тут, ни там историки не пользуются этим термином, обедняя возможности своего анализа»³¹.

Действительно ли «дворянская революционность» — общемировой, а не только российский феномен?

Категория «дворянская революционность» в ее российском варианте несет на себе ряд «общеисторических» черт. Но называть ее безоговорочно категорией «общеисторической» мы бы не стали.

Бесспорно, дворянство не осталось в стороне от мировых революционных событий XVII—XIX вв. В основном из дворян состояла парламентская армия в революции 1640—1649 гг. в Англии в первый период борьбы с королем. Мирабо возглавил борьбу третьего сословия против Людовика XVI в революции во Франции в 1789 г. — давние бунтарские традиции крупной аристократии наделили его бесстрашием, которого пока еще не обрели депутаты третьего сословия. Не только мелкошляхетские элементы, но и крупные магнаты участвовали в польском освободительном движении начала XIX в. И все же в других европейских странах происходило далеко не то же самое, что происходило в России в 1816—1825 гг.

Дворянство не сыграло решающей роли в кульминационный момент Английской революции — ее привела к победе армия Кромвеля, рекрутировавшаяся из «свобод-

ных держателей» — крестьян. Дворянство в основном сыграло не революционную, а контрреволюционную роль во времена французской революции. Даже в Польше, где дворянский элемент составлял существенную часть революционного движения, Энгельс характеризовал это движение как своеобразный союз «дворянства, городского бюргерства и отчасти крестьянства»³². Правда, для Японии (если перейти к Востоку) было характерно весьма активное участие низшего самурайства в подготовке революции Мэйдзи и в последующей общественной борьбе, но доля этого участия среди других социальных групп все же не была подавляющей. И только в России в первую четверть XIX в. революционное движение было по составу почти исключительно дворянским.

Воспроизводя черты европейских революционных движений в странах с относительно слабым развитием капиталистических элементов (неоформленность и бессилие буржуазии, особая роль передового офицерства в движениях, тяготение к узкой тактике «военных революций» и созданию тайных обществ), российское движение дало такие национальные черты, как его *предельная классовая узость*, полнейший отрыв от народа. Карбонарские венты в Италии насчитывали десятки тысяч человек, в России революционные военные организации вели счет на десятки, в лучшем случае на сотни. В Италии, Испании, Греции дворянских революционеров поддерживал если и не весь «народ», то достаточно широкие его слои. В России «народ» остался в стороне от событий 1825 г.

О том, что декабристам на Сенатской площади не хватало народа, говорил еще Герцен. Ленин писал о декабристах: «узок круг этих революционеров», «страшно далеки они от народа», «протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа»³³. Эти положения постоянно цитируются декабристоведами. Цитируются без ясного осознания того, что речь идет в данном случае о национальной специфике России по сравнению с Испанией, Неаполем, Грецией того времени. Цитируются без раскрытия двух сторон проблемы. Постоянно подчеркивается, что декабристы, будучи дворянскими революционерами, боялись обратиться к народу. Почти никогда не отмечается, что эта субъективная боязнь имела объективную основу. Народ в России в то время не был готов к революции, к восприятию револю-

ционных призывов, руководящей роли революционеров *. Эта его неготовность сохранилась и на разночинском этапе движения, на этапе же дворянском революционеры были отделены от народа, от крестьян целой пропастью. Те самые, сугубо локальные народные восстания 1818—1820 гг. (особенно донские волнения), которые рассматриваются исследователями как некая «подоснова» движения декабристов, выявили характернейший для России XIX в. факт: сохранение монархических иллюзий, веры в царя в крестьянских массах при откровенной враждебности к дворянству³⁴. Именно антидворянские настроения крестьян (и соответственно солдат) делали сугубо проблематичной возможность обращения декабристов к народу. Именно этот факт, по всей видимости, не позволил декабризму усвоить в полной мере опыт военных революций в Европе — чисто военными они там не были (вмешательство народных масс помогло войскам Риго и Квируги переломить ход событий в свою пользу на первых этапах борьбы в Испании; в Неаполе же армия последовала за восставшим народом, закрепила его успех). Правда, русское революционное офицерство сделало к сближению с солдатской массой заметные шаги: оно способствовало уменьшению наказаний, намечались кое-какие контакты с солдатскими вожаками, иногда даже офицеры просвещали солдат в духе вольномыслия (М. Ф. Орлов). Но все это принципиально дело не меняло.

Такого — полнейшего — разрыва революционеров и угнетенных масс, как в России, не было в первой четверти XIX в. ни в одной втянутой в революционное движение европейской стране. Нигде столь далекими от народа не были революционеры. Нигде столь отсталыми не были массы. Обратной стороной этой отсталости и была в сущности предельная узость организации и тактики первых российских борцов с самодержавием, прекрасно схваченная в крылатой фразе Грибоедова о «ста пра-

* Даже в фундаментальных работах, во многом определяющих направление развития нашего декабристоведения, делались порой подобные выводы: «Крестьянство не имело руководителя: пролетариат — будущий гегемон революционной борьбы не сложился еще в класс в изучаемое время, буржуазия была слаба и неревolutionна. На первом этапе революционное дворянство возглавило (?) движение» (см.: *Нечкина М. В. Движение декабристов*, т. 1. М., 1955, с. 72). Мы думаем, что «революционное дворянство» не возглавляло движение, а составляло его.

порщиках», которые захотели перевернуть государственный быт России.

Классовая, дворянская ограниченность декабризма несомненна. Но отдадим должное и российским революционерам. Заметное отставание в вопросах организации и тактики не помешало им выйти на передовые рубежи в области идеологии и революционной практики.

«В просвещении стать с веком наравне»

Декабристов справедливо называли «людьми действия» (Ю. М. Лотман). С неменьшим основанием декабристы могут быть причислены к «людям мысли». Они разработали сложную, многослойную и вместе с тем по-своему цельную идеологию, создали характерный для передовой российской общественности той эпохи идейно-мировоззренческий климат. Как определить его? Лунин однажды заметил, что Пестель хотел «наперед энциклопедию написать, а потом к революции приступить»³⁵, и в этой шутке нечаянно отразилась реальная картина. Ибо с точки зрения глубинных, ценностных и теоретических основ мировоззрения декабристы принадлежали к ревностным поборникам просвещения — энциклопедизма, свободомыслия, антифеодальной направленности. Можно сказать, что декабризм составил одну из самых ярких страниц в истории просветительства в России.

Обращаясь к декабристскому наследию, мы явственно ощущаем: многие его страницы буквально дышат пафосом просвещения, жаждой «разумных» общественных перемен. Читаем ли мы Устав Союза благоденствия или Правила соединенных славян — везде говорится о необходимости водворения «истинного просвещения», о том, что «богиня просвещения пусть будет пенатом твоим»³⁶. Это не просто декларации, вслед за ними разворачиваются все основные идеи и стереотипы просветительского мышления.

В противовес позднейшим славянофилам национальное самосознание декабристов вполне рационально, «разумно». Чувство национальной гордости у них органически сплавлено с решимостью «пересадить Францию в Россию»³⁷, «поставить Россию на ту степень просвещения, на которую она имела право по политическому своему положению в европейском мире»; приверженность декабристов к передовым европейским порядкам была такова, что разного рода недоброжелатели даже «назы-

вали их обезьянами Запада»³⁸. Да и сам декабристский патриотизм естественно сочетается с резкой критикой российских порядков. «Я весь состою из одной идеи — *беспредельная любовь к отечеству!*»³⁹ — писал Н. И. Тургенев М. Ф. Орлову. И тут же Тургенев жалуется, что ему «душно» на родине, что он задыхается от «невежества», в котором «тонет Россия». «Хам», «хамство», «хамобесие» — такие термины изобретает он для характеристики российских нравов⁴⁰.

Просветительские идеи декабристов нашли отражение в их художественном творчестве, в проектах конституций, в их речах, статьях, заметках. При этом просветительство для декабристов — это не просто пропаганда тех или иных теорий, но главный нерв всей их общественной деятельности. Знаменитые приказы М. Ф. Орлова по 16-й дивизии проникнуты стремлением разъяснить солдатам и офицерам понятия «свобода» и «конституция», воспитать у них ненависть к «рабству», прославить Вашингтона и Риго. Тот же Орлов (вместе с В. Ф. Раевским) организует ланкастерские школы массового обучения. И. Д. Якушкин учит грамоте своих крестьян. По всему складу жизни декабристы являли собой тип радетеля знания, энциклопедиста, исследователя. «...Смело сказать могу, — говорил А. А. Бестужев (Марлинский) на следствии, — что я не оставил ни одной ветви наук без теоретического или практического изучения»⁴¹. Г. С. Батеньков, инженер, чиновник, правовед, автор первой русской книги о дешифровке египетских иероглифов, оставил, кроме того, заметки по философии, математике, эстетике. В. И. Штейнгель пишет книгу по астрономии и времяисчислению. Д. И. Завалишин — пыливый исследователь-географ, совершивший кругосветное путешествие. Среди декабристов мы встречаем серьезных экономистов (не только Н. И. Тургенева с его «Опытом теории налогов», но и М. Ф. Орлова, написавшего сочинение «О государственном кредите»), историков (А. О. Корнилович), музыкантов. Огромен вклад декабристов в литературу. А образ жизни декабристов в Сибири? Деятельное самообразование, изучение языков, эксперименты с садоводством и огородничеством, учительство среди местных жителей, этнографические изыскания, проекты по разработке богатств края и т. д. и т. д.

Тезис о просветительстве как одной из главных черт мировоззрения декабристов может показаться неожиданным или преувеличенным. В работах большинства ис-

следователей декабризма указания на просветительские черты его идейного наследия встречаются нечасто, делаются как-то вскользь, акцент ставится на их национально-патриотические устремления, на отечественные корни их воззрений. Однако несомненно национально-патриотическая окраска взглядов декабристов — мы показали это — не только не противоречила их просветительской, «западнической» ориентации, но и была органически связана с нею. Иногда исследователи (С. С. Ланда, отчасти М. В. Нечкина) признают просветительство декабристов, но лишь как этап в эволюции их мировоззрения (на фазе Союза благоденствия). В результате понятие просветительства сужается, сводится к буквальному значению термина («мирное просвещение»).

Между тем просветительство — широкое течение, идейно подготовляющее слом феодально-абсолютистских институтов, замену их институтами демократическими и вместе с тем не сознающее, что строит оно не мир всеобщей справедливости, а лишь «царство буржуазии». Просветительство включает комплекс идей и установок (энциклопедизм, рационализм, исторический идеализм, теории естественного права и общественного договора, идеи народного суверенитета и представительного правления, принцип разделения властей, предпосылку первенства политико-правовой сферы над другими областями общественной жизни, лозунг секуляризации и пр.), более или менее общих всем национальным представителям данного мирового течения, независимо от того, останавливаются ли они на признании одного только реформистского пути преобразования или идут к признанию революционного пути.

Вместе с тем несомненно и другое: как просветители, декабристы уже не могли быть целиком подобны своим классическим предшественникам. Чтобы, выражаясь пушкинскими словами, «в просвещении стать с веком наравне», они должны были учесть новый исторический опыт — результаты французской буржуазной революции, события наполеоновских войн и эпохи Реставрации.

Французская революция 1789—1794 гг. — этот пробный камень классического Просвещения — нанесла ему и решающий удар: принцип «разумности» общественных преобразований пал под ударами якобинской гильотины, затем наполеоновской шпаги. В конце XVIII в. классическое европейское Просвещение переходит на нисходящую ветвь⁴², трансформируясь в дальнейшем либо в

буржуазный либерализм, либо в утопический социализм: послереволюционный период обнажил буржуазную направленность тех социальных изменений, которые принесла с собой революция, и соответственно в общественной мысли возникает дифференциация между теми, кто склонен или не склонен принимать эту направленность. Буржуазные революции сделали свое дело в передовых странах Европы, и Просвещение, породившее их, должно было уйти. Не так было в странах, отставших в своем развитии: буржуазные революции стояли здесь в порядке дня, и поэтому передовые мыслители и деятели в этих странах продолжали черпать из источника классического Просвещения. Черпать — но уже с неизбежными поправками на новые обстоятельства, вскрытые процессом реализации просветительских идей.

Декабристы испытали влияние — явно «непросветительский элемент» в их воззрениях — европейского либерализма начала XIX в., в частности буржуазных теоретиков эпохи Реставрации (Бенжамен Констан и др.), наиболее четко формулировавших политико-правовые постулаты буржуазного строя. Но, выступая объективно буржуазными преобразователями, декабристы начинали проявлять стремление к ограничению не только феодальной «аристократии», но и «аристократии» богатств. Эту мысль мы находим в «Русской правде» Пестеля. Н. И. Тургенев в своеобразной форме фиксирует тот же момент: «Новейшие народы идут к щастию грязною дорогою: выгодами эгоизма и корысти»⁴³.

Как и Радищев, декабристы напряженно размышляли над проблемами, заданными французской революцией, прежде всего над несоответствием между ее просветительскими идеалами и грандиозными вспышками насилия и социального хаоса, приведшими к контрреволюции и бонапартизму. «Какая ночь последовала за светом!»⁴⁴ — горестно восклицает Н. И. Тургенев. Однако в отличие от Радищева декабристы не остановились на разочаровании. Тот же Тургенев, записав мнение одного англичанина о том, что все революции ведут к деспотизму, замечает: «Деспотизм не есть предел сих революций»⁴⁵. П. И. Пестелю, фигуре, пожалуй, главной в декабристском движении, принадлежат известные соображения по поводу «возвращения Бурбонского Дома на французский престол»: «...большая часть Коренных Постановлений введенных Революциею, были при Ресторации Монархии сохранены и за благия Вещи признаны,

между тем как все возставали против Революции и я сам всегда против нее восставал. От сего суждения породилась мысль, что Революция, видно, не так дурна, как говорят, и что может даже быть весьма полезна, в какой мысли я укреплялся тем другим еще суждением, что те Государства, в коих не было Революции, продолжали быть лишенными подобных преимуществ и учреждений». Из этих суждений выросли как «конституционные», так и «революционные идеи», причем особое внимание было обращено «на устранение и предупреждение всякаго безначалия, беспорядка и междоусобия»⁴⁶.

Думаем, что эти «соображения» Пестеля можно признать «эпохою» (он сам их так называл) не только в его личном развитии, но и в смысле куда более широком. Декабризм и принадлежал к эпохе изживания острейшего кризиса Просвещения, кризиса буржуазного радикализма конца XVIII в., к эпохе разборки наследия Великой французской революции. К такой разборке приступают даже цари, начавшие отличать «преступления» революции от ее «принципов»*. К такой разборке приступают буржуазные либералы, вспомнившие о заветах конституций 1789 и 1791 гг. К разборке приступают и революционеры, вновь пошедшие (хотя и не столь решительно, как якобинцы) путями вооруженной борьбы за «свободу».

Задача революционеров состояла в том, чтобы овладеть революционным процессом, не допустить неконтролируемых акций «сверху» или «снизу» («внезапных действий», как выражался Пестель), и декабристы искали решения проблемы на путях военной революции. Здесь мы выходим к кульминационному пункту в истории декабризма — восстанию 14 декабря 1825 г.

Планы восстания и их исполнение

О восстании дворян-офицеров 14 декабря 1825 г. В. И. Ленин говорил: «В 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма. . .»⁴⁷

В открытое военное противоборство с самодержавием декабристы были втянуты силой не зависящих от них обстоятельств, в неблагоприятный для них момент:

* Напомним слова Александра I, сказанные в 1818 г.: «Il faut distinguer les crimes des principes de la révolution française» (надо отличать преступления от принципов французской революции — франц.).

между Северным и Южным обществами не были ликвидированы разногласия, Северное общество «не имело опоры в старших чинах гвардии»⁴⁸, не была завершена в окончательном виде выработка программ преобразования страны («Русская правда» Пестеля, Конституция Никиты Муравьева, компромиссный проект Рылеева). И все же почти десятилетние усилия, предшествовавшие восстанию 14 декабря, не прошли бесследно — декабристы усвоили и применили тактику действий «посредством войск», опираясь на свои (хотя и незавершенные) проекты, ясно определили цели восстания: низложение самодержавия, созыв учредительного собрания, уничтожение сословного строя, введение гражданских свобод, освобождение крестьян, значительное облегчение солдатской службы⁴⁹. Был предусмотрен заговорщиками и арест царской фамилии.

Как же действовали дворянские революционеры 14 декабря 1825 г., в свои «звездные часы»? Были ли у них шансы на победу? Если да, то почему они потерпели поражение?

«Фантастический 1826-й» — так назвал одну из глав своей книги об С. И. Муравьеве-Апостоле Н. Я. Эйдельман. Он попытался представить победоносный вариант революции, как его планировали сами декабристы: к Черниговскому полку присоединяются другие части 3-го корпуса, восставшая армия берет Киев и идет далее на Москву, в Петербурге освобождают арестованных по делу 14 декабря... «**Не было. Могло быть**»⁵⁰. Н. Я. Эйдельман прослеживает линию воображаемых событий с юга, но еще важнее «прокрутить» их и на севере.

Вопрос о том, могли ли декабристы победить, занимал многих. На эту тему высказывались Герцен и Плеханов. Опубликованы подробные исторические исследования, посвященные восстанию 14 декабря⁵¹, комментарии военных специалистов⁵².

Но правомерен ли сам вопрос? Не является ли он праздным? М. В. Нечкина, написавшая целую книгу об одном дне — 14 декабря, касаясь проблемы, «могли ли декабристы победить», замечает: «Историку в подобных случаях запрещено сослагательное наклонение»⁵³. С этим, на наш взгляд, нельзя согласиться. Ведь если историк обречен на то, чтобы лишь описывать случившееся и, так сказать, задним числом подыскивать ему детерминирующие причины, то он теряет почву для научного анализа и переходит на позиции пассивного регистра-

тора событий, если не их апологета. Разумеется, ничто происшедшее не беспричинно, оно вызывается определенными обстоятельствами и закономерностями, к тому же «переиграть» историю никак нельзя. Но все же действие любой закономерности в истории не однозначно, действует она не как «железный закон», а как более или менее вероятностная тенденция; кроме того, различные закономерности пересекаются, сталкиваются друг с другом. Поэтому истории всегда внутренне присуща альтернативность. Поэтому историк обязан учитывать не только совершившиеся события, но и их возможные варианты «в сослагательном наклонении». Все дело заключается в том, чтобы анализ исходил из действительно реальных возможностей, опирался на факты, а не на домыслы.

В соответствии со своей установкой «запрещения сослагательного наклонения» М. В. Нечкина, естественно, отвечает на поставленный вопрос отрицательно. Декабристы, по ее мнению, «и не могли победить» прежде всего потому, что они «боялись активности народа»⁵⁴. Кроме того, в сам день восстания произошли осечки индивидуального порядка (измена Трубецкого, Якубовича и Булатова). Наконец, революционная акция не удалась из-за недостаточной готовности к восстанию декабристского общества в целом, поскольку смерть царя застала его врасплох.

Начнем с последних обстоятельств. Действительно, положение дел в Северном и Южном обществах к концу 1825 г. было таково, что делало призрачными надежды на успешное восстание в связи с неожиданной кончиной Александра I. Недаром же, получив вести о единодушной присяге солдат Константину Павловичу (27 ноября), Рылеев и его соратники чуть ли не решили свернуть деятельность Северного общества, и только известия о возможном отречении Константина побудили их к активным действиям⁵⁵. Николая Павловича не любили в гвардейских частях, и возникла надежда, что ряд полков можно будет поднять при переприсяге.

Таким образом, сам момент 14 декабря (день новой присяги) в принципе оказывался чрезвычайно благоприятным для восстания. Общая неразбериха междуцарствия, отказ от престола Константина и нерасположение гвардии к Николаю — все это, безусловно, способствовало заговорщикам. Накануне выступления Трубецкой предложил следующий план мобилизации войск: чтобы один

полк, отказавшийся от присяги, «был выведен из казарм и шел с барабанным боем к казармам ближнего полка, поднявши который, оба вместе продолжают шествие далее к другим соседним полкам»⁵⁶. Таким образом, те военные соединения, на которые рассчитывали декабристы (Гвардейский экипаж, Московский и лейб-гренадерский полки) сумеют поднять еще три полка (Измайловский, Финляндский и Егерский), а также, возможно, конную артиллерию, что вместе составляло силу, достаточную для успеха восстания. Войска должны были явиться на Сенатскую площадь и «вытребовать» у сената подготовленный декабристами Манифест. Предполагалось также, что отдельные части восставших войск займут Зимний дворец, Арсенал и Петропавловскую крепость, в которой находился Монетный двор с большим запасом монеты.

План — в первой его части — был отвергнут Рылеевым, который настоял на том, чтобы в целях экономии времени идти «прямо на площадь»⁵⁷. Трудно сказать, из каких соображений: то ли из-за начавших уже закрадываться подозрений в нереволюционности Трубецкого, стремления обсуждать ряд важных вопросов «без него и помимо него»⁵⁸, то ли из-за недостаточной компетентности в военных делах. Но так или иначе, была совершена серьезная ошибка. Нельзя не согласиться с мнением тех исследователей, которые считали, что тактика «полк подымает полк» действительно могла бы обеспечить декабристам крупную военную силу, необходимую для победы⁵⁹. В какой-то мере весь этот эпизод объясняет и дальнейшее поведение Трубецкого — будучи человеком довольно умеренных взглядов, он, однако же, как давний военный, был отнюдь не трусом и несомненным специалистом своего дела. Его отступничество началось, по-видимому, прежде всего с неуверенности в военном исходе операции, который был поставлен под сомнение отказом от тактики «полк подымает полк». Характерно, что днем 14 декабря, не явившись к товарищам на площадь, он все же находился поблизости и даже, по воспоминаниям Николая I, выглядывал на площадь из-за угла — не соберется ли достаточно войск, после чего будет иметь смысл возглавить их⁶⁰. Разумеется, потеря главного и авторитетного для войск военного руководителя внесла серьезное расстройство в ряды восставших.

Не меньший ущерб восстанию нанесли изменнические действия Якубовича и Булатова, военных людей хотя и в «чинах», но в общем-то случайных в движении. Якубо-

вич отказался повести утром 14 декабря матросов Гвардейского экипажа на взятие Зимнего дворца (их выведет около часу дня Николай Бестужев на Сенатскую площадь). Булатов утром 14 декабря отказался явиться в лейб-гвардии Гренадерский полк, который должен был захватить Петропавловскую крепость. К лейб-гренадерам, уже присягнувшим Николаю, был послан Одоевский, после чего Сутгоф и Панов около трех часов тоже вывели солдат на площадь. Таким образом рушились основы военного плана восстания. «Все, что сделали декабристы 14 декабря, все их героические усилия, уличные бои, схватки, отражение кавалерийских атак, — пишет исследовавший эти события Я. Гордин, — все это были тщетные попытки наверстать упущенное, отчаянные попытки реализовать план, разрушенный Булатовым и Якубовичем. Принципиальное бездействие Булатова и Якубовича стоило заговорщикам несколько часов драгоценного времени. Крепость, арсенал и дворец остались не захваченными»⁶¹.

К 11 часам дня, когда первые части восставших появились на Сенатской площади, стала беспредметной и такая акция, как предъявление формальных требований декабристского Манифеста сенату, — Николай, предупрежденный Я. И. Ростовцевым о готовящемся заговоре, привел сенат к присяге самым ранним утром (около 7 часов утра), к 11 часам здание сената было давно пустым. Требовались, следовательно, какие-то другие действия — в непредвиденных планами обстоятельствах.

Может быть, апелляция к массам? Рассмотрим проблему «активности народа», неоднократно занимавшую исследователей восстания 14 декабря.

Декабристы и народ

М. В. Нечкина приводит в своей книге различные факты и свидетельства относительно широкого стечения народных масс 14 декабря на Сенатскую площадь, об их явном сочувствии восставшим и делает вывод, что декабристы «не хотели и не сумели опереться на народ, сделать его активной силой восстания»⁶².

О том, что дворянские революционеры XIX в. в России «не хотели» опереться на народ, говорят многочисленные свидетельства. Хотя тот же Рылеев высказывал мысли о крайней «ненадежности» переворотов, производимых «военною силою», а не «гражданским состояни-

ем»⁶³, хотя Горбачевский свидетельствует, что «славяне» полагали, что «никакой переворот не может быть успешен без согласия и содействия целой нации», что они считали «опасными» следствия «военных революций»⁶⁴, такого рода мысли были в целом не типичны для декабристов. Революционное офицерство стремилось произвести переворот, опираясь исключительно на армию, подчиненные им части, без какого-либо вмешательства «низов». Характерно, что 14 декабря 1825 г., увлекая солдат на Сенатскую площадь в Петербурге, офицеры-декабристы так и не открыли им истинные цели восстания — они поднимали части на восстание под лозунгом «незаконности» новой присяги Николаю. Побоялись офицеры, руководившие восстанием, обратиться и за поддержкой к народу, толпившемуся 14 декабря на улицах Петербурга. «Чернь же, когда приближалась к рядам, мы всячески старались удалить, опасаясь расстройств солдат и напрасного кровопролития», — писал в своих показаниях Вильгельм Кюхельбекер⁶⁵. Не обратились за помощью к народу и декабристы, поднявшие восстание на юге, хотя ими были предприняты какие-то попытки даровать крестьянам «вольность»⁶⁶.

Но нежелание декабристов обратиться за активной поддержкой к народу — одна сторона медали, есть и другая сторона. Посмотрим внимательнее, как выглядела ситуация 14 декабря. Действительно, к Сенатской площади и на саму площадь собралось несколько тысяч человек (рабочих на стройке Исаакиевского собора, ремесленников, торговцев, приказчиков, дворовых и т. д.), в ряде случаев оказывавших поддержку восставшим, кидая камни в полицию или войска, которые были на стороне царя. Факты, приводимые на этот счет М. В. Нечкиной и другими исследователями, вполне достоверны. Но правомерно ли в данном случае говорить о силе, которую можно и нужно было привлечь к восстанию?

Прежде всего значительное число людей не понимали и не могли понять толком происходящего, были привлечены к событиям простым любопытством. «Толпа зевак»⁶⁷, — говорил о них стоявший 14 декабря в рядах Гвардейского экипажа А. П. Беляев. Возбуждение толпы и даже какие-то ее активные действия (бросание камней, избивание конногвардейцев, выкрики, угрозы и пр.) в немалой мере, по-видимому, проистекали из чисто стихийных эмоций, обычно возникающих в больших скоплениях людских масс. Несомненно вместе с тем, что в

поведении народных толп выплескивался и веками копившийся классовый протест. Но во-первых, протест этот не выливался, да и не мог выливаться в ту эпоху в сознательные и организованные формы. Д. И. Завалишин, специально собиравший свидетельства участников восстания на Сенатской площади, приводит рассказ одного из них о том, что декабристы опасались массовых грабежей и насилий, люди из толпы, требовавшие оружия, прибавляли: «Мы вам весь Петербург в полчаса вверх дном перевернем»⁶⁸.

Во-вторых, декабристы имели основания опасаться, что привлеченные к борьбе массы направят удар по ним самим, по дворянству вообще. После казни декабристов тайный полицейский агент доносил о таких «вредных выражениях», которые шли между дворовыми людьми и кантонистами: «Начали бар вешать и ссылать на каторгу, жаль, что не всех перевесили, да хоть бы одного кнутом отодрали и с нами поровняли; да долго ль, коротко ли, им не миновать этого». По поводу манифеста Николая I от 12 мая 1826 г. (где зачеркивались надежды на какие-либо реформы) говорилось, что «его господа принудили царя издать оный», и выражалась уверенность, что в конце концов «мы опять будем вольные; вить уже столько лет цари не дарят ни одной души господам, стало, все мы будем царские, и будет нам воля»⁶⁹.

Все это подтверждает не только небезосновательность позиции декабристов, которые «не хотели опереться на народ», опасаясь «бунта бессмысленного и беспощадного», но и объективную неготовность самих трудящихся масс. Думается, революционные потенции собравшегося на площади городского люда нельзя переоценивать — это были совсем не толпы, кипевшие революционной страстью в Пале-Рояле 13—14 июля 1789 г. Собственно, это подтвердила и последующая историческая практика: вплоть до начала XX в., несмотря на постоянное глухое брожение и отдельные вспышки, народные массы не были втянуты в революционное движение. Это специально отмечал В. И. Ленин: «Тогда... историю творили горстки дворян и кучки буржуазных интеллигентов при сонных и спящих массах рабочих и крестьян. Тогда история могла ползти в силу этого только с ужасающей медленностью»⁷⁰.

Стало быть, проблема заключалась не в привлечении народа к восстанию на Сенатской площади — этот вари-

ант был для декабристов исключен. Но само по себе совершение военной революции — история знает тому немало подтверждений — и не требовало обязательного участия масс. Вопрос сводится в конце концов к следующему: могли ли декабристы победить, опираясь на собственные силы, победить при таких неблагоприятных обстоятельствах, как измена всего руководящего ядра восстания (Трубецкого, Якубовича, Булатова), осведомленность Николая о готовящемся перевороте?

На Сенатской площади

Одиннадцать или начало двенадцатого утра. На Сенатской площади появляется часть Московского полка (около 800 штыков), поднятая решительными действиями Михаила и Александра Бестужевых, Д. А. Щепина-Ростовского и др. Это событие быстро становится известным и оказывает сильное воздействие на другие войска. Николай I в панике. Он не уверен во многих гвардейских соединениях. Он знает, что в Измайловском полку были «беспорядки и нерешительность» при присяге, что имела место попытка бунта в конной кавалерии. От Финляндского полка декабрист А. Е. Розен сумел отколоть более батальона. Падает под выстрелом Каховского посланный на переговоры к восставшим граф Милорадович.

Но каких-либо активных действий восставшие не предпринимают, хотя Николай I еще только-только стягивает свои силы ко дворцу. «...Взяв инициативу в свои руки, — оценивает начало восстания Г. С. Габаев, — руководители восстания имели большое преимущество перед правительством, принужденным импровизировать парирование наносимых ударов. Однако вожди восстания не сумели использовать этот свой главный козырь, из нападающих обратились в обороняющихся, давших себя окружить превосходным силам противника, упустив все благоприятные моменты. Так, появление Николая с 1-м Преображенским батальоном на Адмиралтейской площади не было встречено энергичным ударом Московского батальона, и вообще все 3 собранные восставшие батальоны только топтались и вяло отстреливались»⁷¹.

Второй час дня. К москвцам присоединяется Гвардейский экипаж моряков (1100 человек), хотя и с большим запозданием из-за эпизода с Якубовичем и нерешительности младших офицеров. Пополнение значительно

усилило ряды восставших, тем более что почти одновременно на площадь пришла рота лейб-гренадер под командованием А. Н. Сутгофа. Численно ряды декабристов все же невелики, но потенциально, как отмечал Д. И. Завалишин, они «были огромны»⁷². От Измайловского, Преображенского, Финляндского и других полков, вспоминает А. П. Беляев, к мятежному каре «приходили посланные солдаты и просили нас держаться до вечера, когда все обещали присоединиться к нам»⁷³. К тому же в этих частях были десятки офицеров — членов тайного общества. Незримая солидарность гвардейских полков была наглядно продемонстрирована и во время вялых, неохотных атак конногвардейцев и кавалергардов на ряды восставших, когда атаковавшие быстро поворачивали назад, а атакованные стреляли или вверх, или в лошадей.

В этой ситуации чрезвычайно важно было наладить связь между уже восставшими и готовыми восстать полками, попытаться присоединить к революционному войску новые силы. Но каких-либо систематических действий в этом направлении восставшие не предприняли, не были использованы даже вернейшие шансы «взбунтовать» другие соединения. Например, начальник штаба восстания Е. П. Оболенский не попытался силой своей большой власти старшего адъютанта командующего всей гвардейской пехотой освободить из-под стражи арестованных в казармах конноартиллеристов, которые подавали ему знаки, стремясь присоединиться к декабристам.

Около трех часов дня. В ряды восставших вливается новый значительный отряд лейб-гренадер, приведенный Н. А. Пановым (более 1000 человек). По пути он проследовал в Зимний дворец, в который только что пришел для охраны батальон саперов. Увидя, что это «не наши», Панов приказывает повернуть, натывается на Николая I с его свитой и, наконец, пробивается на Сенатскую площадь. Упущен еще один шанс — овладеть дворцом и арестовать царя. Последний с ужасом вспоминал об этом эпизоде, записав, что в случае кровопролития под окнами дворца «участь бы наша была более чем сомнительна»⁷⁴. «Самое удивительное в этой истории, — скажет он позднее брату Михаилу, — это то, что нас с тобой тогда не пристрелили»⁷⁵.

Приведем оценку этого эпизода с военной точки зрения Г. С. Габаевым. «Панов, ворвавшись во двор Зимнего дворца, — пишет он, — вместо того, чтобы с налета

опрокинуть только что выстроившийся батальон гвардейских сапер, растерялся и вывел grenадер, поведя их на соединение с остальными восставшими. Если у него была смелая мысль захватить дворец, он не сумел довести ее до конца. Если он шел ко дворцу, лишь рассчитывая застать там уже остальных восставших, то, найдя там вместо них противника, он не проявил инициативы, а остался под гипнозом задания идти на соединение со своими, — ошибка его меньше, но он усилил ее, не сделав попытки захватить императора, его свиту и артиллерию, стоявших почти беззащитно на Адмиралтейской площади при его проходе»⁷⁶.

Половина четвертого. Царь уже давно отдал приказание ввести в дело артиллерию. Но ее сначала привезли без зарядов. Из каре видели, что артиллерию привезли без ящиков — тут бы и броситься, овладеть ею⁷⁷. Это выбило бы у царской охраны главное оружие — правительственный лагерь на серьезную атаку восставших одними людскими силами в тот день не решился, и это несмотря почти на четырехкратный перевес в силах.

И так до самого последнего момента. До того, как в пятом часу прозвучала картечь, в течение всех четырех «звездных часов» восстания у декабристов сохранялись — хотя и минимальные — шансы переломить ход событий в свою пользу. Нужен был хотя бы один человек, взявшийся заменить неприбывшего диктатора, пусть даже из нижних чинов, четкий приказ, решительное движение, стремительный порыв — и положение могло измениться. К тому же правительственный лагерь почти все время был в смятении и нерешительности. Разумеется, после поражения декабристов можно лишь задним числом и чисто умозрительно взвешивать все шансы за и против. Но думается, не столь уж далек от истины вывод самих участников восстания о том, что «при разумном и энергическом образе действия успех был несомненным»⁷⁸.

Что же погубило декабристов?

Ответить можно кратко: революционный дилетантизм. Недаром потом многие декабристы (например, И. Д. Якушкин) с горечью говорили о «ребяческих сторонах» движения.

Дилетантизм сказывался на протяжении всего существования тайных обществ — в их организационной не-

прочности, недостатке дисциплины, сплоченности, взаимосвязи, в колебаниях при выборе момента восстания.

Организационная слабость наложила печать и на подготовку восстания 14 декабря. «Восставшие роты Московского и Гренадерского полков, — пишет Г. С. Габаев, — успели разобрать патроны, но большая часть рот гвардейского экипажа вышла без них, а когда прислали за ними, почти все они были испорчены по приказанию командира экипажа. В курки были ввинчены не боевые, а учебные деревянные кремни. Артиллерийская команда экипажа не захватила своих 4-х пушек»⁷⁹. А чего стоит один только эпизод, когда Рылеев с Николаем и Александром Бестужевыми накануне восстания ходили ночью втроем по городу, останавливая каждого солдата и каждого часового и агитируя их «для всякого случая»!⁸⁰

Дилетантизм этот был органически связан с классово-дворянской ограниченностью. В среде декабристов были постоянные колебания, можно ли «покуситься на жизнь императора», и Якубович в конце концов дал слово «не предпринимать сего»⁸¹. Булатов скажет царю 15 декабря: «Вчера с лишком два часа стоял я в двадцати шагах от вашего величества с заряженными пистолетами и с твердым намерением убить вас, но каждый раз, когда хватался за пистолет, сердце мне отказывало»⁸². Он не мог выстрелить в первого дворянина империи. . . О многих декабристах можно сказать, что вопросы чести, сословной солидарности, верности присяге и т. д. были для них едва ли не важнее самого революционного дела.

Организационная зыбкость, заговорщический дилетантизм, внутренне ощущаемые самими декабристами, подтачивали их революционную решимость, лишали необходимой революционной уверенности как на севере, так и на юге страны. Отсюда «медленность и какая-то неопределенность в движениях» Черниговского полка, как выразился декабрист И. И. Горбачевский⁸³. Отсюда и предчувствие «погибели», закрававшееся в сердце Рылеева и его товарищей перед 14 декабря, которое сильнее декабрьского мороза сковало их на Сенатской площади. Отсюда, наконец, преобладание в поведении восставших тенденций пассивности и обороны, тех самых, которые являются смертью вооруженного восстания.

А ведь в каких-то эпизодах декабристы сумели проявить активность, и тогда локальные успехи сопутство-

вали восставшим. «За несколько часов по пути к площади, — подчеркивает Я. Гордин, — декабристы провели целый ряд удачных уличных боев — рота Сутгофа пробилась сквозь эскадроны конной гвардии, колонна лейб-гренадер, которую вел Панов, штыками пробивалась к площади от самого Зимнего дворца. Гвардейские матросы опрокинули павловцев, преграждавших им путь к сенату. За последние три часа восстания мятежники отбили около десяти кавалерийских атак»⁸⁴. Но на более решительные действия восставшие так и не решились. «Что за черт! — с досадой сказал вечером 14 декабря австрийский посланник граф Лебцельтерн, находившийся, кстати, в близких отношениях с Трубецким. — Если хотели сделать революцию, то должно бы не так за это взяться»⁸⁵.

Конечно, сам этот революционный дилетантизм исторически объясним. В начале XIX в. революционное движение только искало формы, многое для него еще было в новинку: методы построения революционной организации, политическая опытность, решительность заговорщиков, твердость в борьбе за власть. Но из сказанного не следует, что уже тогда декабристы не могли всему этому научиться в ходе борьбы, даже в самый день восстания.

Могли ли декабристы «творить историю» в случае военной удачи?

Хорошо, могут сказать нам. В день 14 декабря победа была не исключена, но что в этом случае ждало декабристов дальше? Смогли бы они удержаться у власти? Оказались бы в состоянии, составляя ничтожное меньшинство общества, провести задуманные коренные преобразования российской действительности?

По данному пункту разошлись мнения таких авторитетов, как Герцен и Плеханов. Первый в письме в 1857 г. Александру II (по поводу книги барона Корфа) отвечал на указанные вопросы утвердительно. Прежде всего он отмечал упущенную конкретную возможность собственно военной победы декабристов: «Что было бы, если б заговорщики вывели солдат не утром 14, а в полночь и обложили бы Зимний дворец, где ничего не было готового? Что было бы, если б, не строясь в каре, они утром всеми силами напали бы на дворцовый караул, еще шаткий и неуверенный тогда? Много ли сил надо было иметь Елисавете I при воцарении, Екатерине II для того,

чтоб свергнуть Петра III?» Далее он ставил вопрос и в более широком, общем плане: «Нет правительства, в котором бы легче сменялось лицо главы, как в военном деспотизме, запрещающем народу мешаться в общественные дела, запрещающем всякую гласность. Кто *первый* овладеет местом, тому и повинуются безмолвная машина с тою же силой и с тем же верноподданническим усердием» (Г., XIII, 44).

Тезис Герцена о том, что в авторитарно-деспотических режимах захват верхних рычагов управления облегчает овладение всей государственной машиной, несомненно верен. И все же Герцен в значительной мере смешивает передвижку власти в верхушке феодального общества (что действительно не требует особых усилий) с коренным переворотом во всей социально-политической и экономической его структуре, на что необходимы и громадные затраты революционных сил, и определенная степень зрелости общества, а тогдашней России не хватало как того, так и другого. Во всяком случае, сами декабристы, которые стремились отнюдь не к дворцовому перевороту, постепенно все больше начинали осознавать огромность проблем, которые неизбежно встанут перед ними после военной победы (тем более наблюдая неудачный исход европейских «офицерских» революций).

Правда, в отличие от Неаполя, Пьемонта или Испании революция в огромной России, как указывали на это сами декабристы, не могла быть «прекращена чужеземною силою»⁸⁶. Но зато в российских условиях куда более значительной становилась другая, внутренняя сторона проблемы. Как поведет себя армия? Поддержит ли дворянство? Какова будет реакция народа? Эти вопросы не могли не волновать декабристов, отдававших отчет как в собственной малочисленности и недостаточной организационной дееспособности, так и в серьезной отсталости российского общества, консерватизме верхов и забитости низов. «...Такими ли машинами возможно привести в движение столь великую инертную массу?.. — спрашивал в одном из писем М. И. Муравьев-Апостол. — Допустим даже, что легко будет пустить в дело секиру революции; но поручитесь ли вы в том, что сумеете ее остановить? Нужен прочный фундамент, чтобы построить большое здание, а об этом-то меньше всего у нас думают»⁸⁷. Подобные сомнения были характерны для многих декабристов, не исключая даже Пестеля, который в последний год задумывался о возможном

уходе из общества и приостановил работу над «Русской правдой».

Эти сомнения прекрасно выражены у близкого к тайному обществу Пушкина в стихотворении, приходящемся как раз на пик кризиса декабризма — 1823 год:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич,
К чему стадам дары свободы:
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич⁸⁸.

Акцентировка кризиса декабристского мышления легла в основу концепции Г. В. Плеханова. Декабристы, по его мнению, «сознательно шли на мученичество», «они мало верили в непосредственный успех своего восстания», они решились «погибнуть для того, чтобы своею гибелью указать путь будущим поколениям»⁸⁹.

Чье же построение — герценовское или плехановское — ближе к истине?

Оценивая в исторической перспективе шансы декабризма на успех, нельзя, разумеется, забывать о главном. Декабристы, стремясь следовать примеру передового Запада, забегали со своими освободительными планами далеко вперед. Осуществление лозунга «свободы» могло означать в тех исторических условиях только свободу развития буржуазных отношений, а для России — мы уже говорили об этом — была как раз характерна *недостаточная зрелость* формационных буржуазных предпосылок. Капиталистический уклад в стране только-только обозначился, третье сословие отсутствовало, крестьянство было проникнуто монархическими настроениями. Гигантскую сложность (это покажет реформа 1861 г.) представляла в России развязка векового антагонизма крепостного и помещика. И тем не менее определенные шансы ускорить развитие страны у декабристов имелись. К сенату они шли не на простое заклятие. Думаем, они могли «творить историю» в случае военной удачи.

Вообще говоря, буржуазный по своей объективной основе переворот в России первой четверти XIX в. был мыслим по своим движущим силам только в форме *дворянского*, т. е. ограниченного, переворота. Политическое ядро этих движущих сил и могли составить декабристы. В военном отношении их тайное общество было достаточно представительно. Хотя суммарная масса войск, с которой были связаны декабристы, составляла небольшую долю колоссально разросшейся к 1825 г. армии, зато значительную часть членов тайных обществ составляли офицеры гвардии, на которую равнялась остальная армия. Офицеры-декабристы охватывали многие пехотные полки⁹⁰.

Хотя сами декабристские общества количественно были сравнительно немногочисленными (две-три сотни человек), они, несомненно, имели много точек опоры в дворянской и государственно-бюрократической среде. Уже в Союзе спасения мы видим представителей дворянской элиты, тесно связанной с сановными верхами (П. П. Лопухин, И. А. Долгоруков, Ф. П. Шаховской, С. П. Трубецкой). В Союзе благоденствия прямо представлена титулованная знать: Л. П. Витгенштейн, П. А. Голицын, Ф. П. Толстой, Ф. И. Корф, А. И. Фредерикс, И. Г. Бибиков, А. В. Капнист и др. Движение захватило крупные дворянские роды (Муравьевы, Волконские, Давыдовы, Фонвизины, Нарышкины и т. п.), ряд декабристов родственными узами был переплетен и с правительственным лагерем (Раевскими, Орловыми, Дурново и др.). Наконец, достаточно велик был круг сочувствующих, среди которых мы находим и будущих крупных государственных деятелей (П. Д. Киселев, М. Н. Муравьев и др.), что позволяло декабристам после военного успеха рассчитывать на поддержку или хотя бы нейтральность многих влиятельных групп дворянства.

Степень «укорененности» декабристов в правительственной и высшей дворянской среде, по-видимому, нуждается в дальнейшем изучении. Но характерен тот круг кандидатов во Временное правительство, который был намечен декабристами, — М. М. Сперанский, Н. С. Мордвинов, П. Д. Киселев, А. П. Ермолов и др. Это были люди, не только хорошо знавшие декабристов (Сперанский был непосредственным начальником Батенькова, Мордвинов был дружен с Рылеевым и Н. И. Тургеневым, под началом Киселева во 2-й армии служили М. Ф. Орлов и Пестель и т. п.), но и люди, известные либерализ-

мом и независимостью своих взглядов. Деятельность Мордвинова в Государственном совете воспевал в стихах Рылеев. Киселев еще в 1816 г. по собственному почину подал Александру I записку «О постепенном уничтожении рабства в России»⁹¹. А. П. Ермолов, командовавший войсками на Кавказе, был широко известен своей просветительской деятельностью, вокруг него группировались молодые офицеры, «ермоловцы»⁹². Что же касается Сперанского, то известен рассказ А. О. Корниловича (записанный Д. И. Завалишиным), который прямо спросил Сперанского о возможности его участия во Временном правительстве, на что получил ответ: «С ума вы сошли, разве делают такие предложения преждевременно! Одержите сначала верх, тогда все будут на вашей стороне»⁹³.

Словом, декабристы не были одиночками, их окружал ряд лиц и деятелей (среди которых было немало крупных фигур) пусть с менее радикальными взглядами, пусть не склонных к прямому революционному выступлению, но которые вполне могли бы после победоносного переворота так или иначе содействовать декабристам*. И даже если бы декабристские проекты, потеряв свой первоначальный радикализм в «околодекабристской среде», осуществились бы на две трети, наполовину, на одну треть — все равно это означало бы громадный сдвиг, гигантский толчок в развитии России.

Если поражения отсталых наций в войнах с нациями передовыми заставляли самодержавную власть (в Пруссии в 1807—1811 гг., в России в 1861 г.) приступать к «пересадкам» (пусть ограниченным) результатов французской революции в рамки феодальных монархий (прежде всего к освобождению крестьян)⁹⁴, то, спрашивается, почему на такую же «пересадку» не могла пойти в России 1825 г. революционная власть (пусть под эги-

* Сохранилась характерная заметка Александра I от 1824 г., говорящая о том, что он жил в страхе перед каким-то громадным заговором в России и русской армии: «Есть слухи, что пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит или, по крайней мере, сильно уже разливается и между войсками; что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют, притом, секретных миссионеров для распространения своей партии. Ермолов, Раевский, Киселев, Михаил Орлов, Дмитрий Столыпин, многие из генералов, полковников, полковых командиров, сверх того, большая часть разных штаб- и обер-офицеров» (цит. по: *Гордин Я.* Парадокс 14 декабря. — Сибирь, 1975, № 4, с. 125).

дой конституционной монархии) в союзе с тем же либеральным дворянством и, главное, при опоре на армию? В XIX в. на примере Пруссии, России (возможно, государств юга Европы) мы сталкиваемся с ситуацией «подтягивания» отсталых стран к странам более развитым с помощью тех или иных государственных мер. Именно в этом контексте и надо оценивать шансы декабристского восстания.

Уточним теперь положение о российской «исторической альтернативе» начала XIX в. Если учитывать не только идеи, планы декабристов, но и их реальные возможности, то фактическую альтернативу, судьба которой решалась 14 декабря 1825 г., можно формулировать следующим образом: либо десятилетия «николаевского застоя», либо движение по тому или иному достаточно умеренному варианту буржуазного («прусского») пути. Победил 14 декабря 1825 г. Николай I.

Трагедия не только национальная, но и всемирно-историческая

Мы помним пушкинские строки из зашифрованной десятой главы «Евгения Онегина»:

Сначала эти заговоры
Между лафитом и клико
Лишь были дружеские споры
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука.
Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов...⁹⁵

За десятилетие своего существования декабризм неизмеримо (хотя и не до конца) «повзрослел», он стал серьезным делом, поднялся на уровень всемирно-исторических задач. Декабристами, как выразился Герцен, «*деятельная Россия* доказала свое политическое совершеннолетие» (Г., XIII, 143).

Поражение декабристов явилось в истории России огромной национальной трагедией. Это факт, еще не понятый и не осмысленный нами в полной мере. Дело не только в том, что николаевский сапог раздавил цвет нации, выработанные долгими десятилетиями ее лучшие интеллектуальные силы, ее самые высоконравственные элементы. Дело еще в том, что и по своему идейному уровню, и по своим социальным позициям, и по своим

военным и политическим возможностям декабризм составлял такую реальную революционную силу, которая единожды в XIX в. могла резко повернуть в сторону прогресса тяжелое, заржавленное колесо российской истории. Поражение декабристов отбросило Россию на десятилетия назад. Но оно стало, по всей видимости, и трагедией всемирно-исторического значения. Россия, эта страна-коLOSS, не смогла превратиться из «жандарма Европы», десятилетия сковывавшего ее развитие, в страну, в существенной мере подключившуюся к идущим в Европе преобразованиям.

Да, «их дело не пропало»⁹⁶ — декабристы разбудили следующие поколения борцов. Но эти новые отряды освободительного движения собирались в гнетущих условиях самодержавно-полицейского строя долго, тяжело, трудно, и лишь в начале следующего века они окрепли настолько, чтобы пойти на штурм самодержавия.

Поражение декабристов подвело черту под короткой, но чрезвычайно важной эпохой в истории освободительной борьбы в России, — эпохой, когда было еще возможно более или менее синхронно с другими европейскими революциями ускорить буржуазные преобразования в стране. Декабристы с их просветительской ориентацией, объективной (а во многом и субъективной) буржуазной направленностью были для такого дела весьма подходящими фигурами. Разумеется, движение по буржуазному пути — об этом свидетельствует опыт всемирной истории — отнюдь не является процессом спокойным, бесконфликтным; крупные потрясения пришлось бы пережить и России. Но начнись такое более или менее свободное развитие в результате 14 декабря 1825 г., Россия была бы к началу XX в. страной не «среднеслабого» буржуазного развития, а значительно более высокого, ее путь к социализму опирался бы на более зрелые объективные и субъективные предпосылки. В этом смысле «фантастический 1826-й» имел бы большое значение для углубления, ускорения российского и международного революционного процесса.

РОССИЙСКАЯ УТОПИЯ ПАВЛА ПЕСТЕЛЯ

Павел Иванович Пестель бесспорно принадлежит к числу самых крупных фигур в декабристском движении. Он был одним из основателей Союза спасения, входил в руководство Союза благоденствия. В период, когда он возглавлял Южное общество, он был командиром Вятского пехотного полка, зрелым, сложившимся человеком. Наконец, он написал «Русскую правду», выдающийся документ декабристской мысли.

Его «особенные способности» признавали и друзья и недруги. «Дай ему командовать армиею, — говорил его военный начальник граф Витгенштейн, — или сделай его каким хочешь министром, он везде будет на своем месте»¹. И сами декабристы признавали, что в их среде «наиболее отличался своими способностями Пестель», «его светлый логический ум управлял... прениями»².

«Мы не будем ходить по розанам»

Пытаясь очертить облик Пестеля, мы выходим на одну из чрезвычайно важных для российского, как, впрочем, и для любого революционного, движения проблем — проблему вождя и ведомых, лидеров и массы. Проблема эта особенно важна и сложна для нелегальных организаций и тайных обществ, где рядовые члены, «массы», немногочисленны и порой отстранены вообще от решения принципиальных вопросов, где нет настоящих условий для демократических процедур и открытой, свободной борьбы мнений. Представитель более позднего поколения революционеров, С. М. Кравчинский, хорошо сказал о необходимости для такой организации элементов, без которых она распадается, о необходимости лидеров, не только выделяющихся среди сотоварищей своей решительностью, стратегической и тактической дальновидностью, более глубоким, чем у сподвижников, пониманием действительности, но и воплощающих в себе тип «нравственного диктатора», человека революционного долга, способного ради дела «растоптать без всякой пощады даже самые нежные сердечные струны своих товари-

шей»³. Сложность проблемы, однако, состоит в том, что «нравственный диктат» нередко перерастал в обыкновенный деспотизм, в проявление непомерного властолюбия, приводил к появлению «вождей», не имеющих объективных оснований на водительство. Это — при слабости или отсутствии традиций демократизма — могло наносить революционному делу огромный урон.

Немало соратников упрекало Пестеля в «диктаторстве», в том, что «властолюбие было в нем господствующей мыслью»⁴. По-видимому, эти упреки имели под собой определенное основание, и сам Пестель косвенно признавал их правоту. Чего стоит как-то вырвавшаяся у него фраза, что после участия во Временном правлении, призванном осуществить диктатуру в России, он предполагает «заклечься» в Киевскую лавру и приняться за веру⁵, так сказать, уединиться, чтобы отмаливать грехи. Но при всех чертах властолюбия Пестель, как никто другой, имел основания на лидерство в декабристском движении.

Пестель обладал несомненными качествами революционного вождя. Своей убежденностью, основательностью, дальновидностью он выделялся в декабристской среде. В дебатах с членами тайного общества он, по обыкновению, выступает против преждевременного «начатия действий»⁶. Еще в Союзе спасения он предлагает вести подготовку революционного выступления солидно — начать не с террористического акта против царя, а с завоевания обществом командных высот в армии и государстве. Он ратует за разработку теории и программы, хочет «энциклопедию написать». И вместе с тем это практический деятель, неутомимый организатор, человек, который не останавливается перед решительными действиями. Среди сочленов по тайному обществу он принадлежит к самым последовательным сторонникам идеи царубийства. Для этой цели он пытается организовать «гвардию обреченных» (*garde perdue* или *cogorte perdue*), поскольку, как считал Пестель, «избранные на сие должны находиться вне общества, которое после удачи своей пожертвует ими и объявит, что оно мстит за императорскую фамилию»⁷. Замысел, несомненно, из разряда макиавеллистских, но свидетельствующий о политической расчетливости его автора.

Расчетливость и гибкость практического политика проявлялись в Пестеле неоднократно. В «Русской правде» Пестель оговаривал независимость Польши рядом

условий. Но когда Южному обществу представилась возможность войти в сношения с польским тайным обществом на предмет совместных действий, Пестель был готов идти на уступки: не только предоставить безусловную независимость Польше, но и присоединить к ней ряд губерний — Минскую, Волынскую, Гродненскую и др.⁸ Никита Муравьев в своих показаниях отмечал, что «сношения сии весьма огорчили членов Северного общества, полагавших, что не должно уступать приобретений и собственности России и входить в сношения с иноплеменниками»⁹. Они не понимали, что Пестель, гораздо более ревностный централист и государственник, чем они, шел в данном случае на сознательный политический компромисс.

Этот политический прагматизм, тактическая гибкость и вместе с тем революционная решительность Пестеля страшили многих декабристов. Еще в 1817 г. на заседании, где утверждался устав Союза спасения, он весьма смутил присутствующих своими словами о том, что «Франция блаженствовала под управлением Комитета общественной безопасности»¹⁰. Но дело было здесь не просто в жестокости или чертах макиавеллизма: Пестель лучше своих соратников понимал неизбежность тех или иных форм насилия в революционной борьбе, необходимость практической дееспособности, умения маневрировать и тому подобных качеств. «Не должно думать, что мы будем ходить по розанам», — любил повторять он.

Кроме того, он глубоко верил в силу организации, тайного общества революционеров. «*La masse n'est rien, elle ne sera que ce que voudront les individus qui sont tout* (масса ничто, она будет поступать так, как захотят личности, за ними вся сила)»¹¹, — сказал он однажды в разговоре с Поджио. Безусловно, можно усмотреть здесь проявление политического волюнтаризма, субъективизма. Но одновременно здесь и учет конкретных условий той эпохи, когда трудящиеся низы действительно были «ничем»; это и выражение вынужденного революционного авангардизма передового меньшинства в России, который проходит через все допролетарское освободительное движение.

«Денежная аристократия готовит миру новые затруднения»

Точно так же по своим воззрениям Пестель во многом выходил за рамки декабризма. В них, конечно, было

еще немало от просветительского образа мышления. И вместе с тем круг социально-политических идей просветительства, ограничивающегося ориентацией на антифеодальные преобразования и создание основ буржуазного правопорядка, оказывается для него уже тесным. В его воззрениях все более пробиваются антибуржуазные, социалистические тенденции.

Вообще говоря, наличие антибуржуазных тенденций у буржуазных революционеров фиксируется довольно часто и довольно рано. Еще М. Робеспьер говорил в Учредительном собрании: «Самая невыносимая из всех — аристократия богатых, гнету которых вы хотите подчинить народ, только что освободившийся от гнета феодальной аристократии». Точно так же против «аристократии богачей» выступал в газете «Друг народа» Ж.-П. Марат¹². Эти идеи мог знать Пестель, внимательно изучавший документы французской революции. Во всяком случае, здесь, несомненно, действовала общеевропейская тенденция «предварения» утопического социализма его отдельными предтечами, «социалистами прежде социализма». Не исключено и прямое влияние на декабристов идей утопического социализма. М. С. Лунин был знаком с Сен-Симоном. В описи книг Ф. П. Шаховского, взятых им в крепость, значилось сочинение Р. Оуэна «О воспитании в Нью-Лэнарке»¹³. Интересные критические соображения по поводу буржуазного прогресса встречаются у Н. И. Тургенева. Помимо его высказывания о «несообразности» развития путем «эгоизма и корысти» приведем еще такое: «Мы обогатили себя знаниями о земле и небе, но утратили познание счастья человеческого. Мы распространили разум, но сжали сердце. . . Мы имеем или хотим иметь кареты, корабли, аэростаты, порох, машины, неизвестные древним и т. п. Но не имеем и не хотим иметь свободы»¹⁴. Однако лишь Пестель, по меткому выражению Герцена, был «социалистом прежде, чем появился социализм» (Г., VII, 200). Он единственный среди декабристов отчетливо фиксирует, что «в современной борьбе между титулованной аристократией и народными массами. . . денежная аристократия энергично подымает голову и, опираясь на груды золота, вызывая нищету среди неимущих классов, подготавливает миру новые затруднения»¹⁵. Эта антибуржуазная тенденция проявляется у Пестеля и в критике буржуазных конституций, которые «суть одни покрывала»¹⁶, и в родстве с мелкобуржуазным радикализмом Сисмонди. Б. Е. Сыроечковский убедил-

тельно показал, что в «Социально-политическом трактате» Пестеля тезис об «аристократии богатств» подкреплен положением Сисмонди о том, что показателем истинного богатства страны являются не крупные состояния, но большое число людей умеренного достатка¹⁷.

Идейная перекличка Пестеля с Сисмонди не случайна. Вспомним, что В. И. Ленин характеризовал Сисмонди, основателя «экономического романтизма», как предшественника российских народников. Знаменитый аграрный проект Пестеля, изложенный им в «Русской правде», был, несомненно, предвосхищением народнических концепций. По плану Пестеля вся земля в России разделялась на две половины — частную и общественную. Последняя составлялась из государственных и конфискованных у крупных помещиков земель и образовывала фонд, из которого одеялись участками «тягла» — крестьянские семьи, освобожденные от крепостной зависимости. Эти наделы крестьяне получали «не в полную собственность», а во временное пользование от «волостного общества», которое периодически должно было производить перераспределение земель.

Нетрудно увидеть в этом пестелевском проекте зародыши будущих народнических программ. Совершив крупное вторжение в область помещичьей собственности на землю, Пестель фактически шел к идее частичной национализации земли, к «американскому» пути развития капитализма. Сосредоточив в «волостном обществе» или «волостном управлении» права на переделы крестьянских земель, Пестель по существу воспроизвел механизм землераспределения, действовавший в поземельной крестьянской общине. Он и сам, подобно народникам, прямо ссылаясь на исторические российские традиции: аграрный проект «Русской правды», по его словам, «может большие затруднения встретить во всяком другом государстве, но не в России, где понятия народные весьма к оному склонны и где с давних времен приобыкли к подобному разделению земель на две части (т. е. на общинную и частнопомещичью. — *Авт.*)»¹⁸. Правда, у некоторых декабристов мы также можем усмотреть приближение к теме крестьянской общины. Конституция Н. М. Муравьева предоставляет государственным, экономическим и удельным крестьянам земли в «общественное (т. е. в общинное. — *Авт.*) владение»¹⁹. Но распространение этого принципа на помещичьих крестьян, да и вообще вся грандиозная идея освобождения крепостных

крестьян с землей, как подчеркивал в своих воспоминаниях А. В. Поджио, «принадлежала Пестелю одному»²⁰.

Интересно также, что аргументация Пестеля в пользу своей аграрной программы напоминает народнические рассуждения о «язве пролетариата». «... Чем меньше будет лиц, живущих лишь своим трудом, — писал он, — т. е. чем меньше будет поденщиков, тем меньше будет несчастных»²¹. По своему внутреннему замыслу это была попытка предупреждения роста буржуазных отношений, задержки их вне зависимости от ее непоследовательной редакции у самого Пестеля (сохранение частных имений, поощрение предпринимательства) и вне зависимости от реальной осуществимости ее в то время в России.

А явная антидворянская направленность «Русской правды»? Пестель предполагал не только отобрать часть земель у помещиков в пользу крестьян, но и оставить в дворянском звании лишь тех, кто оказал «Отечеству большие услуги», т. е. произвести своеобразную «чистку» среди дворянства²².

Централизм власти ради общественного «благоденствия»

Не менее ярко выделялся Пестель среди других декабристов своими политическими взглядами. Иногда основное различие между «Русской правдой» и Конституцией Никиты Муравьева усматривают в республиканской направленности первой и в монархизме второй. Но это не главная, а скорее внешняя разница. Ибо, как убедительно показал Н. М. Дружинин, муравьевская конституция была монархической лишь с «формально-правовой точки зрения, но республиканской по своему внутреннему реальному содержанию»²³. С другой стороны, сам Пестель намеревался составить главу о верховном правлении в «Русской правде» в двух вариантах — республиканском и монархическом, так, чтобы, «любую из них выбрав, можно было бы... в общее сочинение включить»²⁴. Чем объяснялась такая альтернативность? М. В. Нечкина полагает, что она была вызвана необходимостью компромисса с членами Северного общества, которые настаивали на созыве Великого собора, а последний мог принять как республиканское, так и монархическое правление²⁵. Думается, что такое предположение объясняет вопрос лишь частично, главное — в сути взглядов самого Пестеля.

Она хорошо вырисовывается уже в подготовительных работах к «Русской правде», в частности в «Социально-политическом трактате», который датируется примерно 1820 г. Анализируя предшествующие государственные устройства, Пестель усматривает их коренной порок в том, что «феодалыне аристократии», знать и духовенство, всегда стремились стать между монархом и трудовыми сословиями, дабы «всеми силами... воспрепятствовать, насколько возможно, открытому союзу монарха с народом»²⁶. Необходимо же, наоборот, убрать это ненужное и вредное посредствующее звено, ликвидировать все сословия и превратить их в один «народ», сгруппированный в территориальные, уравниваемые в правах «общины» (волости) и объединенный лишь вокруг центральной власти, престола.

Эта конструкция государственной системы чрезвычайно характерна для Пестеля, он считал ее наиболее равновесной, устойчивой, целесообразной и справедливой. Но при одном условии: центральная власть должна неукоснительно соблюдать интересы большинства, народа, на который она опирается, «защищать бедного от притязаний богатого». Вычлняя в обществе лишь две сферы, два подразделения — «верх» и «низ», Пестель следующим образом определяет их взаимоотношения. У народа есть три вида прав: политические (отношение к правительству), гражданские (взаимоотношения между людьми, главным образом по делам приобретения и раздела собственности) и частные (когда индивиды не находятся в непосредственном сношении ни с правительством, ни с другими гражданами, поскольку «дело касается исключительно их личности, как, например, свобода печати, свобода религии, свобода промысла» и т. д.). Не смешивать, различать эти права, не увеличивать одни за счет других «бесконечно важно», считает Пестель²⁷. Эта схема может показаться на первый взгляд не совсем ясной, противоречивой. Получается, к примеру, что свобода печати перестает иметь отношение к политической сфере, лишается политического содержания, а стало быть, что весьма существенно, соответствующих политико-правовых гарантий. На что же тогда член общества может использовать свои личные права? Ответ Пестеля прост: на достижение материального «преуспевания», «пропитания». Вокруг этой оси и должны вращаться все частные права индивидов, равно как и вся машина государства. «...Когда Пестель говорит о «благоденствии», «блаженстве»,

«счастье» государств или отдельных лиц, — точно подметил Б. Е. Сыроечковский, — он имеет в виду не охрану прав и свободы, не правовые гарантии независимости и уверенности, а обеспеченность существования, материальный достаток, хозяйственное процветание. . .»²⁸

Да, но интересы отдельных людей, стремящихся к обеспечению своего «достатка», могут сталкиваться, вызывая социальные конфликты и общественное неравенство. А вот здесь-то и выступает на сцену функция центральной политической власти (в данном случае монархической), которая призвана умерять эти столкновения, обеспечивать более или менее справедливое распределение общественных благ, «защищать бедного от притязаний богатого». Она может гарантировать индивиду различные права и свободы, не только «не затрагивать» их, но и всячески поддерживать, но лишь в той мере, в какой они направлены на получение индивидом «справедливой» доли общественного продукта, владение им и потребление его. Она предоставляет членам общества и определенные политические права (влияние на ход управления, участие в выборах представителей в местные и центральные органы власти, право апелляции в государственные органы), но опять-таки постольку, поскольку они связаны с решением той же задачи. Короче говоря, общий контроль за функционированием всего общественного механизма и право окончательного решения в каждом конкретном случае политический центр оставляет за собой.

На то, что такой порядок будет означать известное ограничение прав индивида с точки зрения «нормальных» буржуазных конституций, Пестель возразит: зато будет обеспечена социальная справедливость. Выиграет не только народ, материальные интересы которого будут защищены, но и правительство (в смысле стабильности, прочности своего политического положения). Удовлетворив личные права (т. е. материальные нужды) населения, правительство тем самым не будет «давать повода к увеличению» политических прав, иначе сказать, возникновению оппозиции. В этом и состоит глубинный смысл пестелевской теории разграничения прав.

В «Социально-политическом трактате» она была реализована в форме своеобразной «демократической монархии». Затем Пестель, наблюдая европейские события и активное противодействие королей революционным движениям, начинает склоняться к республиканской

форме правления. Но основная идея всеопределяющего политического центра остается неизменной.

Теперь становится ясным, почему послереволюционное политическое устройство в «Русской правде» Пестель мог предполагать в двух вариантах. Будет ли на троне подставной, существенно ограниченный в своих правах император, либо будет заседать Учредительное собрание — в любом случае им предусматривалось наличие сильной исполнительной власти, держащей в руках все нити правления. Теперь выявляется и кардинальное различие между проектами Никиты Муравьева и Пестеля. В отличие от Муравьева, в центре политического построения которого был положен принцип правового обеспечения личности, Пестель, по справедливой характеристике Н. М. Дружинина, «вдохновляется другим идеалом — всемогущего организованного государства, которое жертвует интересами отдельного гражданина во имя «наибольшего благоденствия» народного целого»²⁹. Различие состояло и в социально-классовой ориентации: в одном случае на дворянско-буржуазные верхние слои, в другом — на мещанские и крестьянско-патриархальные низы.

Номинально в «Русской правде» мы находим провозглашение почти всех тех буржуазных свобод и прав человека, какие имеются в Конституции Муравьева (свобода личности, совести, слова, печати, хозяйственной деятельности и пр.). Но многие из них сопровождаются такими оговорками, которые в значительной мере ограничивают или даже попросту обесценивают их. Объявляя право собственности «священным и неприкосновенным», Пестель вслед за тем добавляет: «Ежели кто собственности своей лишен быть должен для блага общего, то надлежит к тому приступить не иначе, как когда полномерное существует убеждение в том, что благо общее неминусуемо того требует»³⁰. Ясно, что в таком контексте о реальной гарантии собственности не может быть и речи (хотя «возмездие» в случае ее изъятия и предполагалось).

О свободе печати в проекте Муравьева говорится четко и недвусмысленно: «Всякий имеет право излагать свои мысли и чувства невозбранно и сообщать оные посредством печати своим соотечественникам. Книги, подобно всем прочим действиям, подвержены обвинению граждан перед судом и подлежат присяжным»³¹. Пестель же, вводя «свободное книгопечатание», обусловливает

его таким, например, «правилом»: «Всякое учение, проповедывание и занятие, противные законам и правилам чистой нравственности, а тем еще более в разврат и соблазн вводящие, должны совершенно быть запрещены»³². Это уже, как нетрудно заметить, иной поворот дела.

Объявляя «свободу вероисповедания», Пестель одновременно провозглашал «господствующую верою великого государства российского» православие; хотя другие религии «дозволяются», но все «действия иноверных законов», которые «противны духу законов христианских», запрещаются³³. Точно так же, декретируя «свободу промышленности» и всякой другой деятельности, Пестель одновременно не допускает, скажем, частных лиц до заведения «пансионов ни других учебных заведений»³⁴. Ничего похожего мы не находим у Муравьева.

Особенно разителен контраст в отношении к такому «эталонному» буржуазному праву, как свобода собраний. У Муравьева сказано ясно: «Граждане имеют право составить всякого рода общества и товарищества, не испрашивая о том ни у кого ни позволения, ни утверждения: лишь только бы действия оных не были противузаконными»³⁵ (т. е. опять-таки ограничение связано лишь с законом и судом). Что же касается Пестеля, то один из вождей тайного общества декабристов прямо постановлял: «Всякие частные общества, с постоянной целью учрежденные, должны быть совершенно запрещены, — хоть открытые, хоть тайные, потому что первые бесполезны, а последние вредны»³⁶. И это было вполне логично с точки зрения Пестеля: если во главу угла поставлен единый и неделимый политический центр, то естественно позаботиться о всемерном ограничении возможностей проявления политической оппозиции.

Централизаторский, авторитарный характер пестелевского правления проявляется и в решении национального вопроса. Отношения между большими и малыми народами и государствами, по Пестелю, определяются «правом народности» (т. е. стремлением малых народов, находящихся в окраинных районах большого государства, к политической независимости и одновременно их способностью сохранить эту независимость) и «правом благоустройства» (т. е. стремлением большого государства к тому, чтобы «силы маленьких народов, его окружающих, умножали силы собственные его, а не силы какого-либо другого «соседственного государства»). Применительно к России Пестель отдает решительное предпочтение «праву

благоудобства». Поэтому Финляндия, Эстляндия, Лифляндия, Курляндия, Грузия, весь Кавказ и т. д. «подлежат... праву благоудобства, долженствуя при том навеки отречься от права отдельной народности». Правда, Польше Пестель соглашался «даровать независимое существование», но оговаривал его рядом немалых ограничений: требованием, чтобы верховная власть в Польше была устроена так же, как в России, обязанностью вступить с Россией в тесный союз и т. п.³⁷

Пестель считал необходимым политику последовательной русификации всех народов: чтобы «господствовал один только язык российский», а различные «имена», названия народностей «были уничтожены и везде в общее название русских воедино слиты»³⁸. В результате, по его мнению, «все различные племена, в России обретающиеся, к общей пользе совершенно обрусуют и тем содействовать будут к возведению России на высшую ступень благоденствия, величия и могущества»³⁹.

Фиксируя эти сильные элементы централизаторства и регламентации, проходящие через «Русскую правду», необходимо иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, «Русская правда» была не конституцией в собственном смысле слова, а наказом для Временного верховного правления, которое по замыслу Пестеля должно было функционировать в переходный период после совершения революции. На опыте французской революции и последовавших за ней революционных событий в других странах Пестель приходит к выводу, что «все происшествия, в последнем полу столетии случившиеся, доказывают, что народы, возмечтавшие о возможности внезапных действий и отвергнувшие постепенность в ходе государственного преобразования, впали в ужаснейшие бедствия и вновь покорены игу самовластия и беззакония». Поэтому в преобразовании политического строя России необходима «постепенность», временная диктатура, ибо прежняя власть уже скомпрометировала себя, а сразу перейти к парламентской демократии невозможно, поскольку «начала представительного верховного порядка в России еще не существуют»⁴⁰. Пестель полагал необходимым продолжительность временной власти «не менее десяти лет». В течение данного, а возможно, и большего периода в стране должна была полностью распоряжаться группа лиц (в основном самих декабристов и доверенных их людей), которая железной рукой вводила бы основания нового социально-политического

порядка, немало ограничивая при этом права отдельных граждан. Эти ограничения касались всех, но главным острием направлялись против помещичьей и буржуазной верхушки. Об этих «аристокрациях» в «Русской правде» прямо говорится: необходимо такие социальные группы не только «не допускать», но и «уничтожить, ежели они где-либо существуют», ибо цель государства состоит «не в пристрастии к малому числу, но в елико возможном благоденствии многочисленнейшего количества людей»⁴¹.

Во-вторых, контролируя и ущемляя политические и гражданские права, Пестель предлагал взамен «многочисленнейшему количеству» населения бесспорные материальные выгоды: благосостояние, связанное с наделением землей. Аграрный проект Пестеля теснейшим образом сопряжен с его политической конструкцией. Именно раздача общественных земель, по его словам, превратит волость в настоящее «политическое семейство». Каждый гражданин у Пестеля отправляет свои политические функции только в волости (общине), избирая выборщиков в «местные собрания» губернии, а последние уже избирают депутатов в Народное вече. Раздача общественных земель, доказывал автор «Русской правды», свяжет взаимными интересами всех членов общины-волости, а кроме того, «посредством... политического семейства будет каждый гражданин сильнее к целому составу государства привержен и, так сказать, прикован. Каждый будет видеть, что он в государстве находится для своего блага, что государство о благоденствии каждого помышляет»⁴².

Пестель не сомневался, что, если Временная верховная власть сумеет ввести такой порядок, постепенно станет возможным переход к республиканскому правлению, поскольку, во-первых, члены общин научатся выбирать таких людей, которые обеспечивали бы их материальные интересы, и, во-вторых, удовлетворенное в своих материальных нуждах и освобожденное от «зловластия» дворянства и других богатых людей, население не будет стремиться — через своих депутатов или на выборах их — колебать существующее политическое устройство и его основополагающие принципы. «...Так называемая чернь... — писал он в «Русский правде», — производит беспорядки только тогда, когда ее угнетают или богатые ее подкупают и волнуют; сама же она пребывает всегда в спокойствии»⁴³.

Такова была политическая модель Пестеля — авторитарная по своим политическим методам и демократическая по своему стремлению к удовлетворению материальных интересов трудящегося большинства. И в том и в другом ракурсе она далеко отходит от политических построений других декабристов. Что это — утопия или смелый план оригинального социального реформатора? Думается, что и то и другое вместе. «Русская правда» причудливо сочетает антифеодальную направленность и одновременно отрицание, непонимание прогрессивности буржуазного строя по сравнению с докапиталистическими обществами (аристократия богатств, по словам Пестеля, «гораздо вреднее аристократии феодальной»⁴⁴); готовность к решительной ломке старого государственного аппарата и склонность к какому-то всеохватывающему централистско-бюрократическому системосозданию и контролю; объективный буржуазный характер ряда лозунгов (поощрение собственности, «свобода промышленности» и др.) с явной антибуржуазной настроенностью и элементами уравнительного и регламентаторского социализма.

Проект Пестеля безусловно был утопичен с точки зрения его реальной осуществимости в условиях того времени. И вместе с тем «Русская правда» производит впечатление своеобразной цельности и стройности, она внутренне очень логична и в чем-то даже практична. Вся политическая конструкция Пестеля во многом «российская», в ней учтен ряд характерных черт национальной истории и отечественного социально-политического климата (например, уравнительно-общинные устремления крестьянства, царистские иллюзии народа, привычка к единой сильной власти, великодержавие). «... Он знал дух своей нации», — отмечал Герцен, особенно хваля Пестеля за его аграрную программу (Г., VII, 200). Наконец, стремление нацелить государственную политику на удовлетворение материальных нужд большинства за счет ущемления меньшинства, контуры частичного «черного передела», идея революционной диктатуры, демократизм, вырастающий из централизма, и наоборот, — все это хотя и безусловно опережало свое время, но заключало в себе и элементы предвидения будущего, идеи и лозунги последующего революционного процесса в России.

Среди декабристов Пестель, пожалуй, был единственным человеком, синтезировавшим — в своей идее временной военной диктатуры — опыт Великой французской

революции и условия российской ситуации. Но тем самым он поставил перед декабризмом громадной сложности проблему, которую пытался решать еще Радищев, — проблему опасности перерождения военного правления в единовластие бонапартистского, деспотического типа.

Пестелевская идея военной диктатуры вызвала в среде декабристов резкие возражения — пример Кромвеля или Наполеона они знали не хуже Радищева. «По вашим словам, — возражал П. И. Борисов стороннику пестелевских идей М. П. Бестужеву-Рюмину, — революция будет совершена военная. . . одни военные люди произведут и совершат ее. Кто же назначит членов Временного правления? Ужели одни военные люди примут в этом участие? По какому праву, с чьего согласия и одобрения будет оно управлять 10 лет целою Россиею? Что составит его силу и какие ограждения представит в том, что один из членов вашего правления, избранный воинством и поддержанный штыками, не похитит самовластия?»⁴⁵ Аналогичные тревоги не были чужды К. Ф. Рылеву.

В этом интереснейшем с теоретической и практической точки зрения споре правы были, как это ни покажется странным, обе стороны. Пестель и его соратники имели большие основания полагать, что без концентрации власти в руках военных произвести общественный переворот в стране было невысказано. Но одновременно были правы и их оппоненты, исходившие из опыта той же Французской революции, из опыта революций нового времени. История буржуазных революций XVII—XVIII—XIX вв. показала в общем-то закономерное перерастание военной диктатуры в ту или иную форму бонапартизма даже в странах, обладавших давними демократическими традициями, даже в условиях развития этих традиций в первые годы революций. Но та же история буржуазных революций нового времени знала и исключения из общего правила: обладавший диктаторскими полномочиями полководец Американской революции Вашингтон добровольно сложил их с себя в пользу гражданской власти⁴⁶. Исторический опыт России XIX в. не смог дать ответ на этот вопрос.

У ИСТОКОВ «РУССКОГО СОЦИАЛИЗМА»

Зарождение социалистических идей в России неоднократно освещалось в исторической и историко-философской литературе. Ряд аспектов этой темы, например воздействие европейского утопического социализма на русских мыслителей 30—40-х гг., «философский социализм» (т. е. синтез идей утопического социализма с философией Гегеля) как закономерность, характерная для России, а также для некоторых европейских стран, изучены весьма основательно¹. И все же, на наш взгляд, мы не имеем на сегодня достаточной ясности в вопросе о причинах возникновения социализма в России.

В самом деле, почему в отсталой в социально-экономическом и культурном отношении стране находят поддержку идеи, возникшие на общественной почве, что называется, на порядок более высокий, причем именно тогда, когда сравнительная отсталость России в период николаевской реакции стала даже усиливаться?

Существуют различные ответы на этот вопрос. Наиболее близким из них к решению проблемы представляется тезис А. И. Володина о причинах популярности в России идей Сен-Симона, Фурье, Оуэна: *«Утопический социализм в известной степени удовлетворял столь сильную среди русских просветителей жажду в новом, антибуржуазном мировоззрении, жажду, порожденную или усиленную событиями 1830 г.»*². Но этот ответ является все же полуответом, поскольку остается необъясненным, почему же у русских передовых мыслителей возникла потребность в новом, антибуржуазном мировоззрении (которой не было, скажем, у декабристов). Аналогичным полуответом является мнение В. А. Дьякова о том, что «русский социализм» Герцена — Огарева объясняется идеализацией сельской общины³. Не понятно, откуда же появилась эта идеализация. Наконец, остается неясной связь между проникновением идей сен-симонизма и фурьеризма в Россию (30—40-е гг.) и формированием «крестьянского», «общинного» социализма (после 1848 г.).

Не претендуя на исчерпывающее объяснение, мы предложим свое понимание вопроса. Оно исходит из того,

что интерес к западному утопическому социализму и зарождение «русского социализма» — это звенья одного и того же закономерного процесса развития общественной мысли в России, связанного с решением объективных общенациональных задач, стоявших перед освободительным движением.

Это, естественно, не означает, что зарождение социалистической мысли в России объясняется только национальными моментами. «...Возникая на той или иной национальной почве, всякое социалистическое учение является *по существу своему* интернациональным»⁴. Ибо в любом социалистическом учении есть универсальное содержание — ориентация на разрешение социальных проблем (уничтожение эксплуатации человека человеком), общих для всех народов. Поэтому сразу же по возникновении социалистических учений в развитых странах начинается процесс их распространения по всему свету, в том числе и в странах, отставших в своем развитии. В свою очередь возникающее в каждой новой стране социалистическое течение становится составной частью мирового социалистического движения. Эта интернационалистическая по своей сути миссия социалистических теорий достаточно подробно выяснена в марксистской литературе, поэтому здесь нет необходимости специально рассматривать ее. Мы остановимся на другом аспекте проблемы, а именно на том, что, попадая в конкретные условия той или иной страны, социалистические идеи так или иначе приобретают определенную *национальную* форму, окраску, специфику, вытекающую из необходимости приспособить общие положения социализма к особенностям данной страны; что разрешение социальных задач (или стремление к такому разрешению) одновременно является и формой разрешения задач национального развития. Этой стороне дела в литературе, посвященной истории социалистической мысли, до сих пор уделялось меньше внимания.

«Жажда в нсвом мировоззрении»

Начнем с того, что идейно-духовные процессы в 30—40-х гг. могут быть поняты только в соотношении с декабризмом, как прямая или косвенная *реакция на декабризм*. Это отправная точка, без которой не будет обнаружена внутренняя направленность поисков мыслителей последекабристского периода. Поражение дека-

бристов мучительно переживалось передовой общественностью в России. Вместе с тем для многих современников и последующих деятелей было ясно: поражение было далеко не случайным. Политический волюнтаризм, чисто просветительская уверенность, что достижения «разума» могут быть легко перенесены в любую общественную среду, некритическое следование западным политическим формам и методам действий — вот в чем усматривается корень неудачи восстания 14 декабря. «...Молодое поколение... — писал П. Я. Чаадаев, — мечтало о реформах в стране, о системах управления, подобных тем, какие мы находим в странах Европы... Никто не подозревал, что эти учреждения, возникнув из совершенно чуждого нам общественного строя, не могут иметь ничего общего с потребностями нашей страны...»⁵

Сходные мысли можно найти у А. С. Пушкина, И. В. Киреевского, Н. И. Надеждина, В. Г. Белинского и ряда других деятелей 30-х гг. Но в таком случае возникали вопросы: каковы закономерности исторической эволюции в целом? В чем заключаются особенности России и адекватный ее условиям путь развития? Эти вопросы волновали передовых людей 30—40-х гг., и в поисках ответа на них они напряженно вглядывались в историю и современность своей страны, в события, происходящие на Западе.

Отечественная действительность приносила им мало утешения. Порицая декабристов или не считая возможным идти по их пути, они вместе с тем прекрасно понимали, что после их поражения Россия отброшена, как писал тот же Чаадаев в «Философическом письме», «на полстолетие назад», что то, против чего боролись декабристы («самовластие» и «рабство»), расцвело еще более пышным цветом. Поэтому восприятие окружающей действительности не могло не наполнять их глубоким пессимизмом. Ощущение «неизмеримой» (Г., II, 292) отсталости своей страны, осознание невозможности естественными средствами и в обозримые сроки ликвидировать эту отсталость порой вызывало у людей последекабристского времени подлинное отчаяние. «Наше поколение, — восклицал в частном письме Белинский, — израильяне, блуждающие по степи и которым никогда не суждено узреть обетованной земли» (Б., XI, 528). С той же болью и горечью писали о «нашей общественной жизни», о «нашем поколении» А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов.

Но человек не может долго существовать в состоянии безысходности. Именно самый глубокий пессимизм рождает надежду, стремление к разрешающему исходу. И стремление это в рассматриваемую эпоху питалось тем, что можно назвать *национально-патриотическим* чувством.

Подъем национального сознания в России резко стимулировали события 1812 г., он в той или иной мере отразился в мирозерцании «поколения 14 декабря». Но в последующую эпоху этот процесс становится еще более явным, принимает порой гипертрофированные, обостренные формы, проникает в различные круги общества и идейные направления. Сравнение России и Европы, поиски закономерностей и смысла национальной истории, задача преодоления отсталости и вместе с тем специфика ее решения в застойных социально-политических структурах николаевского самодержавия — эти темы приобрели в 30—40-х гг. поистине кардинальное значение.

Власти довольно быстро заметили эти настроения. «Молодежь, т. е. дворянчики от 17 до 25 лет, — говорится в докладе канцелярии Бенкендорфа Николаю I, — составляют в массе самую гангренозную часть империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух, выливающиеся в разные формы и чаще всего прикрывающиеся маской русского патриотизма»⁶.

По своей объективной направленности национализм последекабристского (как и декабристского) периода во многом был буржуазным. Но эта формула далеко не исчерпывает его характеристику. Думается, что есть все основания выделить в особый тип национализм в странах запоздалого буржуазного развития — второго эшелона капитализма (как Россия или Япония) и третьего (страны Азии, Африки и Латинской Америки в XX в.). В условиях позднего развития капитализма, при преобладании традиционных или полутрадиционных структур, этот тип национализма складывается как сложный симбиоз не только буржуазных, но и докапиталистических и антикапиталистических элементов, причем не как их простое эклектическое соединение, а как специфический идейно-культурный синтез, выполняющий определенную историческую задачу — идейно обеспечить преодоление отсталости, служить импульсом развития становящейся нации. Для такого рода национализма всегда характерна амбивалентность: констатация отсталости соседствует

с отрицанием ее, со всемерным возвеличением своей родины, ее прошлого, ее культуры, что выступает как своего рода идейно-духовная компенсация. Критическое отношение к отечественной действительности сочетается с искренней, волнующей любовью к Отечеству, с глубокой верой в его будущее и в его историческое предназначение. Это как бы особое видение своей страны, особая призма или цветное стекло, к которому прибегают всякий раз, когда грубые и острые выступы реальной действительности начинают слишком резать глаза.

Передовые люди 30—40-х гг. любили Россию именно этой, лермонтовской «странной любовью». После прочтения «Мертвых душ» Герцен записывает в дневнике: «Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле, и там и тут одно утешение в вере и уповании на будущее; но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование *ins Blaue* *, а имеет реалистическую основу, кровь как-то хорошо обращается у русского в груди. Я часто смотрю из окна на бурлаков, особенно в праздничный день, когда, подгулявши, с бубнами и пением они едут на лодке; крик, свист, шум. Немцу во сне не пригрезится такого гулянья; и потом в бурю — какая дерзость, смелость, летит себе, а что будет, то будет» (Г., II, 214).

Под этими словами вполне мог подписаться бы и сам автор «Мертвых душ», прославивший знаменитую русскую «птицу-тройку». Факт поразительный, но вполне соответствующий социально-психологической диалектике развития общественного сознания в отсталой стране: именно в эпоху николаевщины, когда у россиян были все основания для пессимизма и унижения перед развитыми странами, происходит, пожалуй, самый значительный и сильный во всем столетии подъем национально-патриотических чувств. Славяне, восторженно пишет Н. П. Огарев в декабре 1841 г., — «это великое племя и будет еще играть огромную роль в судьбах человечества. В славянине ты никогда не встретишь немецкой филистрезности, французской поверхностности, английского себялюбия, итальянской вертлявости; но в нем все: немецкий спекулятивный ум, французская гуманность, английская практичность, итальянская хитрость. Даже способность музыкальная, где чувство гармонии и мелодии равносильны, ставит его выше немцев и итальянцев в музыке. Ты

* На небеса.

скажешь, что славяне ничего еще не произвели в музыке, как немцы или итальянцы; да, славяне еще ничего не произвели. Они еще не жили. Они будут жить и производить... С венского пребывания и с путешествия по славянским землям я в припадке славянизма. Даже на многие народы стал смотреть с другой точки зрения. А Россия-то моя глава, средоточие всего поколения. Черт возьми! не сердись на меня, друг мой! Я говорю об этом оттого, что я этим одушевлен, просто крылья новые выросли...»⁷.

Подобные выражения чувств можно обнаружить и у других значительных фигур 30—40-х гг. — В. Г. Белинского, И. В. Киреевского, К. С. Аксакова, В. С. Печерина, А. В. Кольцова, М. И. Глинки и т. д. Это было общее настроение эпохи. Национально-патриотические чувства составляли как бы единый фон, почву, на которой взрастали самые различные концепции и направления*.

Мы говорили о присущей национализму внутренней противоречивости. Последняя выражалась и по отношению к Западу. Национализм любой отставшей в своем развитии страны возникает именно из осознания этой отсталости, из невыгодного для своей страны сравнения ее с более развитыми странами. Но национализм немислим и без другого — стремления как-то затушевать это превосходство, всячески подчеркивать различные национальные достоинства, с одной стороны, а с другой — отыскивать недостатки в более развитых общественных структурах других стран.

В укреплении подобных настроений сыграла немалую роль реакция на июльскую революцию 1830 г. во Франции, после которой, как вспоминал позднее А. И. Герцен, «в России потеряли веру в политику; там стали подозревать бесплодие либерализма и бессилие конституционализма» (Г., XII, 76). Вместе с тем реакция на события 1830 г. скрывала нечто более глубокое: настроенность на критическое отношение к складывающейся на Западе буржуазной цивилизации, стремление обнаружить в ней те или иные пороки (даже по сравнению с обществами докапиталистического типа).

Это стремление не могло не найти себе пищу. Социальные контрасты и противоречия нарождающегося ка-

* Поэтому необходимо отличать национально-патриотические идеи передовых мыслителей 30—40-х гг. от шовинистической, панславистской идеологии царизма, теории «официальной народности» С. С. Уварова и т. п.

питализма на Западе были видны невооруженным глазом. В статье «Путешествие из Москвы в Петербург», написанной в форме комментария к знаменитой радищевской книге «Путешествие из Петербурга в Москву», А. С. Пушкин, в общем соглашаясь с Радищевым в его протесте против крепостного права в России, отсутствующего в «западных землях», замечает одновременно, что положение трудового люда на Западе скорее ухудшается по сравнению с русским крестьянином. «Прочтите жалобы, — пишет он, — английских фабричных работников: волосы станут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство, с одной стороны, с другой какая страшная бедность! Вы думаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смита или об иголках г-на Джаксона. . .»⁸

«Язва пролетариата» — это понятие в 30—40-х гг. для русских мыслителей стало своего рода символом, обозначением внутренней несостоятельности европейского буржуазного прогресса. Русские мыслители фиксировали и другие оборотные стороны буржуазного развития: гипертрофированное чувство собственности, эгоизм, индивидуализм, преобладание торгашеского подхода и т. д.

Под этим углом зрения передовая российская общественность 30—40-х гг. восприняла и все более распространявшиеся в Европе идеи утопического социализма.

А. И. Володин в своих работах убедительно показал следы определенного влияния передовых западных концепций Сен-Симона, Фурье, Оуэна у П. Я. Чаадаева, В. Ф. Одоевского, А. С. Пушкина, В. С. Печерина, С. А. Раевского и других видных русских людей данной эпохи, хотя большинство их в целом не разделяло социалистических идей⁹. Вместе с тем имело место и признание утопическо-социалистических построений, особенно ярко выраженное у Герцена, Огарева и их друзей.

Чем же был вызван интерес различных представителей российского образованного общества к европейскому утопическому социализму? Думается, во многом — если поместить его в контекст господствовавших в то время национально-патриотических настроений — фактом *самокритики европейской цивилизации*, указанием на противоречия буржуазного прогресса в развитых странах. «Европа требует новой жизни»¹⁰, — констатирует Огарев

в рукописи 30-х гг. Но тем самым как бы сокращалась дистанция, отделявшая Россию от развитого мира; сама эта развитость подвергалась сомнениям и переоценке; отпала необходимость перенимания того, что содержало в себе неустранимые внутренние изъяны; возникала возможность и необходимость поисков каких-то иных путей ликвидации национальной отсталости.

Итак, переоценка декабристского опыта и отрицание «политики» в смысле возможности перенесения западных форм; поиски глубинных исторических закономерностей и путей исторического действия, не сводящихся к просветительскому «разумному совершенствованию» извне; сознание «неизмеримой» отсталости России и преодоление этого пессимизма в национально-патриотическом одушевлении; пиетет к развитой Европе и вместе с тем все более активная фиксация пороков буржуазной цивилизации — таковы были исходные элементы, характерные для общего идейного климата в передовой среде русского общества последекабристского периода. Их надо было объединить в единую концепцию, которая заключала бы решение стоящих перед страной задач. Это и пытались сделать — каждый на свой лад — представители различных общественных течений и групп.

П. Я. Чаадаев: «упование в горести»

Первая попытка такого рода принадлежит Чаадаеву.

Исходное настроение «Философических писем» близко к безысходному пессимизму. Их автор ощущает себя живущим в Некрополисе, в мертвенном и застойном обществе, которое не имеет своего культурно-творческого прошлого, существует лишь бездумными заимствованиями, коснеет в глубоком «рабстве». Отторгнутая от западного христианства в результате разделения церковью, Россия оказалась лишенной живительного источника развития. Напротив, Европа сумела достичь столь высокого расцвета благодаря напряженной многовековой идейно-культурной работе, связанной прежде всего с религиозными поисками; именно на пути разрешения проблем «истины» и «веры» западная цивилизация обрела «идеи долга, закона, правды, порядка», т. е. то, чего столь остро не хватало России. Эта суровая, сгущенная, если не сказать безнадежная, оценка русской действительности, высказанная в «Философических письмах», произвела огромное впечатление на умы соотечественников.

Многие современники и потомки воспринимали Чаадаева как западника, чуть ли не апологета Европы и католицизма. Это верно лишь наполовину: чаадаевский критицизм по отношению к собственному отечеству был движим самой искренней и горячей любовью к нему, он напряженно искал выхода, способов преодоления национальной отсталости. Выход нашелся довольно скоро. В письме к А. И. Тургеневу в 1835 г. (т. е. после написания «Философических писем») Чаадаев начинает с прежних положений об историко-культурной бедности российской цивилизации, о том, что мы в отличие от Запада «никогда не были движимы великими верованиями, могучими убеждениями. . . Что мы открыли, выдумали, создали?» и т. д. Но вывод из этого следует неожиданный: «Поэтому нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться в истине. Тогда мы пойдем вперед, и пойдем скорее других, потому что пришли позднее их, потому что мы имеем весь их опыт и весь труд веков, предшествовавших нам»¹¹.

Здесь едва ли не впервые высказан тезис, оказавший огромное влияние на всю последующую общественную мысль в России: отсталость есть не только минус, но и огромное преимущество. Для национально-патриотического сознания это было своего рода открытием, настроившим на весьма оптимистические перспективы. В том же письме А. И. Тургеневу Чаадаев простирает свои мечты настолько далеко, что утверждает: «Мы призваны. . . обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого. Не смейтесь: вы знаете, что это мое глубокое убеждение. Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы, как мы уже сейчас являемся ее политическим средоточием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу»¹².

Но на чем же основано преимущество отсталости? Во-первых, как это явствует из указанного письма, на возможности перенимать готовое, начинать сразу с высокой фазы развития, достигнутой другими нациями. Другой пункт Чаадаев формулирует спустя два года в письме к тому же А. И. Тургеневу: по сравнению с западными народами «мы имеем. . . великие преимущества, бескорыстные сердца, простодушные верования, потому что мы не удручены, подобно им, тяжелым прошлым, не

омрачены закоснелыми предрассудками и пользуемся плодами всех их изобретений, напряжений и трудов»¹³. Итак, второе преимущество — свежесть, наивность, неиспорченность, открытость любому позитивному влиянию, историческая юность, необремененность долгим, вековым развитием.

Тему преимущества отсталости Чаадаев подробно развивает в «Апологии сумасшедшего». Он сравнивает Россию не только с Западом, но и с Востоком. Россия занимает между ними срединное положение. «Мы живем на Востоке Европы — это верно, и тем не менее мы никогда не принадлежали к Востоку»¹⁴. Хотя христианская Европа и восточные цивилизации, по мысли Чаадаева, несоизмеримы по своей значимости и по уровню своего культурного потенциала, но их объединяет одна черта: они выработали сложный и разветвленный комплекс традиций, которые уже затвердели и окостенели, препятствуют дальнейшему росту, и это свидетельствует об их «завершенной жизни»¹⁵, об исчерпанности отпущенного им жизненного цикла.

Напротив, Россия, по словам Чаадаева, — это огромная *tabula rasa*, готовая к стремительному культурному старту. Ибо «мы девственным умом встречаем каждую новую идею. Ни наши учреждения, представляющие собой свободные создания наших государей или скудные остатки жизненного уклада, вспаханного их всемогущим плугом, ни наши нравы — эта странная смесь неумелого подражания и обрывков давно изжитого социального строя, ни наши мнения, которые все еще тщетно селятся установиться даже в отношении самых незначительных вещей, — ничто не противится немедленному осуществлению всех благ, какие Провидение предназначает человечеству. Стоит лишь какой-нибудь властной воле высказаться среди нас — и все мнения стушевываются, все верования покоряются и все умы открываются новой мысли, которая предложена им»¹⁶.

Вот и еще одно преимущество отсталости: воспитанная веками привычка повиноваться в принципе может обеспечить высокую социальную, политическую и культурную мобильность. «Рабство», столь решительно обличенное Чаадаевым в первом «Философическом письме», начинает становиться под его пером не только недостатком, но и достоинством. «Просмотрите от начала до конца наши летописи, — констатирует он, — вы найдете в них на каждой странице глубокое воздействие власти, непре-

станное влияние почвы, и почти никогда не встретите проявлений общественной воли. Но справедливость требует также признать, что, отрекаясь от своей мощи в пользу своих правителей, уступая природе своей страны, русский народ обнаружил высокую мудрость»¹⁷. Ибо, сохранив силы и воспитав в себе дисциплину повиновения, русская нация оказывается потенциально способной на быстрый рывок в своем развитии. Более того, автор «Апологии сумасшедшего» глубоко убежден, что «мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество»¹⁸ *.

Значение Чаадаева для освободительной мысли 30—40-х гг. велико. Он не только прервал «рабье молчание», произвел, по герценовскому выражению, «выстрел в темную ночь». Он один из первых продемонстрировал искомым его современниками механизм перехода от пессимизма к оптимизму и надежде. Он первый заговорил о преимуществах отсталости, о том, что в неразвитости таятся потенции развития, в ничтожестве — могущество, в рабстве — перспектива обрести свободу. И эти его идеи вполне оценили современники. Герцен записывает в 1844 г. в дневнике о своем согласии с Чаадаевым относительно того, что необходимы переход от безнадежности к надежде, «поднятие надежды в добродетель». «Эту сторону упования в горести, твердой надежды в, повидимому, безвыходном положении должны по преимуществу осуществить мы (т. е. Россия. — Авт.). Вера в будущее своего народа есть одно из условий одействотворения будущего. Былое сердцу нашему говорит, что оно не напрасно, оно это доказывает тем глубоко трагическим характером, которым дышит каждая страница нашей истории» (Г., II, 339). Чаадаевское «упование в горести», опиравшееся на идею преимущества отсталости, не осталось не замеченным родоначальником «русского социализма».

* Заметим, кстати, что данная фраза Чаадаева вполне может быть истолкована как намек на европейский утопический социализм — «проблемы социального порядка», «важнейшие вопросы, какие занимают человечество». Как известно, Чаадаев следил за европейской социалистической мыслью, в частности был знаком с работами Ф. Ламеннэ,

«Нам стыдно было бы не перегнать Запада»

Если Чаадаев усматривал преимущества России в ее отсталости и с ней связывал шансы будущего, то славянофилы подвергли сомнению саму эту отсталость, подчеркивая преимущества российского прошлого, достоинства русской цивилизации. Славянофильство, в противовес западничеству, явилось наиболее ярким выражением националистических тенденций 30—40-х гг.

В статье «В ответ А. С. Хомякову» (1839 г.) И. В. Киреевский утверждал: особенностью западной цивилизации является «торжество рационализма» «над внутренним духовным разумом» — односторонность, которая в конечном счете привела к утрате веры, всеобщему эгоизму, индивидуализму, гипертрофированному утилитаризму и собственничеству, поскольку христианское чувство на Западе «искажилось своемыслием»¹⁹. В России же, наоборот, всегда имел место примат веры над разумом, разума над рассудком, общинности над индивидом. «Человек принадлежал миру, мир ему»²⁰. Не укоренился в России и институт собственности, прежде всего собственности на землю.

Еще более решителен в реабилитации российской истории А. С. Хомяков. В статье «О старом и новом» (1839 г.) он подымает на щит «прежнюю жизнь России», где существовали и грамотность простых людей, и суд присяжных в северных областях, и деятельное монастырское духовенство. И хотя Хомяков не закрывает глаза на темные стороны русской истории и жизни (крепостничество прежде всего), его статья заканчивается фанфарами: «Нам стыдно было бы не перегнать Запада. Англичане, французы, немцы не имеют ничего хорошего за собою. Чем дальше они оглядываются, тем хуже и безнравственнее представляется им общество... Западным людям приходится все прежнее отстранять как дурное, и все хорошее в себе создавать; нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его в сознание и жизнь. Надежда наша велика на будущее»²¹.

Это националистическое, «черно-белое» противопоставление Запада и России постепенно нарастает у славянофилов, доходя порой до геркулесовых столпов ослепления. Временами они приходили к проповеди откровенного культурного изоляционизма — не только такие, как П. В. Киреевский, о котором Герцен сказал, что «в его угрюмом национализме было полное, оконченное отчуж-

дение всего западного» (Г., IX, 161), но и такие, как И. В. Киреевский, который при основании славянофильства трезво предупреждал своих единомышленников: «Можно ли без сумасшествия думать, что когда-нибудь... истребится в России память всего того, что она получила от Европы в продолжение двухсот лет?» Однако спустя некоторое время в статье «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» он уже предлагал образование в России, «созидаемое доныне из смешанных и большей частью чуждых материалов», перестроить «из чистых собственных материалов. Тогда возможна будет в России наука, основанная на самобытных началах, отличных от тех, какие нам предлагает просвещение европейское»²².

Но было бы односторонностью судить о славянофилах только на основании подобных перегибов. Сами славянофильские деятели нередко признавали их и откровенничали от них. «Сделай одолжение, — писал Хомяков в письме приятелю, — отстрани всякую мысль о том, будто возвращение к старине сделалось нашею мечтою»²³. При всей своей идеализации допетровской России, патриархальности и домостроевщины славянофилы не могли отрицать и не отрицали необходимости привнесения в Россию технического прогресса, образованности, демократических реформ. Разжигание националистического самовозвеличения служило как бы идейным «энергообеспечением» национального развития, преодоления отечественной отсталости, которую славянофилы пусть подспудно, пусть нехотя, но все же признавали.

Не случайно в их трудах присутствует уже знакомая нам тема преимуществ отсталости. Как и Чаадаев, славянофилы усматривали одно из таких преимуществ в возможности перенимать готовые достижения развитых народов. Но в отличие от Чаадаева славянофилы добавляли к преимуществам отсталости различные позитивные и жизнеспособные, по их мнению, элементы русского традиционного социально-культурного наследия. Главнейшим из них они считали крестьянскую общину. «Община есть одно уцелевшее гражданское учреждение всей русской истории, — писал А. С. Хомяков. — Отними его, не останется ничего; из его же развития может развиваться целый гражданский мир»²⁴.

Община привлекала славянофилов не из одних националистических побуждений. В ней они усматривали плодотворный зародыш и ячейку будущего развития по мо-

делям, навешанным опять же Европой. В глазах славянофилов община была средством предупреждения «язвы пролетариата», она олицетворяла для них начало коллективизма, которого так не хватало Западу. Иначе говоря, община рассматривалась славянофилами в свете тех антибуржуазных устремлений, которые возникали у русских мыслителей 30—40-х гг. при анализе тенденций европейской общественной жизни и мысли, в частности учений утопического социализма. Община, писал тот же А. С. Хомяков, должна быть всеобщей формой социального бытия России, и «община промышленная есть или будет развитием общины земледельческой». В России уже есть начальная форма первой — артель, куда «собираются люди, которые с малых лет уже жили по своим деревням жизнью общинною». Правда, добавляет Хомяков, «я не знаю ни одного примера совершенно промышленной общины, так сказать, фаланстера, но много есть похожего; например, есть мельницы, эксплуатируемые на паях, есть общие деревенские ремесла...»²⁵.

Позже славянофилы, указывая на такое преимущество России, как наличие поземельной общины, говорили чуть ли не о лидирующей роли России в том антибуржуазном движении, которое стало утверждаться с появлением социалистических идей в Европе. В 1847 г., полемизируя с «Современником», Ю. Ф. Самарин подчеркивал, что теперь в Европе «взоры многих, в том числе и Жорж Занда, обратились к Славянскому миру, который понят ими как мир общины, и обратились не с одним любопытством, а с каким-то участием»²⁶.

Не случайно в содержательной статье, сохранившей свое значение и по сию пору, С. С. Дмитриев убедительно показал, что раннее славянофильство было весьма тесно связано с западными утопическо-социалистическими идеями²⁷. В работах теоретиков славянофильства неоднократно сочувственно цитировались и разбирались работы А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна, Л. Блана, Ж. Санд, П.-Ж. Прудона. И современники неоднократно подтверждали сопричастность славянофильства социализму. «А социализм... — писал А. И. Герцен в работе «О развитии революционных идей в России», — разве не признан он славянофилами так же, как нами? Это мост, на котором мы можем подать друг другу руку» (Г., VII, 248).

История социалистической мысли, как показали в

«Коммунистическом Манифесте» основоположники марксизма, знает немало разновидностей социализма — феодального, клерикального, мелкобуржуазного и т. д. Применительно к учению классического славянофильства, думается, есть все основания говорить об элементах дворянско-романтического, религиозного социализма, хотя утопический социализм был в учении одним из компонентов, тенденций.

Славянофилы «первого поколения» оказали сильное воздействие на современную им и последующую передовую общественную мысль. Даже Белинский, наиболее энергично полемизировавший со «славянами» в известной статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года», находил в их воззрениях «много дельного». Что же касается Герцена, то родоначальник «русского социализма» прямо признавал, что в этой области славянофилам «принадлежит честь и слава почина» (Г., XV, 147). Оценивая славянофилов как «друго-врагов», он писал: «...с них начинается *перелом русской мысли*. . . Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была *одна любовь, но неодинакая*. . . одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно*» (Г., IX, 170).

От сенсимонизма — к «русскому социализму»

Перенос европейского утопического социализма на национальную почву России был осуществлен А. И. Герценом и Н. П. Огаревым.

Основатели социалистической мысли в России начинали свой идейный путь, приняв эстафету от декабризма. Еще подростками они дали «аннибалову клятву» продолжить дело мучеников 14 декабря. И в студенческую аудиторию они вошли, как вспоминал позднее Герцен, «с твердой целью в ней основать зерно общества по образу и подобию декабристов. . .» (Г., X, 317). Но очень скоро они убедились в нереальности этой цели. Декабристское наследие уже не пользовалось признанием шедшего вслед поколения, и сами их мысли вскоре приняли иной оборот.

Речь идет о сенсимонизме, который завладел умами молодых Герцена, Огарева и их сторонников в начале 30-х гг. Можно указать на разные причины, по которым учение Сен-Симона первоначально привлекло их. Здесь были мотивы морально-этического порядка — сенсимонизм открывал перспективу *«освобождения женщины»* и *«оправдания, искупления плоти»* в противовес религиозному ханжеству (Г., VIII, 161). Сказался и юношеский максимализм: например, Огарев нашел в сочинениях утопических социалистов мысли, созвучные своим мечтам о «полном усовершенствовании рода человеческого»²⁸. Вместе с тем основную роль сыграл тот идейный климат последекабристского периода, о котором шла речь выше: отрицание «политики» как средства непосредственного заимствования европейских конституционных форм, поиски иных путей преодоления отечественной отсталости, осмысление закономерностей исторического прогресса вообще и пр.

Отчасти под влиянием утопического социализма, отчасти как плод собственных размышлений антибуржуазная направленность у Герцена и Огарева постепенно становится ведущей. А. И. Володин точно подметил, что в работах и письмах молодых Герцена и Огарева часто критически упоминается понятие «толпа» как символ буржуазного мещанства — индивидуализма, эгоизма, собственности²⁹. Так же как и другие их современники, Герцен и Огарев находятся под сильным впечатлением «язвы пролетариата» в Европе. «В Силезии бунтуют работники, ломают машины, бросают изделия etc, etc, — отмечает Герцен. — Семья вырабатывает там в неделю 16 Gute Gr[oschen]*. . . И после этого фурийеры неправы, что обличили меркантилизм и современную индустриальность как сифилитический шанкер, заражающий кровь и кость общества!» (Г., II, 360).

Выступая против европейского буржуазного мещанства, «ничем не обуздываемого стяжания», Герцен очерчивал растущий классовый антагонизм между пролетариатом и буржуазией, который он позже, в своих письмах с Авепие Маригну, воспроизвел, разделив «Париж, за ценсом стоящий» и Париж, «за ценс стоящий». Он утверждает в том, что «необходимость социального переворота теперь стала очевидна, враги развития, как Гизо, понимают и трепещут. Изменение права собствен-

* грошей. — Авт.

ности, коммунальная жизнь, организация работ — вопросы, занимающие всех, видящих далее носа...» (Г., II, 289).

Еще в годы, предшествующие революции 1848—1849 гг., Герцен уверен, что нарастающий социальный кризис Запада чреват «очищающей» катастрофой. «Поразительное сходство современного состояния человечества с предшествующими Христу годами... — записывает он в 1844 г. — В наше время социализм и коммунизм находятся совершенно в том же положении, они предтечи нового мира общественного, в них рассеянно существуют *membra disjecta* * будущей великой формулы...» (Г., II, 344—345).

Вместе с тем Герцен и Огарев не принимают полностью конкретных социальных проектов европейского утопического социализма. По мнению Герцена, в них «чего-то недостает. У Фурье убийственная прозаичность, жалкие мелочи и подробности, поставленные на колоссальном основании... У сенсимонистов ученики погубили учителя. Народы будут холодны, пока проповедь пойдет этим путем; но учения эти велики тем, что они возбуждают, наконец, истинно народное слово, как евангелие» (Г., II, 345). О Консидеране: «Хорошо, чрезвычайно хорошо, но не полное решение задачи; в широком и светлом фаланстере их тесновато...» (Г., II, 361).

Нельзя не отдать должное Герцену: он очень быстро разглядел элементы «казарменности» в утопических социалистических учениях и последовательно выступал против них в дальнейшем. Но неприятие Герценом конкретных общественных форм, предлагавшихся первыми европейскими теоретиками социализма, было связано, думается, и с другим обстоятельством — поиском путей перенесения социалистических идеалов в Россию, форм, адекватных российским национальным условиям.

Очень рано у родоначальников социализма в России появляется идея желательности минования Россией буржуазной стадии — зародыш последующей теории некапиталистического развития. «*Tiers état*, — пишет в 1835 г. Огарев Н. Х. Кетчеру, — может у нас со временем образоваться из почетных граждан. Но нужен ли, но полезен, но справедлив ли *tiers état*? Я думаю, ты знаешь, что нет. Итак, образовать общины — *dans la lie du*

* разъединенные члены. — Авт.

реuple *»³⁰. Конечно, вряд ли можно истолковать здесь термин «община» в том значении, в каком он употреблялся Герценом и Огаревым позднее, при выработке ими теории «крестьянского социализма», — скорее здесь имеется в виду нечто вроде фурьеристских фаланстеров. Но само направление мысли, отраженное в приведенном тексте, знаменательно.

Как же происходил в сознании пионеров русской социалистической мысли процесс складывания специфической формы «национального социализма»? Думается, что сильным импульсом их поисков было национально-патриотическое чувство — не просто любовь к своей стране, но глубокая вера в ее будущее, в ее развитие, в ее социальные и культурно-творческие потенции. При этом уже тогда у них зарождались сомнения в перспективности исторической эволюции буржуазных стран Запада, «мещанской» цивилизации. В письме Н. Х. Кетчеру от 20 августа 1838 г. Герцен пишет: ««Об Америке», соч. Токвиля нагнало скорбь и грусть на меня. Он в заключении говорит: «Две страны несут в себе будущее: Америка и Россия». Но где же в Америке начало будущего развития? Страна холодная, расчетливая. А будущее России необъятно — о, я верую в ее прогрессивность» (Г., XXI, 386).

Эта уверенность в том, что России предстоят великие свершения, что она призвана осуществить самые передовые социальные начинания человечества, становится у Герцена неотъемлемым компонентом сознания, вдохновляет все его идейные построения. «... Помнишь наши долгие разговоры перед Февральской революцией, — писал Герцен М. А. Бакунину, — в которых я, как прозектор, указывал рост смерти западного «старика», а ты с надеждой и упованием — рост едва обличившейся жизни славянского недоросля (т. е. перспективу будущего союза славянских стран. — Авт.). Я и в него не очень верил, а верил в одну Россию и ее социальные зачатки» (Г., XIX, 289).

Что имел в виду Герцен под «социальными зачатками» России? Отнюдь не только общину. И в этом смысле, на наш взгляд, неправомерно связывать появление «русского социализма» лишь с выявлением института сельской общины и его идеализацией. И культ общины, и возвеличение артели, и апология крестьянства были про-

* в гуще народа.

изводными от национально-патриотического чувства. Сам Герцен дал тому недвусмысленное подтверждение. «Мне кажется, — писал он в 1849 г., будучи на грани окончательного построения теории «крестьянского социализма», — что в русской жизни есть нечто более высокое, чем община, и более сильное, чем власть. . . Я говорю о той внутренней, не вполне сознающей себя силе, которая так чудодейственно поддерживала русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии. . . я говорю, наконец, о той силе, о той вере в себя, которая волнует нашу грудь. Эта сила, независимо от всех внешних событий и вопреки им, сохранила русский народ и поддержала его несокрушимую веру в себя. Для какой цели? Это-то нам и покажет время» (Г., VI, 199—200).

Разумеется, процесс становления социалистических воззрений и их приспособления к отечественной проблематике не мог проходить гладко, без сомнений, особенно у такого трезвого и самоаналитического ума, как Герцен. При всей своей любви к России, к ее истории и народу (да, собственно, благодаря ей!) он не мог не видеть темные стороны русской жизни — не только деспотизм властей, крепостнические порядки и засилье николаевской бюрократии, но и прочно укоренившееся «рабство» в трудящихся слоях населения. «Я смотрю здесь непрерывно на низший класс. . . — пишет Герцен в дневнике во время пребывания в деревне. — Чего недостает ему, чтоб выйти из жалкой апатии? Ум блестит в глазах, вообще на десять мужиков, наверное, восемь не глупы и пять положительно умны, сметливы и знающие люди. . . Они не трусы — каждый пойдет на волка, готов на драке положить жизнь, согласен на всякую ненужную удаль. . . А, видно, как Чаадаев говорит в своей статье, чего-то недостает в голове, мы не умеем сделать силлогизм европейский. Эта община, понимающая всю беззаконность нелепого требования, не признающая в душе неограниченной власти помещика, трепещет и валяется в ногах его при первом слове!» (Г., II, 363). Как и другие их современники, Герцен и Огарев остро ощущали глубокую, на всех общественных уровнях, отсталость России (социальную, политическую, культурную) и мучительно раздумывали над средствами ее преодоления.

Решение подсказывала опять же уверенность в грядущих возможностях России, надежда на то, что обращение передовых людей к трудящемуся населению, у которого «ум блестит в глазах» и грудь полна запасом не-

истраченных жизненных сил, даст тот толчок, в результате которого окажется возможным великий сдвиг, разрешение «социального вопроса» в России. Контуры намерения обратиться к низам, «идти в народ» пробиваются у них очень рано. Еще в 1836 г. Огарев писал в письме друзьям: «Снимите ваш фрак, наденьте серый кафтан, вешайтесь в толпу, страдайте с нею, пробудите в ней сочувствие, возвысьте ее; ее возвышение будет глас, трубный!..»³¹

Определенную роль в «акклиматизации» социалистических воззрений Герцена на российской почве сыграло славянофильство. Первоначальная реакция Герцена на «славян» была отрицательной. При всей «одинаковой» со славянофилами любви к России и вере в нее во взглядах Герцена было слишком много «западнического» прогрессизма и социального радикализма, чтобы тотчас же не подметить одиозные стороны славянофильского учения, их странно звучащие оды старорусской патриархальности и нарочитое отвержение западной цивилизации. После одного разговора с П. В. Киреевским в начале 40-х гг. он отмечает: «Их воззрение странно до паразитичности, оно, без сомнения, не изъято поэзии, хотя односторонность очевидна... Они на Запад смотрят с ненавистью. Это так же пошло и нелепо, как воображать, что все наше национальное гнусно и отвратительно» (Г., II, 309—310).

Полемика Герцена со славянофилами выплескивается в этот период в печать, приводит к острой журнальной перепалке. Возмущаясь тем, что славянофилы неприязненно встретили публичные лекции Т. Н. Грановского о западной истории и обвинили его в невнимании к русской тематике, Герцен даже причисляет их в конце 1843 г. к «добровольным помощникам жандармов» (Г., II, 319).

Но постепенно (а вернее сказать, одновременно) Герцен осознает, что неправильно было бы судить о славянофильстве лишь на основании его крайностей (теоретических или публицистических). Он начинает признавать, хотя и не без оговорок, рациональные зерна, содержащиеся в славянофильстве, в «угадывании» им существенных сторон российской цивилизации и перспектив ее развития. И признание это свидетельствует о том, что мысли самого Герцена развиваются в сходном направлении.

«Наши славянофилы толкуют об общинном начале, — читаем мы в герценовском дневнике за 1843 г., — о том,

что у нас нет пролетариев, о разделе полей — все это хорошие зародыши, и долею они основаны на неразвитости. Так, у бедуинов право собственности не имеет эгоистичного характера европейского; но они забывают, с другой стороны, отсутствие всякого уважения к себе, глупую выносливость всяких притеснений. . . Мудрено ли, что у нашего крестьянина не развилось право собственности в смысле личного владения, когда его полоса не его полоса, когда даже его жена, дочь, сын — не его? Какая собственность у раба; он хуже пролетария — он *res* * — орудие для обрабатывания полей» (Г., II, 288). От славянофилов, как мы видим, Герцена отличает трезвое понимание того, что оборотной стороной «хороших зародышей» добуржуазной цивилизации в России является система угнетения, которая «хуже», ниже буржуазной. И тем не менее он близок к тому, чтобы признать преимущества «неразвитости», отстаиваемые славянофилами.

«Главная ошибка их, — пишет он о славянофилах в январе 1844 г., — что, веря (и не без основания) в огромное будущее славян как того племени, которое имеет призвание своею непосредственностью соответствовать высшему, логически-историческому вопросу, выработанному Европой, они хотят и в самом младенчестве его видеть что-то высшее европейского развития, как будто возможность будущего значит превосходство над действительностью развитою и осуществившей свое призвание» (Г., II, 328). Опять-таки Герцен поправляет крайности славянофильского национализма, отказывающегося Европе в перспективе дальнейшего прогресса и признающего возможность «высшего» социального развития лишь за славянским миром. Европейская цивилизация породила социализм и будет двигаться в этом направлении, считает Герцен. Но идею перескока через буржуазные структуры сразу к социализму благодаря преимуществам отсталости («призвание своею непосредственностью соответствовать высшему, логически-историческому вопросу, выработанному Европой») помогло сформулировать Герцену славянофильство. В своих размышлениях он воспроизводит хорошо знакомую нам и по славянофилам, и по Чаадаеву фигуру мышления: Запад более развит, но он закончил свой цикл развития, Россия отстала, но зато у нее все впереди.

* вещь (лат.).

Тенденция эволюции герценовских воззрений становится таковой, что он начинает ощущать свою особость (и даже одинокость) в стане радикальных западников. Вот что пишет он, например, сопоставляя Белинского и славянофилов: «Странное положение мое, какое-то невольное *juste milieu* * в славянском вопросе: перед ними (славянофилами. — *Авт.*) я человек Запада, перед их врагами человек Востока» (Г., II, 354).

Это сближение Герцена с некоторыми тенденциями славянофильства, которое началось еще до его отъезда за границу, после революции 1848—1849 гг. и герценовской «духовной драмы», стало настолько заметным, что Т. Н. Грановский писал Герцену в 1854 г.: «Глядя на пороки Запада, ты клонишься к славянам и готов подать им руку. Пожил бы ты здесь, и ты сказал бы другое» (Г., XI, 531).

Отсюда, конечно, не следует, что позиции революционных социалистов и славянофилов были идентичными или что главными элементами своей концепции первые обязаны вторым. Дело в другом: точки соприкосновения Герцена, Огарева (в какой-то мере петрашевцев) со славянофилами в вопросе об общине объясняются их общим вырастанием из общественной мысли последекабристского периода. Конечным продуктом герценовских исканий явилась теория «русского социализма» — конструкция вовсе не славянофильская, хотя и содержащая некоторые важные компоненты, первоначально обнаруженные и развитые славянофилами (а также Чаадаевым). Не «клонясь» просто к славянофильскому национализму, Герцен и Огарев стремились соединить «науку Запада» (т. е. прежде всего социализм) с «народным русским бытом», общинными предпосылками коллективизма.

**«Вы пролетариатом к социализму,
мы — социализмом к свободе»**

В своем окончательном виде концепция «русского социализма» появилась на свет в ходе «духовной драмы» Герцена, разочарования в революции 1848—1849 гг. «Духовная драма» Герцена хотя и была для него периодом сомнений, философско-исторических раздумий и поисков, но не означала, как это было в «духовной драме» Радищева, тупика в его воззрениях. Наоборот, многие

* золотая середина (*франц.*).

из его былых взглядов как бы получают весомое подтверждение: антибуржуазные тенденции, сомнения в прогрессивных потенциях европейских обществ, убеждение в больших потенциальных возможностях неразвитой России и т. п. После 1848—1849 гг. Герцен в конструкции «русского социализма» по существу производит сборку фактически уже имевшихся ранее по отдельности элементов.

«Неспособность» и «неполнота» российской цивилизации, без обиняков заявляет он, — «великие таланты в наших глазах» (Г., IX, 150). «Мы в некоторых вопросах потому дальше Европы и свободнее ее, что так отстали от нее... Либералы боятся потерять свободу — у нас нет свободы; они боятся правительственного вмешательства в дела промышленности — правительство у нас и так мешается во все; они боятся утраты личных прав — нам их еще надобно приобретать» (Г., V, 12—13). Преимущество отсталости состоит в готовности русских людей пойти сразу на «социальный переворот», потому что им, можно сказать, нечего терять, кроме своих цепей, — поистине, на свой лад, чаадаевское «упование в горести»*.

Вместе с тем неверно было бы полагать, что «русский социализм» Герцена был навеян только национальными мотивами. Для него характерна своеобразная *диалектика национального и интернационального*, здесь нет, как у славянофилов, доминирующего антизападничества. Наоборот, Герцен считал, что «будущее России никогда не было так тесно связано с будущим Европы, как в настоящее время... Национальный элемент, приносимый Россией, — это свежесть молодости и природное тяготение к социалистическим установлениям» (Г., VII, 255).

В своем обосновании возможности некапиталистического развития России Герцен исходит из принципа всемирности исторического процесса, из социализма как универсальной закономерности развития человечества. Если социализм, рассуждает он, уже определился как направление исторического движения передовых стран Европы, то «не странно ли нам повторять теперь всю длинную метаморфозу западной истории, *зная вперед*

* Эти русофильские элементы у Герцена были замечены Марксом, который резко (может быть, несколько утрируя Герцена) возражал против мнения, «будто старая Европа должна быть обновлена русской кровью» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 28, с. 364).

le secret de la comédie *...» (Г., XIV, 171). Таким образом, перспектива минования капитализма обосновывается возможностью отставших стран учиться у стран развитых, перенимать их достижения и избегать ошибок. «Хорошие ученики часто переводятся через класс» (Г., XIV, 155).

Чрезвычайно важно, что к моменту возможного и столь кардинального исторического поворота Россия сумела сохранить «свою незаметную скромную общину, т. е. владение сообща землю, равенство всех без исключения членов общины, братский раздел полей по числу работников и собственное мирское управление своими делами» (Г., XII, 112). Именно эти принципы — «общинность» производства, эгалитаризм распределения, реальный демократизм — лежат в основе появившегося и крепнущего в Европе социализма. Пример развитых стран указывает отставшей стране цель, а ее собственный институт общины — средства ее достижения.

Отсталая страна должна не просто догонять развитые страны и учиться у них, но и совместно с ними и вместе с тем самостоятельно решать общую задачу достижения социализма. На Западе, рассуждает Герцен, выработаны свобода личности и демократические нормы, но они доступны лишь меньшинству. В России есть община, но она во многом «поглощает личность». «...Как снять их противуречие, как сохранить независимость британца без людоедства (т. е. без всеобщей конкуренции. — *Авт.*), как развить личность крестьянина без утраты общинного начала? В этом-то вся мучительная задача нашего века, в этом-то и состоит весь социализм» (Г., XII, 112).

Отсюда необходимость различных, параллельных путей к одной и той же цели. «Безумно было бы начать переворот с уничтожения свободных учреждений (в развитых странах. — *Авт.*), потому что они на деле доступны только меньшинству; еще безумнее уничтожить общинное начало, к которому стремится современный человек, за то, что оно не развило еще свободной личности в России» (Г., XII, 112). Насильственное уничтожение традиционных коллективистских институтов может принести отсталой стране только вред; пример тому — поведение англичан в Индии (Г., XIV, 169).

* в чем разгадка (*франц.*).

Подобного рода замечания, с течением времени появляющиеся у Герцена, свидетельствуют о том, что он, как вслед за ним и Н. Г. Чернышевский, уже не ограничивал рамки своих построений только Россией, но нащупывал «алгебраическую» формулу развития отставших стран в целом, которые на пути модернизации и прогресса должны не только не уничтожить сохранившиеся формы традиционного коллективизма (наподобие общинных обычаев, форм соседской трудовой взаимопомощи и пр.), но и использовать их для перестройки общественных отношений в социалистическом духе. Такой путь развития отставшей страны является не просто желательным, но и наиболее естественным, отвечающим ее национально-культурным традициям и существующим социальным структурам. Вэтом также проявлялся универсалистский, интернационалистический характер «крестьянского социализма» в России.

По мнению Герцена, такая страна, как Россия, по сравнению с европейскими странами имеет несколько не меньше шансов для достижения социализма. Более того, у нее даже есть определенные плюсы. Главное преимущество — наличие общины, ибо с точки зрения обеспечения социализма дух коллективизма важнее, чем свобода личности. Поэтому «наша невозделанная почва, наш чернозем *способнее* для посева зерна, собранного с западных полей» (Г., XV, 148) — таков вывод Герцена.

В окончательной редакции герценовского «русского социализма» сохраняется и даже углубляется острая критика европейской буржуазной цивилизации. Основной порок Запада, по мысли Герцена, — «мещанство», гипертрофированное приобретательство и собственничество, которое явилось результатом отчуждения трудящегося от средств производства (прежде всего от земли), «открепления людей и прикрепления почвы малому числу избранных». Поэтому «немецкий крестьянин — *мещанин* хлебопашества, работник всех стран — *будущий* мещанин» (Г., XVI, 138). Поэтому существует опасность, что индустриальный Запад не сможет пробиться к социализму и «мир безземельный, мир городского преобладания, до крайности доведенного права собственности... весь пройдет мещанством...» (Г., XVI, 141).

В своей критике буржуазной цивилизации Герцен сумел схватить некоторые тенденции, которые действительно стали показательными для современного капи-

талистического Запада. Например, проблема растущей стандартизации жизни, обезличивание личности и ее духовного мира, утрата «подлинности» человеческой деятельности и творчества и т. д. — «все получает значение гуртовое, оптовое, рядское, почти всем доступное, но не допускающее ни эстетической отделки, ни личного вкуса» (Г., XVI, 140). Не менее ярко под пером Герцена вырисовываются будущие экологические проблемы. «Взгляните на темные, сырые переулки, — писал он о Лондоне, — на население, вросшее на сажень в землю. . . посмотрите на эту реку, текущую гноем и заразой, на эту шапку дыма и вони, покрывающую не только город, но и его окрестности. . . и вы думаете, что это останется, что это необходимые условия цивилизации?» (Г., XIV, 174).

Одно время Герцен был убежден в «тупиковости» европейского развития и связывал надежды на социализм и прогресс только с Россией. Однако мессианские мотивы не были для Герцена определяющими. Он признавал (особенно в конце жизни, когда он, по ленинскому выражению, «обратил свои взоры. . . к *Интернационалу*»³²) собственную дорогу к социализму на Западе, «рабочий социализм». Но одновременно он отстаивал некапиталистический путь развития России через крестьянскую общину.

Свою принципиальную позицию Герцен выразил в следующей емкой формуле: Запад и Россия пойдут к одной цели, но «не по одной дороге — *вы пролетариатом к социализму, мы социализмом к свободе*» (Г., XVIII, 469). В этой формуле, думается, нельзя не увидеть глубокую историческую проницательность Герцена, которая всегда искупала его те или иные крайности мысли и увлечения. С одной стороны, путь развития стран к социализму оказался затрудненным из-за процесса «обуржуазивания», «омещанивания» трудящихся, способности правящего капиталистического класса к социальному и политическому маневрированию в целях самосохранения и стабилизации буржуазного строя; а с другой стороны, переход к социализму в странах, более отсталых в формационном отношении, хотя и более «легких на подъем» с точки зрения возможности социального переворота, был сопряжен с трудностями, вызванными неразвитостью общественных отношений, невыкорчеванными привычками «рабства», эксплуатации докапиталистического типа. История, как считал Герцен, распорядилась здесь

диалектически, наделив различные группы стран как своими преимуществами, так и специфическими общественными антагонизмами, не позволяющими ни тем ни другим двигаться вперед «гладким» путем общественного прогресса и вместе с тем заставляющими эти группы стран с разных сторон одинаково искать дорогу к нему.

* * *

«Русский социализм» Герцена — крупное явление в истории революционной мысли и освободительного движения в России. Разумеется, марксистская критика неоднократно вскрывала его уязвимые стороны — идеализацию общины и крестьянства, исторический субъективизм, проявлявшийся в том числе в абстрактности подхода к возможности и осуществимости некапиталистического варианта развития России. Но подлинно научный, марксистский анализ никогда не ограничивался по отношению к немарксистским демократическим и социалистическим течениям только критикой «извне», он всегда вписывал их в соответствующий исторический контекст, соотносил с интересами определенных общественных классов. И с этой точки зрения «крестьянский социализм» Герцена находится у истоков народнической «крестьянской демократии», во многом определившей освободительное движение в России во второй половине XIX в. Герцену и его сподвижникам по Вольной русской прессе в конечном счете удалось связать через социализм декабристскую эпоху с последующими этапами революционной борьбы в России, стать основателями отечественной социалистической традиции.

Внесение социализма в освободительное движение как бы меняет русло последнего, придает ему новую направленность, означает качественно иной уровень революционной борьбы. Ибо теперь «политика», политическая революция в принципе признается недостаточной, основополагающим становится требование «социальной» (социалистической) революции. Теперь освободительное движение уже не может ограничиваться просветительскими, буржуазно-демократическими лозунгами. Хотя просветительство временами еще и играет важную и даже самостоятельную роль, в целом оно все более отходит на второй план, становится (хотя и не сразу) подчиненным в системе революционной мысли и дейст-

вия. В этом были заключены как позитивные, так и негативные моменты.

Условия общественной борьбы в России, уровень ее социально-экономического и культурного развития объективно не соответствовали социалистической ориентации большинства революционных деятелей, которые нередко подменяли трезвый учет объективных факторов, научный анализ окружающей действительности «вменением» ей собственных субъективных устремлений. Это противоречие между революционной мыслью и действием, зачастую превышавшее допустимую меру опережения общественным сознанием общественного бытия, заметно дает себя знать во второй половине столетия.

Формирование социалистических идей в России, как мы старались показать, объективно было результатом совокупной работы общественной мысли 30—40-х гг. В нем сплелись как воздействие западноевропейских учений, так и национально-патриотические устремления того периода, интернациональные и национальные аспекты. Социалистическое течение в России было создано главным образом революционным западничеством (Герцен, Огарев, Белинский, петрашевцы). Однако наиболее влиятельная для всей домарксистской эпохи концепция «русского социализма» образовалась на стыке западничества и славянофильства. Неся в себе определенные национальные черты, «русский социализм» вместе с тем стал новой формой соединения российского освободительного движения с европейским революционным процессом, он явился составной частью международной социалистической мысли. Это нашло выражение в возрастающих контактах представителей «русского социализма» (а затем народнических последователей) с социалистической общественностью Запада. Позже, в XX в., обнаружилось, что российский «крестьянский социализм» явился одним из первых (и классических) идейных образований популистского типа, характерных для ряда других стран запоздалого буржуазного развития в Азии, Африке и Латинской Америке.

НА ПЕРЕЛОМЕ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Поворотным пунктом в истории царской России стала «эпоха 1861 года». Дело буржуазного реформирования страны, которое не смогли выполнить потерпевшие поражение люди 14 декабря 1825 года, теперь оказались вынужденными взять на себя их победители — сама династия Романовых.

Крупные общественные реформы, как писал В. И. Ленин, являются «побочным продуктом революционной борьбы»¹; «крестьянская реформа» 1861 г. в этом смысле не представляла исключения. Однако всякая общая истина, хотя и верно схватывает суть вещей, все же неизбежно бедна, узка, схематична; конкретные проявления сущности всегда богаче, многостороннее, «неожиданнее». Медленно развивавшуюся в капиталистическом направлении Россию история подтолкнула вперед неделикатным и своеобразным способом: царизм оказался вынужденным пойти на отмену крепостного права в результате поражения в Крымской войне.

Поражение в Крымской войне 1853—1856 гг. поставило самодержавие перед выбором: либо прогнившей крепостнической империи сходить на нет как великой державе, либо догонять соперников. К тому же становилось очевидным, что крепостное ярмо долго не продержится — еще в годы войны русский мужик порывался отправиться на поиски «воли»; и в дальнейшем глухое брожение крестьянства оставалось важнейшим фактором, заставлявшим правительство спешить с реформой. Николая I, не вынесшего потрясений войны, сменил Александр II. Он позволил сформироваться в стране либеральному общественному мнению, заставил дворян приступить к обсуждению условий «крестьянской реформы». Некоторое смягчение репрессивного режима в годы царствования Александра II передовая русская журналистика использует для воспитания нового поколения борцов-разночинцев; подцензурные «Современник». «Русское слово» дополняет бесцензурный «Колокол». Рождение в России радикальной политической оппози-

ции самодержавному строю было важным признаком революционной ситуации 1859—1861 гг.

Начавшийся с поражения в Крымской войне «кризис верхов» в конечном счете привел к «крестьянской реформе» 1861 г., к отмене крепостного права, к заметному движению «низов», не согласных с условиями этой отмены.

Правда, в нашей литературе есть и другая точка зрения: «кризис верхов» породило исключительно движение самих «низов», угнетенных масс России; «крестьянская реформа» была побочным продуктом революционной борьбы отнюдь не в каком-то переносном, а в буквальном, прямом смысле этого слова. Правда, полной ясности у сторонников этой концепции пока нет. «Даже сейчас, когда от реформы 1861 г. нас отделяет более столетия, — писала не так давно М. В. Нечкина, — надо, к сожалению, признать еще недостаточно разработанной в советской исследовательской литературе тему «Реформа 1861 г. как побочный продукт революционной борьбы». Исследовательские задачи, поставленные В. И. Лениным, остаются первоочередными в науке и требуют дальнейшего изучения»².

Попробуем выяснить, в чем здесь дело.

Реформа 1861 г. как побочный продукт революционной борьбы

Из юбилейной работы 1978 г. мы позаимствуем привычную формулу: «Под напором крестьянского освободительного движения, под натиском революционной «партии народа» (Н. А. Добролюбов), во главе которой стоял Чернышевский, правительство Александра II вынуждено было решиться на отмену крепостного права»³.

Но традиционная, мы бы даже сказали, трафаретная формула поражает внимательного читателя сочинений Чернышевского одной особенностью — полным несоответствием ее той раскладке борющихся в России в «эпоху 1861 года» общественных сил, которую сам Чернышевский давал в своих трудах.

Его «Пролог» действительно рисует правительство, вынужденное «решиться на отмену крепостного права». Однако «Пролог» не рисует равным счетом никакого напора крестьянско-освободительного движения, равным счетом никакого натиска революционной партии. Крестьянство в России спит, революционная «партия

народа» никаких попыток возглавить народ не предпринимает. Заставила приступить правительство к освобождению, как выражается герой романа Волгин, «маленькая передряга Крымской войны» (Ч., XIII, 243), именно из-за ее незначительности, считает он, останутся мизерными и реформы (Ч., XIII, 133—140).

Возникает небезынтересный вопрос — кто прав в оценке исходного момента реформы: Чернышевский (а вслед за ним В. И. Ленин) или иные современные исследователи?

Не только в романе «Пролог», но и в статьях 1859 г. Чернышевский писал о «тяжелой летаргии», в которой прозябает народ (Ч., V, 694). В. И. Ленин говорил о «раздробленных», «одиноких» восстаниях той поры, о том, что народ так и не поднялся на «широкую» борьбу. Авторы же обобщающего труда «Революционная ситуация в России в середине XIX века» повествуют о «взрыве массового движения» крестьянства, о его «мощном подъеме», они доказывают, что само падение крепостного права было «завоевано широким крестьянским движением и революционной борьбой».

Обнаруживаются и существенные различия в определении масштабов собственно революционной борьбы. Чернышевский в своих романах «Что делать?», «Пролог» считал революционеров той поры, можно сказать, по пальцам. В. И. Ленин также писал о «крайней слабости» демократической тенденции в России, революционное движение той поры было, по его выражению, «слабо до ничтожества». Авторы же «Революционной ситуации. . .» рисуют «мощные струи» демократического движения. Там, где В. И. Ленин видел революционеров-«одиночек», они увидели движение в «его коллективных формах».

Чернышевский (а вслед за ним Маркс и Ленин) отправным пунктом реформы считал Крымскую войну, но именно Крымская война вообще исчезла из числа методологических вопросов вводной главы данного обобщающего труда, и об этом «мощном ускорителе» событий вспоминают лишь авторы конкретно-исторических глав.

В. И. Ленин, характеризуя ту или иную «революционную ситуацию», начинал с того или иного «кризиса верхов», создающего ту или иную «трещину». В эту «трещину» прорывается возмущение терпевших в ту пору особую нужду и бедствия угнетенных масс. Массы, писал В. И. Ленин, в бурные времена привлекаются «как

всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами» к самостоятельному историческому выступлению». В вводной главе указанного труда ленинское определение приводится, но довольно сложный порядок элементов в нем тут же заменяется более простым: «массы не хотят жить по-старому», а «верхи не могут», «второе вытекает из первого». По такой схеме группируется в книге и весь конкретный материал ⁴.

Нам могут возразить: с тех пор как появились оценки Чернышевского и даже Ленина, прошли десятилетия, наука на месте не стояла. Но присмотримся ближе к подтвержденным или вновь открытым фактам.

На тот же 1859 год III Отделение в докладах царю оперировало цифрой «90» (случаи «неповиновения» в барских имениях). Ныне историки подняли эту цифру до 161. Примем среднее достаточно завышенное число 250 человек на каждое «неповиновение». При этой цифре мы получим 40 тыс. человек на 40 млн. крестьянского населения страны, т. е. 1 человека на тысячу — «тяжелую латаргию», выражаясь языком трезвейшего политика той эпохи ⁵.

Правда, в том же 1859 году по стране разливается так называемое «трезвенное движение» (636 выступлений). Выявление в нем (на наш взгляд, незначительных) антикрепостнических моментов является несомненной заслугой авторов названного выше труда. Но при элементарно трезвом взгляде на «трезвенное движение» мы его в разряд движений собственно «антикрепостнических и антиправительственных» никак не зачислим. Ленин отличал освещенное политическим сознанием революционное движение масс от стихийных «бунтов», но, по-видимому, стоит видеть и различие бунтов в зависимости от того, чего их участники добиваются. Возмущение части крестьян шло в разгар подготовки «крестьянской реформы» под кличем: «дешевого вина!», «бей питейные заведения!» Его скорее следует отнести к разряду тех возмущений, которые дали основание автору «Истории одного города» М. Е. Салтыкову-Щедрину заключить, что хотя во времена «исторические» и эпохи всяческих преобразований глуповцы не переставали бунтовать, но они никак не могли понять, «в чем заключается бунт».

Было и остается фактом: *не до, а после* обнародования Манифеста 19 февраля 1861 г. в стране началось более или менее широкое антиправительственное движение, число волнений подскочило сразу в 10 раз. Но,

взяв те же средние цифры, мы получим 400 тыс. на 40 млн., т. е. 1 человека на 100! Это уже не летаргия, а лишь первые признаки пробуждения, которые дали Чернышевскому повод поставить в 1861 г. осторожный вопрос: «Не начало ли перемены?»

Возьмем революционное движение того же 1859 года. Даже если мы зачислим в ряды революционеров немногочисленных тогда радикальных студентов или путем тончайших гипотез поднимем цифры 6—7—8 человек, которыми оперировали Добролюбов в своем Дневнике и Чернышевский в романе «Что делать?», до 60—70—80, то это все же одна миллионная (!) часть населения России, это все те же революционеры-«одиночки», о которых писал Ленин. Только к 1861 г. в России начинает прощупываться зародыш более или менее разветвленного подполья, нарастают студенческие возмущения, но тем же годом датируется и начало правительственных репрессий, приведших через год-другой к ликвидации «Земли и воли», к угасанию сколько-нибудь массового движения молодежи. Даже взяв 1861 год, мы должны будем признать: революционное движение в России осталось «слабо до ничтожества».

И все-таки реформа 1861 г. была «побочным продуктом революционной борьбы». Это аксиома для исследователей-марксистов. Но аксиома и то, что общие закономерности преломляются в истории своеобразно, каждый раз по-особому. Маркс в итоговых оценках «революций сверху» его эпохи ясно растолковал, что легитимные правительства Западной Европы XVIII в. и Европы и Азии XIX в. вынуждались к освобождению крестьян и революциями в их собственных странах, и неудачными войнами со странами, революции уже совершившими; такие войны тоже приводили к «пересадкам» результатов революций в рамки феодальных монархий, но в ограниченных размерах. Подобные процессы, писал Маркс, имели место в Пруссии, потерпевшей поражение от войск Наполеона в 1806 г., и в России, потерпевшей поражение от войск Пальмерстона и Луи Бонапарта в 1854—1856 гг. «В обеих странах смелые социальные реформы были скованы и ограничены по своему характеру потому, что они были дарованы тронем» вместо того, чтобы быть «завоеваны народом». Ту же по существу концепцию реформы 1861 г. развивал и В. И. Ленин. Он подчеркивал не только возрастание с каждым десятилетием перед реформой крестьянских «бунтов»,

заставивших царя пойти на «освобождение», но и тот факт, что «бунты» остались «одинокими, раздробленными, стихийными»; в отличие от Западной Европы 1789 и 1848 гг., писал он, народ в России «не в состоянии был подняться на широкую, открытую сознательную борьбу за свободу. . . Отмена крепостного права была проведена не восставшим народом, а правительством, которое после поражения в крымской войне увидело полную невозможность сохранения крепостных порядков»⁶. Эти ясные и не опровергаемые новейшими данными положения заменены в иных обобщающих работах выводом хотя и более «революционным», но куда менее точным: «Реформа 1861 г. была вырвана «низами» у «верхов»⁷.

Производным от прямолинейного, упрощенного толкования ленинской формулы «реформа — побочный продукт революционной борьбы» является, на наш взгляд, и достаточно произвольное обращение с источниками: стремясь завесить масштабы революционной борьбы в России в эпоху «крестьянской реформы», некоторые авторы систематически прибегают к передержкам*.

А вот как рисуется автором вводной главы книги М. В. Нечкиной — со ссылкой на Ленина! — некая обобщающая модель, по которой якобы и развивалась революционная ситуация середины XIX в.: «Раньше в более «мирные» времена массы, как отмечает В. И. Ленин, давали себя грабить более или менее «спокойно». А сей-

* В той же «Революционной ситуации в России в середине XIX века» рассказывается, например, что, публикуя знаменитое воззвание «Юрьев день!» в 1853 г., Герцен не только надеялся на «революционные потенции дворянства», но «вместе с тем он горячо желал народной революции» (с. 66). Но любой читатель воззвания увидит: пафос обращения Герцена к дворянам — призыв предотвратить «крещение кровью»: «нам кажется умнее, *расчетливее* уступить, нежели ждать взрыва» (Г., XII, 80—86).

Свидетельством «ожидания близкой и неизбежной революции» считается и статья Чернышевского от 1858 г. «Русский человек на rendez-vous» (там же, с. 182). Но любой читатель установит: статья представляет попытку убедить «верхи» пойти на уступки: «Постарайтесь кончить тяжбу полюбовной сделкой. Я прошу вас об этом как ваш друг» (Ч., V, 171—175).

Авторы книги пишут, что в 1858 г. Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов «разоблачали помещичью сущность либеральных проектов, выступая за освобождение крестьян с землей (без всякого выкупа)» (там же, с. 125). Добролюбов с конкретным разбором либеральных проектов вообще не выступал. Что же касается Чернышевского, то в Полном собрании его сочинений десятки страниц заполнены статьями 1858—1859 гг., предлагающими минимальный размер выкупа и сносную величину надела!

час наступили «бурные времена» — обстановка кризиса призывает массы к решительным действиям, а правительство соответственно — к решительным «антидействиям»: применению полицейской силы, а потом и к вызову войск. Правительство уже не управляет, а стреляет. Все это создает обстановку, требующую радикальных перемен в способах управления. Уж лучше пойти на реформы, открыть клапан... Он выпустит «пар», давление которого все возрастает. Тогда можно избежать сильнейшего взрыва»⁸.

Но всякий человек, знакомый с элементарными фактами по эпохе реформы, знает, что формула «правительство уже не управляет, а стреляет» вообще неприменима к таким переломным моментам эпохи, как речь Александра II в марте 1856 г., выставившая известный принцип: «лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу»; как издание царских рескриптов в конце 1857 — начале 1858 г., означавших конкретный шаг в деле практической реализации этого принципа; как резкий правительственный поворот «влево» весной 1859 г., означавший принятие либеральной программы преобразований (в это время «верхи» по-прежнему управляли и едва ли кто где «стрелял»).

Не спорим, намерение царизма «освободить» мужика нельзя рассматривать изолированно и независимо от внутренних событий в стране, в частности от силы экономического развития, втягивавшего Россию на путь капитализма, или разнообразных форм антикрепостнических выступлений крестьянства. Но исследователь мало что поймет в сложной ситуации реформы 1861 г., если он решит, что уже накануне реформы наступили полный упадок, «деградация» хозяйства в России, делавшая невозможным его развитие на феодальной основе, или если он примет призрак «пугачевщины», толкавший царизм на реформы, за нечто подобное «пугачевщине» и к тому же будет абстрагироваться от сдвигов в европейской системе в целом, которые стали непосредственной причиной переломных событий в России.

Конечно, последние исследования подтвердили великое значение революционной пропаганды «Современника» и «Колокола», но они не опровергли того факта, что развертывалась эта пропаганда исподволь и что переломить ход борьбы в пользу тенденции демократической эти органы сами по себе не могли, тем более что

в 1857, 1858 и 1859 гг. размежевание с либерализмом только-только начиналось.

Нам вполне понятно негодование иных историков по поводу пресловутого «гусиного пера», которое было изображено на обложке известного юбилейного издания 1911 г. «Великая реформа». Либеральное холопство — вещь, несомненно, отвратительная. Но остается фактом: угодливая картинка изображала реальное положение вещей в «эпоху 1861 года». Главным «делопроизводителем» реформы были и остались самодержавие, царь Александр II.

И однако же мы можем выразить не только негодование по поводу этого факта. Встав на точку зрения историзма, мы можем сказать: «делопроизводитель» продел «дело» плохо, да и не мог провести хорошо. Он вырыл могилу и для себя самого, и для всего дома Романовых, и для всей самодержавной России. Год 1861-й породил и год 1905-й, и год 1917-й. В конечном счете оказались правы потерпевшие поражение в 1861 г. «одиночки»-революционеры, — правы в свете той всемирно-исторической перспективы, в которой их деятельность рассматривал Ленин.

Присмотримся теперь ближе к некоторым важнейшим аспектам и итогам этой деятельности.

Выработка российскими демократами стратегии и тактики революционной борьбы

Эпохи более или менее крупных общественных передвижек бывают сложны, чреватые быстрыми и резкими поворотами событий, отличаются определенной «открытостью» решений. Своеобразие ситуации в России в «эпоху полной неразвитости угнетенных масс» (В. И. Ленин)⁹ состояло в том, что новое в жизни страны творили сами силы старого, творили в своих интересах, стремясь сохранить главное — самодержавный строй, засилье помещика в общественной жизни, экономические привилегии царя и дворян. Но так или иначе, «общество» зашевелилось, борьбу его передовых элементов вскоре возглавили «Современник» и «Колокол».

Журнальными и газетными статьями, как, впрочем, книгами и прокламациями, великие общественные вопросы не решаются. Они решаются действиями миллионных масс, борьбой классов и государств, решаются, как выражался Чернышевский, «историческими событиями»

(Ч., IV, 495). Но и без печати исторические события в новое время уже не обходятся. Столичный подцензурный «Современник» Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, эмигрантский бесцензурный «Колокол» Герцена и Огарева не просто дали онемевшей России дар смелой речи, не только выставили на свет мерзости, творившиеся в российском «темном царстве». Они необычайно двинули вперед теоретическое сознание передовых сил страны, хотя сделать это было нелегко, и сделано это было далеко не сразу.

Герцен, весьма настороженно относившийся после 1848 г. к революционным опытам, поначалу делал ставку на царя: царь выразил намерение освободить крестьян, надо заставить его выполнить обещанное, изолировав от «плантаторов» и «чиновников». Суть тактики «Колокола» свелась к позиции: приветствуем, поддерживаем царя, пока он держит слово; бичуем, порицаем его, как только он отказывается довершить начатое. «Шаткость в правительстве, — признавал Герцен, — отразилась в наших статьях... Ринутые в современное движение России, мы носимся с ним по переменному ветру, дующему с Невы» (Г., XIII, 362).

Чернышевский встречает наступление реформы революционером, делающим ставку на политические движения самих масс. В знаменитом «Лессинге», еще накануне провозглашения царских рескриптов, он напомнит о неуспехе преобразовательной деятельности Фридриха-Вильгельма I и Фридриха II, формулируя четко и ясно свое антилиберальное кредо: суть дела в «дурном механизме», а не в смене приложенных к нему рук; «прочно только то благо, которое не зависит от случайно являющихся личностей, а основывается на самостоятельных учреждениях и на самостоятельной деятельности нации» (Ч., IV, 37—38). Но как раз эта ясная тактическая установка, «снятая» с европейской истории; оказалась неприложимой к конкретной ситуации России конца 1857 — начала 1858 г. «Самостоятельная деятельность нации» здесь вообще отсутствовала — в стране не было политического движения революционных классов, сложившегося демократического лагеря (первым начал формироваться, выставил свою программу лагерь либеральный). А между тем правительство практически уже приступило к реформе, уже обнаружилось определенные его расхождения с «владельческой партией», вообще не желавшей реформ.

Революционеру Чернышевскому приходится пока что делать выбор не между реформой «сверху» и революцией «снизу». Выбор открылся совсем иной: освобождение «сверху» или вообще никакого освобождения. Преувеличенно восторженные славословия в адрес царя-«освободителя», начавшего было в начале 1858 г. уступать «плантаторам», публикация Чернышевским хотя и подправленной, но оставшейся либеральной по сути программы К. Д. Кавелина (Современник, 1858, № 2, 4), защита Чернышевским в 1859 г. на страницах журнала максимальной величины надела при минимальной величине выкупа остались свидетельством гибкости тактики революционера, тактики подталкивания и одновременно разоблачения «верхов». Расчет Чернышевского был, очевидно, таким: правительство неизбежно запутается в своей эквилибристике между классами, тем временем в стране созреют революционные силы. И Чернышевский способствует их созреванию. В том же «Современнике», в те же годы он (под видом рассуждений о судьбах крестьянской общины) начинает вслед за «Колоколом» пропаганду идей социализма, ведет осторожную проповедь идеи революции.

К концу 1859 г. Чернышевскому становится ясно: реформа обращается в «мерзость», грабеж крестьян. Тактика «Современника» резко меняется: Чернышевский с нескрываемой иронией вспоминает о своих отзвучавших «панегириках» (Ч., V, 767). Раскрытие сущности «дурного механизма» — органической неспособности самодержавно-бюрократической системы провести в интересах народа реформу; разоблачение бессилия и холопства либералов, продолжавших сеять надежды на царя-«освободителя»; настойчивая проповедь идеи революции становятся лейтмотивом пропаганды Чернышевского.

В конце 50-х гг. в стране начинается формирование демократического лагеря. Постепенно обостряется полемика Чернышевского и Добролюбова с либералами.

Процесс этого размежевания вызвал трудности и сложности в самом демократическом лагере. Трудности выявились в редакции «Современника», которой уже с 1859 г. пришлось отказаться от преимущественной ориентации на дворян-беллетристов; в 1860 г. с редакцией порывает И. С. Тургенев. Трудности сказались и во взаимных отношениях редакций «Современника» и «Колокола». Публикация статьи Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» (Современник, 1859, № 1, 4),

и ответной статьи Герцена «Very dangerous!!!» («Крайне опасно!!!» — Колокол, 1859, 1 июня), поездки Чернышевского в Лондон явились подтверждением, выявлением этих трудностей.

Что же послужило поводом для столкновения двух органов российской демократии? Ответ на вопрос не столь прост, если вспомнить, что в это время (1859 г.) оба органа защищали примерно одинаковую программу-минимум (освобождение «сверху», при максимальном наделе и минимальном выкупе, при сохранении общины).

Несомненно способствовали возникновению острой дискуссии «перехлесты» Добролюбова — он не только начал поход против никчемного либерального обличительства, но и стал в определенной мере перечеркивать заслуги передовых людей 40-х гг., отрицать необходимость союза «молодого поколения» даже с «лучшими людьми предшествовавшего поколения» (Д., IV, 49—64).

Но дело отнюдь не в отдельных «перехлестах». В первую очередь это видно и по статье Добролюбова, и по содержанию последовавших переговоров Чернышевского с Герценом в Лондоне: руководителей «Современника» не удовлетворяла недостаточность программных установок «Колокола». Бесспорно, защита еще с момента выхода первого сборника «Полярной звезды» (1855 г.) и первого номера газеты «Колокол» (1857 г.) знаменитой герценовской программы-минимум: освобождение слова от цензуры, освобождение крестьян от помещиков, освобождение податного состояния от побоев (Г., XII, 358) — обеспечила «Колоколу» широчайшую поддержку в России, способствовала созданию того единого антикрепостнического фронта, который образовался здесь в 1855—1857 гг. В создании этого единого фронта в 1856—1857 гг. активно участвовал и «Современник»*. Но «Колокол», по убеждению руководителей «Современника», как орган «вольной», неподцензурной русской речи, не мог, не должен был ограничиваться программой-минимум. Он обязан был готовить читателя и к более отдаленным, грядущим революционным временам, призван был решить главную задачу всего русского

* Чернышевский приветствовал здесь проявления литературной деятельности К. Д. Кавелина (Ч., IV, 686), Ю. Ф. Самарина (Ч., IV, 730—731), А. И. Кошелева (Ч., IV, 692), М. Н. Каткова (Ч., III, 633, 642—643), А. В. Дружинина (Ч., III, 710), Б. Н. Чичерина (Ч., III, 643), хотя все эти деятели более чем в достаточной мере проявили свою приверженность к реформе «сверху».

освободительного движения — задачу борьбы против самодержавного строя. Между тем Герцен совершенно сознательно ограничивал линию «Колокола» обличительством, не бьющим выше министров царя. В подцензурном «Современнике», намекая на недостаточность обличений «Колокола», прямо указывая на мизерный характер обличений российской печати, российской литературы вообще (она не поставила самостоятельно ни одного жизненно важного для России вопроса, рабски следовала за правительственными инициативами), Добролюбов в весьма осторожной форме выдвигал главный свой упрек: «Нигде не указана была тесная и неразрывная связь, существующая между различными инстанциями, нигде не проведены были последовательно и до конца взаимные отношения разных чинов...» (Д., IV, 106).

В статье «Русская сатира в век Екатерины», продолжая полемику с «Колоколом», Добролюбов выразился еще определеннее: «С Кантемира так это и пошло на целое столетие: никогда почти не добирались сатирики до главного, существенного зла, не раздражались грозным обличением против того, от чего происходят и развиваются общие народные недостатки и бедствия» (Д., V, 315).

«Грозное обличение» самодержавия — вот что в сущности требовал «Современник» от «Колокола». Это же требование Чернышевский повторил и во время своей встречи в Лондоне с Герценом. «Я напал на Герцена за чисто обличительный характер «Колокола», — вспоминал он позже в ссылке. — Если бы, говорю ему, наше правительство было чуточку поумнее, оно благодарило бы вас за ваши обличения; эти обличения дают ему возможность держать своих агентов в уезде в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным, а суть-то дела именно в строе, а не в агентах. Вам следовало бы выставить определенную политическую программу, скажем — конституционную, или республиканскую, или социалистическую; а затем всякое обличение явилось бы подтверждением основных требований вашей программы; вы не устанно повторяли бы свое: *ceterum censeo Carthaginem delendam esse* *»¹⁰.

* Кроме того, я думаю, что Карфаген необходимо разрушить (лат.). Под Карфагеном Чернышевский имел в виду самодержавие.

Как видим, в лондонских переговорах Чернышевский продолжал линию «Современника»: он толкал Герцена и Огарева на магистральный путь российского освободительного движения, — путь борьбы с абсолютистско-самодержавным строем, путь, не зависящий от тех или иных колебаний власти, временных приливов и отливов революционного движения, смены тех или иных тактических лозунгов. Однако поначалу сделать это ему не удалось.

Хотя в «Колоколе» от 1 августа 1859 г. и появилось извинение Искандера насчет неудачной «иронической» формы статьи «Very dangerous!!!», кончалось оно утверждением правоты той же статьи по существу, пожеланием, «чтоб наш совет обратил на себя внимание» (Г., XIV, 138). Не подверглась особо существенным изменениям после лондонской встречи Чернышевского и Герцена и «обличительная» линия «Колокола». Не удивительно, что уже 1 марта 1860 г. Герцену пришлось напечатать возражение «слева» — «Письмо из провинции», это настоящее сгедо русской революционной демократии 60-х гг., точнее, ее левого крыла. Автор письма, скрывшийся за псевдонимом «Русский Человек»*, не просто продолжил линию «Современника», он довел ее до логического конца — связал требование обличения самодержавного строя с призывом к крестьянской революции.

«Русский Человек» упрекал Герцена за то, что тот не стал «обличителем царского гнета», не обнажил «всю гнусность верноподданнического раболепия»: «Посмотрите, Александр II скоро покажет николаевские зубы. Не увлекайтесь толками о нашем прогрессе, мы все еще стоим на одном месте...» Кончалось письмо страстным призывом к Герцену: «Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто кроме топора не поможет! Эту мысль уже вам, кажется, высказывали, и оно удивительно верно, другого спасения нет. Вы все сделали, что могли, чтобы действовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь. — Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей, не вам ее поддерживать»¹¹.

* Очень правдоподобна версия ряда авторов (М. В. Нечкина, Н. Я. Эйдельман и др.) о том, что им был Добролюбов.

Появление в 1860 г. на страницах «Колокола» письма «Русского Человека» и возражений на него Герцена было бы немыслимо, если, как все еще полагают некоторые исследователи, уже в середине 1859 г. на лондонской встрече Чернышевского и Герцена между редакциями «Современника» и «Колокола» решался вопрос о русской революционной организации и даже установлении «единой линии в' предполагаемом революционном взрыве» и, несмотря на некоторые разногласия, был намечен «общий план действий» (все это в конце 50-х гг. XIX в.)¹². «Призвавши к топору, — обращался Герцен к «Русскому Человеку», — надобно овладеть движением, надобно иметь организацию, надобно иметь план, силы и готовность лечь костью, не только схватившись за рукоятку, но схватив за лезвие, когда топор слишком расходится. Есть ли все это у вас?» (Г., XIV, 243).

Пройдет еще год — и «Колокол» начнет склоняться к программе решительных революционных действий. Правда, суровая действительность вскоре покажет, что и радикальность политической позиции отнюдь не гарантирует ее проведения в жизнь. В «эпоху 1861 года» рухнут не только непосредственные надежды «шестидесятников» на крестьянскую революцию. Углубленный анализ Чернышевским устремлений крестьянства покажет ему — об этом речь пойдет ниже — ограниченный характер революционных потенций этого класса, неспособность его — самого по себе — совершить созидательный переворот.

Кульминационный момент борьбы

После провозглашения реформы и расстрела царскими карателями крестьянских волнений в Бездне, Кандеевке и других деревнях России на страницах «Колокола» началось разоблачение грабительского характера Манифеста 19 февраля 1861 г. Здесь печатается огаревский «Разбор нового крепостного права»; выдвигаются лозунги: «Народ царем обманут!», «В народ! к народу!», «Заводите типографии!»¹³; выбирается девиз формирующейся в России революционной организации «Земля и воля!». Впоследствии Герцен напишет в «Колоколе»: «...не мы выдумали, а народ русский подсказал нам, что надобно ставить на хоругви, наша заслуга только в том, что при шуме барабанов, положений, учреждений,

освобождений, мертворождений мы уловили их» (Г., XVIII, 103).

Ноябрьская (1861 г.) статья Чернышевского в «Современнике» «Не начало ли перемены?» фиксирует наличие новой ситуации в России. Действительно, после издания Манифеста 19 февраля 1861 г. на борьбу за другую, «подлинную» волю стало подниматься крестьянство; количество волнений подскочило по сравнению с предшествующими годами сразу в 10 раз, в них участвовали порой тысячи человек. В городах формировалась разночинская, демократическая оппозиция, волновалось студенчество. Признаки недовольства проявляло дворянство, отстраненное царем от проведения реформы. На базе теперь уже общей революционной платформы «Современника» и «Колокола» возник зародыш подпольной организации «Земля и воля», стали появляться и будоражить российское «общество» революционные прокламации (план их издания выработывался с участием Чернышевского). Альтернатива не «сверху», а «снизу» вроде бы стала открываться в 1861 г. перед вождями разночинцев. Статья Чернышевского «Не начало ли перемены?» ясно говорит о возможности крестьянской революции, призывает передового читателя готовиться к руководству народной борьбой.

Но заглавие статьи Чернышевский — политик трезвый и дальновидный — не случайно сформулировал в виде вопроса. Общее «светлое, радужное и дружное возбуждение», свидетельствует Шелгунов, охватило сначала всех, «но уже с первого движения этой волны, с первой минуты начавшегося освобождения, в стремительном потоке наметилась попятная струйка, которой суждено было разрастись и расшириться настолько, что первоначальный поток и сам смешался, наконец, с этим обратным течением»¹⁴. К «самостоятельной деятельности» нация так и не пробудилась. Своеобразие российской революционной ситуации 1859—1861 гг. в том и состояло, что как раз ко времени, когда «низы» стали приходить в движение, вызванное обнародованием реформы, «верхи» уже выходили из кризиса, порожденного Крымской войной, преодолевали его. Крестьянские восстания — разрозненные и стихийные — были сравнительно легко и быстро подавлены, студенчество утихомирено, клубы и передовые журналы закрыты. Недолгой оказалась и пора прокламационных увлечений, вызванных разочарованием в реформаторской деятельности прави-

тельства, единый «план» действий революционерам-«одиночкам» осуществить так и не удалось. У появившихся прокламаций, свидетельствует Н. В. Шелгунов, «не было ни общего центра, ни общего руководства, это были, скорее, партизанские действия неизвестных отдельных кружков, не имевших никакой связи»¹⁵.

Укажем и на тот вред, который принесло распространение в обеих столицах прокламации «Молодая Россия», по времени почти совпавшее с громадными пожарами в Петербурге (вторая половина мая 1862 г.). Левое фразерство авторов прокламации, старавшихся «нагромоздить» в ней побольше «пороха», «чтобы всем либеральным и реакционным чертям стало тошно»¹⁶, дорого обошлось демократической молодежи. Поползли поощряемые III Отделением слухи о «поджигателях-студентах»; не только консервативная, но и либеральная печать начала травлю революционеров. Правительство, воспользовавшись благоприятным моментом, усилило кампанию террора.

Резкое изменение общей обстановки (она еще более ухудшилась в связи с Польским восстанием 1863 г.) пагубно отразилось на деятельности русского революционного подполья, только-только начавшего формироваться в эти годы.

Где-то в середине 1861 г. в результате договоренности лиц, имевших непосредственные контакты и с «Колоколом», и с «Современником» (Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, Н. Н. Обручев, А. А. Слепцов), возник зародыш уже упоминавшегося тайного общества «Земля и воля». Эта организация приступила к вербовке членов (разбиваемых на «пятерки»), установлению связей с существующими нелегальными и полуполигальными организациями на местах, сделав главной целью своей подпольной работы руководство предполагавшимся в 1863 г. народным восстанием¹⁷.

Подчеркивая важность такого шага, как попытка создания общероссийской подпольной организации, нельзя вместе с тем не видеть тех громадных трудностей, которые встали на пути инициаторов этого дела и которые так и не были преодолены ими. На протяжении трех лет (1861—1863 гг.) в России идет мучительный процесс борьбы за сохранение русского революционного подполья. Единоборство революционеров с царизмом, который с 1861-го и особенно с мая 1862 г. стал прибегать к массовым репрессиям, принялся систематически выкор-

чëвывать «крамолу», не могло не окончиться в ту пору поражением революционеров. Тайное общество «Земля и воля» организовывалось, как писал впоследствии Н. И. Утин, «среди разгара правительственной и общественной реакции»¹⁸. В этом причина хронического, так и не преодоленного кризиса в его саморазвитии, причина его самоликвидации в начале 1864 г.

Крестьянская революция — ожидания и действительность

Российская революционная демократия выступила в «эпоху 1861 года» на борьбу с самодержавием, но потерпела в ней поражение. И все же в переломный момент развития страны она сумела накопить определенный исторический опыт. Главное в нем — выработка и проверка идеи крестьянской революции.

Интересно отметить, что поначалу ни Герцен, ни пропагандировавший на страницах «Колокола» идеалы «крестьянского социализма» Огарев не разделяли идеи крестьянской революции (призывам к «топору» они по крайней мере до середины 1861 г. противопоставляли призывы к «метлам»).

Тем не менее «Колокол» имел самое непосредственное отношение к рождению идеи крестьянской революции. Мы имеем в виду не только шедшие из России и публиковавшиеся на его страницах соответствующие призывы. Мы имеем в виду отмеченный еще Я. И. Линковым любопытнейший факт: пробуждение именно статьями «Колокола» разночинского слоя революционеров в России, пошедших дальше своих учителей. «Н. П. Огарев и А. И. Герцен, — отмечал Линков, — ориентировались... на дворянскую интеллигенцию, а в действительности пробудили своим «Колоколом» к политической борьбе новое поколение освободительного движения — разночинскую, демократическую интеллигенцию. Они проектировали организовать тайное общество для мирного пересоздания России, а подготовили почву для тайного общества, ставшего на революционный путь борьбы за ее освобождение»¹⁹.

Но главная заслуга в выработке и пропаганде идеи крестьянской революции принадлежит Чернышевскому. Еще в 1859 г. он сформулировал с замечательной ясностью основной закон, основное требование руководства массами, будь то «городские простолюдины» или «сель-

ские поселяне». Его вывод, «очень простой и короткий», относится ко всем партиям, желающим «реформ и свободы»: «...знайте, что достигнуть ваших целей, победить реакцию и обскурантизм вы можете, только усвоив себе стремления ваших бедных темных соотечественников поселян и городских простолюдинов. Или примите в ваши программы аграрные перевороты, или вперед знайте, что вы обречены на гибель от реакции» (Ч., VI, 370).

Постепенное выдвижение в центр устремлений «молодого поколения» идеи крестьянской революции, «повсюдного» крестьянского восстания («Крестьянский топор», «крестьянская революция»... вот фон всего революционного мышления того времени)²⁰, — свидетельствовал деятель той эпохи П. Ф. Николаев) потребовало от идеологов обманутого крестьянства разработки не только программных, но и тактических вопросов (тщательное собирание сил разрозненного крестьянства, связь крестьян с передовой молодежью, с передовым офицерством и переходящими на их сторону солдатами, союз крестьянского движения в России с национально-освободительным движением в Польше, Литве). Эти вопросы в той или иной мере ставятся и прорабатываются в знаменитой прокламации Чернышевского «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», в целом ряде документов «Земли и воли», подготовленных с участием Н. П. Огарева, А. А. Слепцова, А. А. Потемкина и др.

Разработка всех этих тактических вопросов приходится в основном на 1861—1863 гг. Но характерно, что уже с 1861 г. Чернышевский начинает все более и более осознавать иллюзорность надежд российской демократии на крестьянскую социальную революцию (как, впрочем, и на общинный «крестьянский социализм»).

Поражение революций 1848—1849 гг. открыло ему, крестьянскому демократу и социалисту, жестокую истину: повсюду, где разрасталась революционная буря, господствующие классы находили в борьбе против революционеров неожиданную поддержку в массах, близоруком эгоизме городского мещанства, но прежде всего в темноте и забитости крестьян. «Французские поселяне, — с горечью отмечает Чернышевский, — заслужили всесветную репутацию тем, что их тупою силою были задушены все зародыши стремлений к лучшему, являвшиеся в последнее время во Франции. Итальянские поселяне прославились совершенным равнодушием

к итальянскому делу. Немецкие мужики в 1848 году почти повсеместно объявляли, что не хотят никаких перемен в нынешнем положении Германии. Английские крестьяне составляют незыблемую опору торийской партии». И далее характерное заключение: «Но что же говорить о каких бы то ни было поселянах, ведь они невежды, им натурально играть в истории дикую роль, когда они не вышли из того исторического периода, от которого сохранились гомеровы поэмы, «Эдда» и наши богатырские песни» (Ч., VII, 875).

Но если даже в передовой Европе середины XIX в. социальная революция терпела крах, пролетариат оказывался беспомощным, а крестьянство большей частью следовало за своими авторитетами — «землевладельцами и духовенством» (Ч., V, 39), то что же давало поначалу Чернышевскому повод предполагать, что Россия, возможно, переживет один из успешных этапов социальной крестьянской революции?

Тем *experimentum crucis* («решающим экспериментом»), который должен был либо подтвердить, либо отвергнуть возможность социальной революции в ее специфически крестьянской форме в России, была проводимая здесь «крестьянская реформа». Этот «решающий эксперимент» как раз проделывала Россия в «эпоху 1861 года», и как раз этот эксперимент был уже позади в Западной Европе. Если правящий класс России боялся, что крестьянство взорвется, узнав о подлинном характере реформы*, то революционеры-разночинцы с тем же самым обстоятельством связывали все свои надежды. Сколь ни велика была апатия крестьянства в годы выработки реформы, полагали они, нарушение интересов мужика при «освобождении» будет столь крупным, что позволит ожидать крупных «перемен». В статье «Начало ли перемены?» Чернышевский прямо напоминает об эпохах, когда французские и иные поселяне действовали «очень энергически» (прежде всего в революции

* См. характерную резолюцию Александра II на возражение министра внутренних дел С. С. Ланского против учреждения в России в 1858 г. временных генерал-губернаторов: «Все это так, пока народ находится в ожидании, но кто может поручиться, что когда новое положение будет приводиться в исполнение и народ увидит, что ожидание его, то есть что свобода, по его разумению, не сбылось; не настанет ли для него минута разочарования? Тогда уже будет поздно посылать отсюда особых лиц для усмирения. Надобно, чтобы они уже были на местах» (цит. по: *Татищев С. С.* Император Александр II, его жизнь и царствование, т. I. СПб., 1911, с. 304).

1789—1794 гг.); он говорит и о том «одушевлении, которым увлеклись было немецкие поселяне в начале XVI столетия». Другое дело — в большинстве случаев удача не сопровождала взрывы крестьянского возмущения, а после «оживленных действий» масса народа впадала в «прежнюю пошлую апатию» (Ч., VII, 877). Но как бы ни был незначителен в свете прошлого опыта шанс на успех, его нельзя было упускать.

«Это все равно, что смиренная лошадь (если позволите такое сравнение), — писал в 1861 г. Чернышевский, нарочито туманя мысль. — Ездит, ездит лошадь смиренно и благоразумно — и вдруг встанет на дыбы или заржет и понесет; отчего это с ней приключилось, кто ее разберет: быть может, укусил ее овод, быть может, она испугалась чего-нибудь, быть может, кучер как-нибудь неловко передернул вожжами. Разумеется, эта экстренная деятельность смиренной лошади протянется недолго: через пять минут она останавливается и как-то странно смотрит по сторонам, как будто стыдясь за свою выходку. Но все-таки без нескольких таких выходов не обойдется смиренная деятельность самой кроткой лошади. Будет ли какой-нибудь прок из такой выходки, или принесет она только вред, это зависит от того, даст ли ей направление искусная и сильная рука» (Ч., VII, 881—882).

Не будем преувеличивать значение фразы об «искусной и сильной руке»: мы знаем, что у первой «Земли и воли» (как, впрочем, и у второй) не было ни сил, ни средств дойти до народа. В революционных прокламациях того времени царил разноречивый, главная из них — обращение Чернышевского к крестьянству — вообще не увидела света. К тому же всего через какой-нибудь год Чернышевский начнет пересматривать вопрос о возможностях руководства крестьянской революцией и ее созидательных потенциях. В статье «Письма без адреса» содержатся поистине трагические обобщения: народ «нас» (т. е. революционеров) «не знает даже и по имени». Грядущее восстание крестьян неизбежно, его породит половинчатый, грабительский характер реформы, но «народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек. Он не делает никакой разницы между людьми, носящими немецкое платье; с ними со всеми он стал бы поступать одинаково. Он не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию» (Ч., X, 90, 92). По существу

уже в 1862 г. Чернышевский увидел тот тупик, в который народничество пойдет спустя два десятилетия.

Резкое изменение позиций было характерно и для Д. И. Писарева, ставшего после смерти Н. А. Добролюбова и ссылки Н. Г. Чернышевского самым популярным в среде демократической молодежи публицистом. Еще в годы нарастания революционных настроений в России Писарев сформулировал идеи так называемого русского нигилизма — отрицания, расчистки пути новому: «Словом, вот *ultimatum* нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть» (П., I, 135). При всей парадоксальности и узости писаревского нигилизма (он отрицал философию Гегеля, пытался ниспровергнуть Пушкина, доказать, что художественное творчество тормозит общественный прогресс и т. п.) нельзя не видеть его заостренности против самодержавно-крепостнических порядков, освящающей их идеологии, против либерального соглашательства, ухода в «чистую» науку и «чистое» искусство. Предельное выражение революционность Писарева нашла в его прокламации 1862 г. по поводу антигерценовской брошюры Шедо-Ферроти. «Династия Романовых, — пишет он, — и петербургская бюрократия должны погибнуть... То, что мертво и гнило, должно само собой свалиться в могилу; нам останется только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы» (П., II, 126).

В годы спада революционных настроений в России юношеский ультралиберализм Писарева сменяется «реализмом». Прежние нигилистические тенденции уже сочетаются здесь с трезвым сознанием того, насколько далека «конечная цель», насколько тяжел путь к ней, насколько несовершенны знания об этом пути. «Быстрого успеха ожидать невозможно». Писарев пропагандирует идеи социализма, но не отрицает прогрессивного значения «капитала» для развития страны. На первый план выдвигаются пропаганда опытного, естественнонаучного знания, задачи увеличения числа «мыслящих людей», приобщения в будущем к «серьезной мысли» и беднейших классов общества. Путь «умственного развития» не исключает и роли таких «двигателей» прогресса, как революции. Революции вызываются не литературой, а «исключительно действием исторических об-

стоятельств», они «случаются редко и проходят быстро», но в любом случае «народное чувство, народный энтузиазм остаются при всех своих правах; если они могут привести быстро к цели, пускай приводят», «люди, умеющие мыслить», помогут закрепить успех. В последние годы жизни Писарев (умер он в 1868 г.) внимательнейшим образом изучает предпосылки Великой французской революции (условия народной жизни во Франции накануне 1789 г., деятельность «популяризаторов отрицательных доктрин»), сам ход революции («Исторические эскизы»). При ясном сознании того, что «результат не соответствовал наивно преувеличенным ожиданиям народа и его вождей», именно народному возмущению приписывается решающая роль в истории. Писарев называет великим «глас народа, который действительно, рано или поздно, оказывается гласом Божиим, то есть определяет своим громко произнесенным приговором течение исторических событий» (П., II, 364—365; IV, 46, 249—250, 216, 400 и др.).

Специфически крестьянская окраска не была присуща ни ранним, ни более поздним идеям революции Писарева. Характерно и то, что, говоря об остроте рабочего вопроса для Западной Европы, он отмечал, что вопрос этот «находится у нас в зародыше». Но Писарев вовсе не думает, что «эта чаша пройдет мимо нас». «Поэтому, глядя на наших западных соседей, — отмечает он, — и вдумываясь в их поучительные ошибки и страдания, мы должны заранее припасать те материалы, которые требуются для удовлетворительного разрешения этого неизбежного и неотвратимого вопроса»²¹.

Выходя на новые рубежи, Писарев во многом продолжал традиции реализма Чернышевского. Напомним хотя бы, что герои романа Чернышевского «Что делать?» далеки от идей крестьянской революции, они обращаются уже к «заводским делам» (Ч., XI, 193—195, 326—336). В деталях революционную концепцию Чернышевского мы разберем в дальнейшем.

* * *

Российская «крестьянская реформа» 1861 г. была частным, национальным эпизодом становления мирового капитализма, что, естественно, не отменяет проявления и в этом эпизоде черт российского своеобразия (слабость революционных сил, связанный с этим самодер-

жавно-бюрократический, полукрепостнический характер преобразования и т. п.). Для «эпохи 1861 года» была характерна и своеобразная «перестановка элементов» в ходе развертывавшейся борьбы — начало более или менее широкого движения «снизу» не *до*, а *после* объявления реформы «сверху» (движение это было сразу же подавлено царизмом).

Эпохой падения крепостного права В. И. Ленин датировал начало размежевания двух — либеральной и демократической — тенденций в социально-экономической жизни (и освободительном движении) России. Он отмечал, что ввиду слабости тенденции демократической в ту пору «дело и не пошло дальше самого маленького «шага» по пути превращения в буржуазную монархию»; он считал, что если рассматривать эпоху падения крепостного права с точки зрения двух типов аграрной эволюции («прусского» и «американского» пути), то надо будет признать победу на первом этапе не второго, крестьянского, а первого, помещичьего исхода, и вместе с тем — незавершенность борьбы, что и обусловило ее продолжение, переход ее на высшие этапы²².

В целом же «эпоха 1861 года» была трагическим временем для сил освобождения страны, которые хотя и сформировались, но были слишком слабы для того, чтобы переломить в свою пользу ход событий. Однако она создала условия для дальнейшего развития освободительного движения в стране. Его проявлением стали «хождение в народ» и события 1 марта 1881 г. В 60-х гг. произошел и существенный сдвиг в развитии революционного сознания в России. Главная заслуга принадлежит здесь Н. Г. Чернышевскому.

НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ «ПРАВИЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ»

В России 40—60-х гг. XIX в. мы видим в рамках оппозиции напластование двух разнородных идеологических процессов: здесь идет создание теории «русского», «крестьянского социализма», ставшего впоследствии знаменем народнического движения; вместе с тем происходит освоение тех же теоретических источников, которые на Западе впитал в себя марксизм — «правильная революционная теория», созданная на Западе Марксом и Энгельсом.

Теоретические предпосылки для ее создания готовила зарождавшаяся еще в конце XVIII — начале XIX в. социальная наука. В центре ее внимания находилось складывающееся в Европе буржуазное общество.

Началось исследование процесса его становления (особенно в трудах историков времен Реставрации), его экономической структуры (английская политическая экономия); вскрывались его разительные противоречия (французский и английский утопический социализм); выработывалась всеобъемлющая идея развития (немецкая философия). Каждая из этих концепций, разумеется, была неполной, односторонней, не доведенной до конца. Гизо, Тьерри, видя в истории борьбу аристократии и народа, «третьего сословия», не фиксируют раскола последнего на борющиеся классы. Анализируя внутренние зависимости буржуазных отношений производства, Смит и Рикардо абсолютизируют данную формацию, отрицают возможность ее замены высшей в результате углубления социальных противоречий. Напротив, на преходящем характере буржуазного общества решительно настаивают Сен-Симон, Фурье, Оуэн, но классовая борьба, «кровавые» революции ими решительно отвергаются, очертания будущего носят в их системах преимущественно фантастический характер. Наконец, концепция исторического развития предстает у Гегеля как движение самого себя познающего Разума, некоей «абсолютной идеи»; попытки Фейербаха спустить философию с неба на землю, освободить ее от теологии, сделать ее

«философией для человека» ведут одновременно к утрате диалектики.

Результаты ученых изысканий на первых порах несовершенны, да и обращаются к ним революционеры редко. Они больше надеются на пламенный энтузиазм, броские лозунги борьбы, не раз терпят поражения, переживают «духовные драмы» и трагедии, вновь и вновь приходят к истине, озарившей еще в 1794 г. Сен-Жюста: «... сила вещей ведет нас, по-видимому, к результатам, которые не приходили нам в голову»¹.

Но постепенно дело меняется. Вырисовывается взаимообусловленность прогресса социальной науки и успехов революционной борьбы. Синтезируя лучшие достижения предшествующей мысли, К. Маркс и Ф. Энгельс вырабатывают материалистическое понимание общественного развития — теоретическую основу революционно-преобразовательной деятельности людей; приступают к организации пролетариата — класса, которому самой историей было уготовано стать могильщиком буржуазного общества.

Происшедший переворот в социальной науке не сразу дает о себе знать в Западной Европе, тем более в России. Но знаменательно то, что передовые русские мыслители — Герцен, Огарев, Белинский, Бакунин, Милютин — примерно с 40-х гг. XIX в. начинают движение в том же направлении, что и Маркс и Энгельс, те же теоретические источники оказываются в центре их внимания.

Но наибольшее продвижение вперед в области переработки классических теоретических источников было осуществлено в России уже в 60-х гг. XIX в. в трудах Н. Г. Чернышевского. И хотя он также не создал научной теории революционной борьбы, однако близко подошел к ней, сумел заложить для ее восприятия в дальнейшем прочную основу.

К историческому материализму

Формально Чернышевский не создал особой научной школы. Его идеи редко развивались в систематизированной форме, они разбросаны по статьям, рецензиям, написанным по самым различным поводам, искажены в связи с необходимостью считаться с цензурой, сформулированы с нарочитой упрощенностью. Кажется, будто что-то мешало Чернышевскому категорически утвердить выдвинутую точку зрения, остановиться на ней, что-то

заставляло удерживать в пределах данной позиции и позицию противоположную. Это «что-то» — осознание сложности и многоплановости проблем, исчерпывающе раскрыть которые он еще не мог, не желая вместе с тем освободиться от них путем мнимого, одностороннего решения. Отсюда — биение мысли в разных, не совпадающих между собой плоскостях, несоотнесенность положений друг с другом, противоречивость, порой озадачивающая исследователей.

Да, Чернышевский действительно противоречив. Но противоречия, как заметил Маркс, не всегда являются признаком слабости мыслителя, они могут свидетельствовать и о «богатстве того жизненного фундамента, из которого, выкручиваясь, вырастает теория»². Это относится в полной мере и к Чернышевскому. Анализ показывает принципиальное единство его теоретических взглядов, цельность позиции мыслителя, неуклонно, хотя и не без противоречий, движущегося от старого к новому — материалистическому пониманию общественных процессов. Эти единство и цельность не лежат на поверхности и нуждаются в выявлении.

Чернышевский был убежденным сторонником «антропологического принципа» в философии, антропологизм пронизывает все его теоретические построения, будь то история, политическая экономия или социализм. Без знания «натуры» людей для него нет знания общества. «Кто не хочет знать людей, — писал он, — тот не хочет знать истины, тот не хочет мыслить» (Ч., IV, 775). Этому принципу исследования, идущему от Фейербаха, Чернышевский не изменял никогда.

Однако быть учеником далеко не всегда означает просто повторять учителя. Начав работу «Антропологический принцип в философии» с рассуждений о человеке как «отдельной личности», наделенной такими качествами, как себялюбие, эгоизм, Чернышевский выходит к сюжетам, мало интересовавшим немецкого философа, — сосредоточению в руках отдельных людей богатства, а также сосредоточению силы или власти. Делается и другой решительный шаг к созданию науки об обществе: границы тех «нравственных знаний», которыми занимался Фейербах, существенно раздвигаются — в них теперь включены политэкономия и политика (Ч., VII, 255, 268, 283, 292). Правда, новое еще соседствует со старым. Чернышевский полагает, что богатство и власть — «средства к влиянию на судьбу других лю-

дей» — являются «посторонними самому человеческому организму», не сознавая того, что и безграничная жажда богатства, и необузданное властолюбие уже вписались в «натуру» человека классового общества. Утверждение Чернышевского: богатство и власть приносят обществу «гораздо больше вреда, нежели пользы» — это, конечно, еще слабое и неточное описание антагонистического характера прогресса. И все же Рубикон позади. Понята важность изучения выявленных факторов. Это изучение становится основным вектором мысли. В его основу положен идущий от Гегеля принцип: «наука признала один только порядок пригодным для всех отраслей умственной деятельности: генетический порядок» (Ч., XII, 172).

Кое-что для движения в новом направлении дает, впрочем, и «антропологическая философия». Уже Фейербах знал о постоянном сложении индивидуальных «эгоизмов», интересов в интерес семейный, корпоративный, общинный, групповой, патриотический и т. п. — одним словом, в «эгоизм социальный». Чернышевский развивает этот, как писал В. И. Ленин, «зачаток исторического материализма»³. Он не только выявляет побуждение группового, кастового интереса возвыситься над общественным (Ч., XV, 23—24), но и осознает противоположность устремлений больших групп людей, занимающих разное место в системе общественного производства: «интереса ренты», «интереса прибыли», «интереса рабочей платы»; убеждается в необходимости ликвидации этой противоположности (Ч., IX, 516). Выдвигая — в традиции Гоббса, Гельвеция, Фейербаха — «расчет личной выгоды» в качестве главного побудительного мотива действий человека, Чернышевский делает этот исходный пункт средством преодоления старого, просветительного мирозерцания. Он отказывается принимать выставляемые напоказ идеологически обработанные мотивы за определяющие причины человеческого действия. Характер сил, которыми движется история, определяют другие импульсы — материальные выгоды и соображения.

Изучение реальных людей в их действительных, притом изменяющихся, обстоятельствах, чем никогда не занимался Фейербах, становится главным для Чернышевского. Начинается разработка «идеи всеобщей истории», в основоположники которой зачисляются Гегель, Гизо, Нибуэр, Шлоссер (Ч., III, 356). Высказанная при разборе

сочинения Гизо «История цивилизации в Европе...» идея о наличии неблагоприятных для прогресса «форм», стремившихся «держатъ трудящихся в полной зависимости от себя... чтобы постоянно захватывать как можно большую часть богатств, производимых трудом» (Ч., VII, 477), обоснована еще недостаточно полно и глубоко. Такая форма, как феодализм, выводится только из завоевания и объявлена неблагоприятной прогрессу. Но сама мысль о подчинении труда, об отчуждении продукта как содержании «цивилизации» глубока и плодотворна — в истории мыслитель ясно видит эволюцию форм труда: «невольнического», «обязательного», «наемного»; материалистическая тенденция в объяснении этой эволюции нарастает.

Верхние ступени исторического развития — переход к наемному труду и его грядущее исчезновение — Чернышевский связывает с промышленным производством: «машина не терпит подле себя невольничества»; «в сфере громадных предприятий стала все сильнее и сильнее выступать тенденция, противоположная безграничному праву частной собственности». Появляется и огромной важности обобщение: «...если изменился характер производительных процессов, то непременно изменится и характер труда... следовательно, опасаться за будущую судьбу труда не следует...» В целом прогресс ведет к воссозданию на новой основе утерянных когда-то форм общинности (Ч., II, 295; IX, 220, 222, 902).

Мыслитель понимает: появление форм подневольного труда в истории человечества — это одновременно появление классов и людей, находящихся в «специальном положении» к остальной массе (Ч., XVI, 555, 556). Предприняты попытки выяснить закономерности общественного прогресса.

«...Общий ход исторического движения состоит в расширении его круга; начинается оно с передовых классов общества и достигает низших слоев народа, что совершается очень медленно» (Ч., III, 645); всякий прогресс «уменьшает силу неравенств» (Ч., IX, 513). В Афинах наблюдалось преобладание «чисто политического элемента» в борьбе; в Риме — «гораздо сильнейшая примесь экономических вопросов»; феодализм произошел из «завоевания», и «поддерживался он насильем»; в новое время «политические формы главную свою важность имеют уже не самостоятельным образом, а только по своему отношению к экономической

стороне дела» (Ч., VII, 31, 477). В этих общих положениях процесс описан недостаточно полно и точно, но примечательно стремление выявить специфику классовой борьбы на разных этапах истории. Верно подмечен и тот факт, что элемент внеэкономического принуждения играл куда большую роль в добуржуазном обществе, на ранних ступенях цивилизации.

В общем и целом «в новом мире процесс развития не только обширнее и глубже, но и многосложнее, чем в классической древности». Суть его фиксируется в формуле, еще не вполне строгой терминологически, но точной по существу: «Мы видели, что интересы ренты противоположны интересам прибыли и рабочей платы вместе. . . Мы видели, что интерес прибыли противоположен интересу рабочей платы. Как только одерживают в своем союзе верх над получающим ренту классом сословие капиталистов и сословие работников, история страны получает главным своим содержанием борьбу среднего сословия с народом» (Ч., VII, 31; IX, 516). Ясно выявлена тенденция к компромиссу уходящей со сцены истории «аристократии» со «средним сословием» и, напротив, непримиримость интересов «среднего сословия и работников» (Ч., VII, 32, 39).

Осмысливая в целом характер исторического прогресса, Чернышевский отстаивал мысль о его неодолимости и вместе с тем сложности, зигзагообразности, тяжести, громадных издержках.

При этом ход прогресса рассматривался и в рамках обычной просветительской дихотомии — взаимодействия знания и невежества, и в рамках взаимодействия «любопытности», «труда» и неких довлеющих над трудом неблагоприятных «форм». Была высказана мысль о необходимости «более прямых средств» преобразования, нежели просвещение, зафиксированы обнадеживающие тенденции, связанные с ростом промышленности, и тут же сделаны выводы: все «ничтожно по сравнению с развитием мысли. Из этого развития все возникает. . .» (Ч., IV, 841—842, 860—861; VII, 477—478, 645; IX, 197).

За явными противоречиями мышления — глубинный поиск. Чернышевский видит все многообразие факторов прогресса, осознает, что в реальной истории они могут меняться по важности местами. Однако он нащупывает и факторы устойчивые, основополагающие. Появляются синтезирующие формулы; самые глубокие из них выявляют первенство «трудовой жизни и средств материаль-

ного существования», «экономических законов, управляющих общественным бытом», вторичность «умственного», в том числе и «политического», развития (Ч., III, 180, 356—357; X, 441). При этом старые определения «просветительства», «антропологического материализма» не уходят из новых определений, а включаются в них как важный, но уже переосмысленный момент.

Начинается работа над в общем-то чуждой просветительству проблемой диалектики соотношения теории и практики в деятельности человека (Ч., III, 207, 238; IV, 293, 746; V, 577; IX, 269, 461—464), уточняется вопрос о роли «знания» в истории, становится все более историчной и «натура» человека. От проскользнувшего в ранних работах определения «человек, развитый цивилизацией» мыслитель довольно последовательно идет к установкам поздних работ: «Если я берусь за дело, я обязан развивать человека в человеке» (Ч., II, 616; XII, 28).

В контексте этих взглядов Чернышевского по-новому зазвучал основной тезис материализма Фейербаха, требовавшего поставить человека на ноги, найти в его земной жизни средства к осуществлению присущего его натуре стремления к счастью. Речь шла о преодолении социальных (прежде всего экономических) препятствий, стоящих на пути к завоеванию индивидом собственной природы, препятствий, существующих к тому же в их данной конкретно-исторической форме. Главный вопрос антропологического учения Чернышевского: «не могут ли быть отношения между людьми устроены так, чтобы соответствовать потребностям человеческой природы» (Ч., IX, 334) — вел, таким образом, непосредственно к критике буржуазного экономического строя.

Критика капитализма. Социализм

Чернышевский — экономист, критик капитализма отдает себе ясный отчет в том, что теоретическое преодоление горизонтов буржуазного строя невозможно без критического переосмысления классической политической экономии. Он движется в русле тех социалистических течений (Оуэн, социалисты-рикардианцы), которые, как отмечал Маркс, «либо сами становятся на точку зрения буржуазной политической экономии, либо исходят в своей борьбе против нее из ее же собственной точки зрения»⁴.

Высоко оценивая научные открытия корифеев классической школы, Чернышевский вместе с тем решительно подчеркивал классовую ограниченность учения Смита и Рикардо — «эта теория выражает взгляд и интересы капиталистов» (Ч., VII, 37). В своих суждениях о национальном богатстве, об эффективности производства, о законах народонаселения политэкономы-классики (не говоря уже об их вульгарных последователях типа Бастиа, Сэя) исходили, по его убеждению, из того выгодного «среднему», а отчасти и «высшему» сословию распределения богатств и средств производства, которое сложилось в буржуазном обществе. Ни о какой исторической обусловленности этих отношений речи не шло; «принцип соперничества» — «частная форма», принимаемая силой «экономического расчета», — объявлялся идеалом общественного устройства (Ч., IX, 413).

Русский социалист не отрицает исторической прогрессивности капитализма, одолевающего средневековые «и рутину и фальшивое самолюбие», быстро развивающего «производство страны». Но он отказывается признать «нормальность» этого строя в свете факта, «ставшего теперь повсюду главным двигателем истории»: «в обществах гораздо богатейших» есть классы, находящиеся в «состоянии величайшей бедности» (Ч., IX, 35, 418).

Отправляясь от этого, Чернышевский вскрывает антагонистичность отношений буржуазного строя. Здесь труд, и только труд есть единственный производитель ценностей, и все же в руки капитала переходит значительная доля, производимая работником. Отсюда следует, что «один должен желать увеличения, другой — уменьшения и приведения к нулю той части ценностей, которая переходит от лиц второго разряда к лицам первого» (Ч., VII, 36, 38). Чернышевский считает, что капиталист покупает труд рабочего; для него еще неясно различие между трудом и рабочей силой, следовательно, происхождение прибавочной стоимости. Но все же попытки (хотя и незавершенные) пересмотра традиционной точки зрения им предприняты. Труд, по мнению Чернышевского, — это такая деятельность, «которая служит мерилom ценностей и однако не должна сама быть ценностью». «Труд не есть продукт, — утверждает он. — Он еще только производительная сила, он только источник продукта» (Ч., IX, 596). Рассуждая о ценности такого «странного товара», как труд, Чернышевский пытается доказать, что сама «продажа и покупка труда» в условиях капитализма

имеют существенное сходство с более или менее смягченными формами «невольничества» (Ч., IX, 537—538). Утверждая, что «сами принципы нынешнего быта мешают благосостоянию массы» (Ч., IX, 643), русский мыслитель считает невозможным выйти из противоречий капиталистической формы производства, оставаясь на почве капитализма, а тем самым на почве его законов и определений. Если объективист Милль, которого Чернышевский переводил и комментировал, уже признавал неизбежность осуществления социализма в будущем, но предпочитал заниматься реформированием капитализма, то Чернышевский протестует против такого забвения конечной цели, отрыва ее от целей ближайших: нелогично говорить одно («надобно ехать в Берлин») и делать совершенно другое («однакож махнемте на нем рукою и поедем в Казань») (Ч., IX, 354).

Чернышевский, по замечанию Маркса, сумел мастерски вскрыть банкротство буржуазно-политической экономики⁵. И все же позитивная сторона «теории трудящихся», которую он противопоставляет «теории капиталистов», сохраняет явные следы своего происхождения (Ч., VII, 49).

Принцип построения новой теории прост: Чернышевский пытается устранить «непоследовательность» классической экономической науки. Опираясь на одну ее сторону, «научно» развиваемую школой Смита, — представление об абстрактных условиях всякого материального производства, он выдвигает ее против конкретных фетишистских и апологетических воззрений на капиталистическое производство; общие принципы он «освобождает» от частной формы их выражения — последние вытекают «не из основных понятий о сущности дела, а просто из внешних обстоятельств, посторонних делу» (Ч., IX, 86). Так, «последовательное, логическое развитие идей Смита о труде как о единственном производителе всякой ценности» приводит Чернышевского к выводу о том, что произведение должно принадлежать тому, кто произвел его; с этой точки зрения и «самый капитал есть произведение труда» (Ч., VII, 37, 41). Другая посылка политэкономов — «личный интерес есть главный двигатель производства» — также получает, по его мнению, полное развитие тогда, когда «продукт бывает собственностью трудившегося над его производством» (Ч., VII, 18—19).

«Теория трудящихся» Чернышевского — это еще не научная политэкономия, а лишь подход к ней. Критика

им буржуазной политэкономии и капитализма существенным образом отличается от Марксовой критики. Марксу было важно вывести критику буржуазной политической экономии из противоречий самой капиталистической системы. Великий русский утопический социалист строит критику капитализма тоже на принципе историзма, принципе развития противоречий данного строя. Но все же главная проблема состоит для него в ином: он пытается вскрыть несоответствие принципов теории трудовой стоимости практике капиталистического общества, стремится продемонстрировать, что буржуазная политэкономия не в состоянии выработать «формулу абсолютно выгоднейшего сочетания элементов производства» (Ч., IX, 465).

И в критике капиталистического общества, и в обосновании идеала будущего Чернышевский опирался на таких «первоклассных мыслителей», как Сен-Симон, Фурье, Оуэн (Ч., IX, 355); он ценил Годвина (Ч., XII, 683); использовал в целях пропаганды и некоторые построения Луи Блана (Ч., IX, 355—366). Но, двигаясь в русле утопического социализма, Чернышевский делает по сравнению с утопистами существенный шаг вперед. В предсказаниях будущего он, как правило, отказывается выходить за рамки «отвлеченных» определений, даваемых экономической наукой. Для него ясны мечтательность, фантастичность картин грядущего у его учителей — «первые проявления новых общественных стремлений» всегда похожи более «на поэзию, чем на серьезную науку» (Ч., VII, 156); сам он светлую картину ожидаемого поместит в романе «Что делать?» в поэтический, мечтательный «Четвертый сон Веры Павловны»...

Общие контуры нового общества, рисуемого Чернышевским, таковы: при социализме происходит «соединение труда и собственности в одних и тех же лицах»; исчезают «отдельные классы наемных работников и нанимателей труда»; уничтожается господствующее при принципе частной собственности «трехчленное деление продукта»; «рента», «прибыль», «рабочая плата» соединяются «в одних и тех же руках» (Ч., VII, 21; IX, 466—467, 487). Присущее процессам «усовершенствованного производства» разделение труда сохраняется, но устраняется ведущая к «порче организма» работника его прикованность к «одной и той же частице дела» (Ч., IX, 188—193). Ликвидируются непроизводительные виды труда, распределение строится в общем-то по уравнитель-

ному принципу: «часть каждого члена общества, по возможности, близка к средней цифре, получаемой из отношения массы ценностей к числу членов общества». При производстве, «мерилом которого служит потребление», строящееся на точном счете «общественных сил и потребностей», прекращаются кризисы, отпадает насильственная утрата рабочего времени, сбереженный труд употребляется на отдых или какое-нибудь новое занятие (Ч., VII, 49, 56, 57; IX, 433). Предусмотрено участие «трудящегося» в управлении всеми делами производства, без его согласия «не делается в товариществе ничего важного» (Ч., VII, 57, 61). Приведем и важнейшие мысли Чернышевского, созвучные мыслям Маркса и Энгельса. В целом социализм продолжает развитие цивилизации, «которая дает самостоятельность индивидуальному лицу, так что оно в своих чувствах и действиях все больше и больше руководится собственными побуждениями, а не формами, налагаемыми извне» (Ч., IX, 854); «альфа и омега наших стремлений — всевозможный простор для развития личности» (Ч., IV, 328).

Социалистическое учение Чернышевского содержит лишь предварительные, самые общие наброски той исторической работы, которую человечеству предстоит осуществить. Но зато он сугубо конкретен, а главное — реалистичен в выявлении средств и путей преобразования действительности.

Историческая деятельность «политиков» и «простолюдинов»

В условиях России Чернышевский не создал теории научной классовой борьбы, хотя существенно приблизился к ее созданию. Но зато он особенно много сделал — здесь мы подходим к своеобразию его движения к научному мировоззрению — для разработки «антропологического принципа» в политике.

К поиску в этом направлении толкала Чернышевского сама обстановка реформы 1861 г. с ее надеждами на царя-«освободителя», призванного, как полагало либеральное «общество» — путем закона, мирно, без потрясений, «примирить противоборствующие стремления», «согласить враждебные интересы», «перевести один гражданский порядок в другой», развязать «вековые узлы», и все это вопреки явному и тайному сопротивлению «владельческой партии», а также вопреки неспособ-

ности «алчной, развратной и невежественной бюрократии», разобщающей царя с народом⁶.

В противовес этому взгляду Чернышевский выделяет две, как он выражается, «основные привычки» самодержавной власти: ее «пристрастие к дворянству» и «бюрократический характер действий». «Непригодность механизма» империи для проведения преобразования доказывается им (особенно в «Письмах без адреса») на конкретных фактах. Специалисты, собранные в тех же редакционных комиссиях для разработки принципов реформы, занимались исключительно мелочной формалистикой, смазыванием кирпичей «один к другому», хотя созывали их, казалось бы, для того, чтобы «обсудить план здания». Они заранее полагали, что основные принципы реформы уже определены всезнающей «высочайшей волей». В свою очередь эта «воля» учитывала лишь тот же узкий самодержавно-крепостнический интерес — желание власти уяснить вопрос «со всех сторон», сделать его «делом всей России» реально обернулось запросом мнения губернаторов, «смотревших на дело с правительственной точки зрения», и губернских представителей, делавших замечания «только с помещицкой точки зрения» (Ч., X, 108, 110, 111, 120 и др.).

Свой дневниковый вывод: монарх, и тем более абсолютный, — «только завершение аристократической иерархии», «вершина конуса аристократии» (Ч., I, 356) — мыслитель-революционер в 50—60-х гг. дополняет выводом: монарх к тому же и завершение конуса бюрократической иерархии. В самодержавной России «при бюрократическом порядке нет ни у кого независимости», следовать «своим убеждениям в делах серьезных никто не властен», даже если бы он был «искренним» сторонником преобразований и стоял бы «в самой главе управления»: «Вы хотите только спросить — ваш вопрос принимается за решение; вы хотите посоветоваться — ваши слова принимаются за приказание; вы ищете опоры — все, до чего вы касаетесь, гнется перед вами. Так уж заведено в бюрократическом порядке, и ничего иного вы не добьетесь от него» (Ч., X, 111).

Свои выводы Чернышевский подтверждает не только разбором хода и исхода «крестьянской реформы» в России, которая свелась к принятию принципа: «Крепостное право должно быть сохранено при провозглашении его отмены» (Ч., X, 111), но и детальнейшим разбором действий самодержавных систем на Западе, точно так

же, «по-видимому, всемогущих, но в сущности беспомощных». В той же Австрии император «сам скован цепями, в которых содержится вся Австрия», и здесь не имеет официального значения «здравый смысл», все опутано «ненужною обременительностью». В Германии власть точно так же ничего не знает об истинных нуждах общества, и, хотя вмешивается в дела «даже самые пустейшие и ничтожные», исполнители ее воли дурно исполняют чуждые им распоряжения и т. д. (Ч., IV, 80; VI, 295—296; VIII, 445, 465 и др.).

Следуя логике мысли Чернышевского, мы пришли как будто к отрицанию особой роли личных качеств правителя в самодержавных системах. Но мысль Чернышевского гибка, диалектична. Отрицает он всего-навсего способность самодержцев творить «добрые» дела. Для дел же «недобрых» самодержавная система открывала полный простор, в ее рамках не было свободы действию политически оформленному интересу сил и классов, противостоящих правящим силам, сам царь и его вассалы — «все связаны безгласною и незаконною взаимною зависимостью». Самодержавные системы и порождали, выражаясь языком романа «Что делать», «трансцендентальных негодяев», являли примеры «виртуозности негодяйства». «Освободить» народ они не способны, зато здесь «убивается энергия народа и разоряется страна» (Ч., X, 110; XI, 61 и др.).

Правда, в эпоху Чернышевского существовали и буржуазные системы представительного правления. Мыслитель вырабатывает критерии и их оценки не по «формальному участию» людей в «формальных актах управления», а по «реальному значению» людей в реальной общественной жизни (Ч., VII, 402); выясняя возможности исторического движения в рамках этих форм, мыслитель видит возможность «спокойного» хода улучшений (в отличие от насильственного), здесь «мирным путем законного требования и прения торжествует всякая осознанная обществом потребность» (Ч., IV, 404, 495; XIII, 244). Но в то же время — и это отделяет Чернышевского от либералов — поклонников буржуазного парламентаризма — им подчеркнуты крайняя ненадежность, ограниченность и такого способа исторического преобразования. Буржуазный парламентский порядок — еще не та политическая система, которая обеспечивает быстрое и полное удовлетворение требований масс; реальная власть по-прежнему находится в руках старых партий,

представителей правящих сословий; рычагом прогресса и здесь остаются поведение нации, акции масс, доходящих порой «до самых границ насильственного действия» (Ч., VI, 90—91, 98).

И все же в истории стран с представительным правлением Чернышевский видит случаи «громادного» позитивного влияния личной воли политика, если тот имеет «определенные убеждения, а не одни личные расчеты», если сможет опереться на прогрессивные силы общества; парламентская система — при всем своем несовершенстве — ограничивает и политиков, привыкших «думать только о себе». «В Англии, где контроль газет и митингов хотя и не так действителен, как воображают англоманы, но все-таки не совсем бессилен и очень полезен, нельзя таким людям упражнять над государством свои способности слишком свободно, и чуть-чуть подалее свернут они с дороги, их или совсем сталкивают, или вворачают на дорогу под уздцы. Государству причинить большого вреда — нет им там воли» (Ч., VI, 141; VIII, 444—445, 579 и др.). И если в системах парламентских становилось возможным более или менее «спокойное» движение, то в системах самодержавных рано или поздно все кончалось крахом системы.

В этом пункте мыслитель подходит к выявлению роли революционных преобразований в жизни общества. Изучение новой истории показало Чернышевскому, что в жизни народов бывали светлые эпохи одушевленной исторической работы, когда массы поднимались на борьбу. Именно этим эпохам общество было обязано решительным продвижением вперед — в краткие периоды «усиленной работы» осуществлялось «девять десятых частей того, в чем состоит прогресс» (Ч., VI, 12—14). И тут же мыслитель подчеркивал: успех никогда не сопутствовал революционерам. Как раз в эпохи революций, в моменты вторжения масс и их вождей на арену политики, в момент громадного и быстрого расширения масштабов и форм общественной практики, обнаруживалось несоответствие замысла и исполнения, слова и дела революционеров, причем это происходило за считанные месяцы, даже недели.

Над разгадкой парадоксальной формы исторического прогресса в эпоху буржуазных революций прежде всего бьется мысль Чернышевского. Почему кратковременный успех массы прокладывает путь господству нового эксплуататорского строя? Чем определялась загадочная

цикличность политических форм в эпоху революций, «вечная смена господствующих настроений общественного мнения»? Почему и решительные прогрессисты, и реакционеры работали «одинаково в пользу умеренной партии»? (Ч., VI, 12—15; VII, 671; IX, 252—254).

Постановка этих вопросов подводит Чернышевского к размышлениям о роли масс в историческом процессе, взаимодействии масс и вождей. Выявляются огромные потенции народных движений и пока еще ничтожная степень их реализации, обнаруживается ограниченность теории и практики революционеров.

Мыслитель фиксирует крайнюю узость кругозора массы, редко замечающей «отношения своих материальных интересов к политической перемене», ее апатичность в обычные времена. На этой узости и апатии держатся насквозь прогнившие порядки и режимы. Он понимает, что масса с громадным трудом втягивается в борьбу. Даже в лучшие для революционеров времена (революции 1848 г., поход Гарибальди) в движении участвовали только тысячи, редко десятки тысяч из миллионов (Ч., VIII, 82—84, 312—313). К этому добавлялось непостоянство настроений масс, втянутых в революционную борьбу, как это было во Франции в 1789—1795 гг. (Ч., VI, 416).

С другой стороны, движения часто возглавляли люди, у которых энтузиазма было больше, чем проницательности, а то и просто «прогрессивные глупцы». Преобразователи приступали к делу явно «раньше времени», были «и нетерпеливы, и нерешительны, и легковерны»; не только модерантисты, но и радикалы часто вступали в противоестественные союзы с реакционерами; большая часть революционеров боялась включить в свои программы «те преобразования, которые нужны массе», например «аграрные перевороты». Сплошь и рядом «люди, лишённые политического знания», оказывались «по своей неопытности и наивности игрушками в руках интриганов»; «плуты» заводили взявшихся за дружную работу людей в «болото»; «доверчивость к обманщикам чаще всего губила доброе дело» (Ч., VI, 339, 369, 370; VII, 785; XIII, 55, 106, 218; XIV, 550 и др.).

В исследовании социальных проблем Чернышевский порой был еще абстрактен, но уже явственно нарастали здесь элементы конкретности и историзма, классового подхода. Так, в работе «Капитал и труд» сделан фундаментальный вывод о причинах неудач народных движе-

ний в новое время: народ «в политическом отношении до сих пор служил только орудием для среднего и высшего сословий в их взаимной борьбе, не сохраняя постоянного независимого положения в политической истории». Перемена к лучшему наметилась только в Англии, где с середины XIX в. «работники составляют между собой громадные союзы для самостоятельного действия в политических и особенно экономических вопросах», их практика и представляет «очень много соответствующего теориям, которые у французов называются коммунистическими» (Ч., VII, 35, 39). В комментариях к Миллю выявлен и другой важнейший факт — буржуазная ограниченность огромного большинства революционеров, принимавших участие в событиях 1848 г. Четко зафиксирована еще одна крайне неблагоприятная для исхода буржуазных революций тенденция — возникновение в ходе их сверхцентрализованных военно-бюрократических режимов — «механизма», «действительно самого лучшего» для «доставления безграничного произвола лицу, держащему его в руках» (Ч., VI, 21).

Выявляются Чернышевским и какие-то универсальные тенденции, действующие в политической сфере антагонистического общества: «стремление власти к расширению своих границ — стремление, замечаемое во всех странах и веках», «власть стремится к всегдашнему удержанию объема, приобретенного по поводу скоропреходящих обстоятельств» (Ч., III, 571, 573). Но при всей широте поиска мысль Чернышевского неизменно возвращается к истории народных движений, к теме: государство и революция, точнее, к теме: государственный человек и революция. Нащупываются какие-то роковые закономерности освободительной борьбы, действующие на протяжении всей известной Чернышевскому истории, — «Лициний Столон и Гракхи имели продолжателей в Марии и Цезаре» (Ч., VII, 31), «та же» история тянется от «Гракхов до Бабефа», далее вплоть до «жалкого 1848 года» (Ч., XIII, 218). Итог раздумий, заверченный уже в ссылке, гласил: «Но только ни один народ до сих пор не спасал сам себя, и даже, в счастливых случаях, приобретая себе самодержавие, передавал его первому пройдохе»⁷.

И в рамках прежних, абсолютистских, и в рамках новых, бонапартистских, форм невозможны ни общественная самодеятельность, ни проведение государственной властью назревших преобразований — именно от-

сюда Чернышевский выводит необходимость революций, точнее, циклов революций. При этом он сознает, что революционный способ исторических преобразований связан с неизбежными издержками — «в ломке многое теряется, от насильования многое замирает», революционные кризисы «очень тяжелы и для ликвидирующих и для ликвидируемых». Но он решительно выступает против тех, кто, исходя из этого, защищает отжившие учреждения (Ч., IX, 390—391; XI, 233 и др.).

Постепенно вырастает сложная и не во всех пунктах завершенная концепция прогресса. Исторический результат, более или менее благоприятный для народа, достигается через ряд «кратких периодов усиленной работы» — революций. Каждая из них, хотя и существенно двигает общество вперед, еще не дает искомого революционерами результата, сменяется откатом, долгим застоном, реакцией. Однако реакция в свою очередь невольно готовит приход нового тура революций, когда по закону «физической смены поколений» подрастут люди, «силы которых не изнурены участием в прежних событиях» (Ч., VI, 13, 15—16). И так вплоть до утверждения парламентских форм, дающих хотя бы ограниченную возможность общественной самодеятельности; так вплоть до утверждения в еще более отдаленном будущем форм социалистических.

Утверждение социализма, как мы видим, мыслилось Чернышевским в результате циклического и очень длительного процесса: «разве одним ударом или двумя ударами была разрушена Римская империя?» (Ч., IX, 832—833). К тому же успех борьбы определяется в немалой степени появлением политиков, ищущих «помощи своему начинанию в самостоятельной деятельности всей массы народа» (Ч., IV, 71). И все-таки главный залог успеха — сознательное участие людей труда в революционном процессе, делает вывод мыслитель, пока «только еще авангард народа — среднее сословие, уже действует на исторической арене, да и то почти лишь только начинает действовать, а главная масса еще и не принималась за дело, ее густые колонны еще только приближаются к полю исторической деятельности» (Ч., VII, 666).

«Что делать?»

Перед русским мыслителем вставала еще одна труднейшая проблема — поиск национального пути развития

в общем движении к социализму. С одной стороны, налицо были застарелость самодержавного механизма, крепостничество (затем его пережитки), делавшие революцию неизбежной. С другой — наступление революции затруднялось темнотой масс, дремавших в «тяжелой латаргии» (Ч., V, 694).

Вместе с тем в определенных элементах отсталой социальной структуры России (сохранение такого архаического элемента, как община) Чернышевский пытается найти опору для ускорения исторического движения страны; он ставит (правда, большей частью в чисто отвлеченном, логическом плане) вопрос о переходе российского общества с низшей фазы развития сразу на высшую, минуя промежуточные фазы или предельно сокращая пребывание в них. Наряду с Герценом Чернышевский становится родоначальником русского народничества, русского «крестьянского социализма».

Развивая эту теорию, Чернышевский отнюдь не пересматривал принципиальные установки своей историко-социологической концепции. Община для него — элемент безусловно архаичный, разрушаемый всем ходом развития цивилизации. Но, поскольку существование общины в стране есть факт, с ним надо считаться. И Чернышевский делает вывод, что община способна послужить смягчению мук родов нового общества, предохранению «массы земледельцев от пролетариата». Это возможно при настоящем размахе «экономического движения в Западной Европе», сущность которого заключается в переходе к крупному машинному производству в форме товарищества (Ч., IV, 307, 341).

Мы знаем теперь: конкретная форма некапиталистического пути, предложенная Чернышевским, оказалась утопичной. Если община и могла стать элементом социалистического переустройства, то только при условии устранения грозящих ей «тлетворных влияний», и прежде всего при сочетании демократической революции в России и пролетарской революции на Западе. Так ставили проблему основоположники научного коммунизма⁸. Этого не случилось. Но при всем том нельзя недооценивать саму попытку Чернышевского найти сокращенный путь построения высших форм цивилизации, путь, соответствующий интересам масс. Если воспользоваться современной терминологией, то можно сказать, что Чернышевский по-своему поставил важнейшую проблему «межформационного» взаимодействия. Проблема эта

приобрела новые аспекты и актуальность в XX в., когда на путь самостоятельного развития вступили прежде зависимые и колониальные страны с их во многом еще архаичной общественно-экономической структурой.

Отметим и еще одно существенное обстоятельство. Пропагандой общинного социализма Чернышевский усиленно занимался в 50-х годах. Затем его интерес к этой проблематике стал угасать. Ревностный пропагандист теории, он все более превращается в скептика, подвергающего сомнению ее установки. В статьях «Апология сумасшедшего», «О причинах падения Древнего Рима» Чернышевский решительно отвергает тезис Герцена об «увядании» западной цивилизации, он еще сильнее, чем раньше, подчеркивает сугубый архаизм российских земельных отношений. Напомним, что никакого следа «общинного», «крестьянского социализма» нельзя обнаружить в таком программном документе Чернышевского, как прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Еще более показательным, что деревенские сюжеты вообще отсутствуют в знаменитом романе Чернышевского «Что делать?». Более того, в нем различимы проблески нового подхода к общественным задачам.

Начав с «невинного» семейного сюжета, писатель искусно вел читателя к важнейшим «политическим вопросам». Он сумел передать ему большую сумму идей: выработки «новых людей», социалистического переустройства общества, создания революционной организации, способной повести народ на борьбу. Бессмертной заслугой писателя было создание образа Рахметова — знающего, бескорыстного, непреклонного, преданного народу профессионального революционера, противопоставленного как беспочвенным мечтателям-революционерам, так и приземленным дельцам от революции. Автор внешне «идиллического» произведения смог показать и величайшие трудности революционной борьбы. Выход из трагического положения — даже после предстоящей России революции, «перемены декораций», герои не раз и не два будут «согнаны со сцены» (Ч., XI, 145, 336) — связывался, по всей видимости, с их обращением к «заводским делам» (Ч., XI, 193—195, 326—336).

Публикация в «Современнике» знаменитого романа «Что делать?» (март—май 1863 г.) была последним крупным актом в общественной деятельности вождя разночинцев. Царизм знал силу революционной мысли

Чернышевского и постарался убить — еще при жизни — этот великий ум.

За десять лет своей публицистической деятельности, продолженной в тюрьме (именно здесь и был написан роман «Что делать?»), писатель заплатил девятнадцатью годами каторги. Привыкший к неустанной теоретической работе, он изнемогал в сибирском заточении. Он писал, чтобы не сойти с ума, одно произведение за другим и уничтожал написанное (до современников дошел лишь незавершенный роман его «Пролог», до потомков — и некоторые другие работы). В Вилюйске, отрезанный от мира бесконечной тайгой, он отказался от предложения властей просить о помиловании. «Мне кажется, — ответил он, — что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа шандармов Шувалова устроена на разный манер, — а об этом разве можно просить помилования?!»⁹

* * *

Сделаем некоторые выводы. Теоретический вклад, сделанный Чернышевским в идеологию революционной демократии, огромен. На заложенной им революционной традиции формировались целые поколения российских революционеров — от революционных народников 70-х гг. до российских социал-демократов. Но они воспринимали наследие Чернышевского во многом по-разному, брали из него разные идеи, развивали разные его стороны. Это объяснялось как различием тех исторических задач, которые они решали, тех ситуаций, в которых они действовали, так и известной неоднозначностью, незавершенностью самого наследия Чернышевского, содержащего как ограниченные моменты, так и глубочайшие прозрения.

Суть последних была связана с тем, что подготовка и проведение «крестьянской реформы» показали Чернышевскому антинародный характер либерализма, ту же необходимость самостоятельного движения масс для победы над самодержавием и крепостничеством, что и в странах Западной Европы. После уроков европейских революций 1848—1849 гг. уже нельзя было говорить и о неклассовом социализме, нельзя было верить в либерализм.

Чернышевский в самых общих чертах осознавал новую общественную ситуацию, учитывал как уроки классовой борьбы в Европе, так и ее специфику в России в

«эпоху 1861 года». Он несомненно возвышался над горизонтом «обычного демократизма», был «мужицким демократом», революционером. Он не просто «просветитель» — он социалист, один из основателей теории «крестьянского социализма», один из родоначальников народничества. Вместе с тем в отличие от народников — своих непосредственных последователей — он не абсолютизировал ни крестьянскую общину, ни крестьянскую революцию. Борьба вокруг общинного идеала и некоторые надежды на крестьянское возмущение, возникшее было в 1861 г., никогда не ограничивали его рамками данного политического момента, не суживали его политического кругозора. И чем более развитыми становились условия общественно-политической борьбы в России, тем явственнее проступали для него грядущее деление классов и партий, невозможность решения острейших проблем российской истории без самостоятельности народных масс и «городских простолюдинов» в особенности. Не случайно же именно Чернышевский предвидел необходимость обращения революционеров к «заводским делам». Несомненно, он обгонял свое время и не сразу был понят последователями — только два-три десятилетия после опубликования романа «Что делать?» «заводские дела» действительно окажутся в центре их внимания и интересов.

Далеко не сразу проникнут и советские исследователи в суть его революционного романа; споры о его содержании продолжаются до сих пор¹⁰.

**НЕЧАЕВ И «НЕЧАЕВЩИНА».
ЗАГОВОРЩИЧЕСТВО В РОССИИ**

Чернышевский и другие люди 60-х гг. были выдающимися представителями революционной мысли и революционного дела. Их влияние на революционное движение было весьма значительным. Но оно было не абсолютным. Более того, движение порой значительно отклонялось от стратегии, начертанной выдающимися революционными идеологами, оно шло по своим особым путям, определяемым той средой, в которой оно зарождалось. И эта сторона дела чрезвычайно важна для понимания революционной традиции в России — как ее успехов, так и ее противоречий, тупиков, зигзагов революционной борьбы. К этой стороне проблемы мы и переходим в данной и последующих главах.

Революционер или авантюрист?

Осенью 1868 г. в среде петербургского студенчества, начинавшего тогда глухо волноваться, появился некто Сергей Нечаев, учитель закона божия приходского училища и вольнослушатель Петербургского университета. Это был «худенький, небольшого роста, нервный, вечно кусающий свои изъеденные до крови ногти молодой человек, с горячими глазами, с резкими жестами»¹. На собраниях он выступал редко, больше присматривался. Студенческое движение его мало занимало: отстаивание прав на сходки, кассы взаимопомощи и общие кухмистерские — все это казалось ему детски наивным занятием. В голове у него складывался куда более грандиозный проект — создать в России могучую тайную революционную организацию, в которой тесно связанные друг с другом кружки, «пятерки», сходились бы к единому центру, «Комитету», а во главе его встанет он, Сергей Нечаев. Эта организация была нужна к февралю 1870 г., когда истекал девятилетний срок временнообязанных отношений между крестьянами и помещиками и, по его расчетам, недовольное «неправой» реформой крестьянство должно было подняться «в топоры» против самодержавно-крепостнического строя.

И он не колеблясь приступает к реализации своих замыслов. В этом хилом теле таилась громадная энергия, настойчивость, сила воли, которые заменяли и нехватку житейского опыта, и ограниченность познаний. Он начинает с себя — с накопления авторитета революционного вожака и даже создания вокруг своего имени героического ореола. Сначала он сообщает друзьям, что его вызывают в жандармское управление. Затем подбрасывает записку с просьбой к прохожему, чтобы ее срочно передали по адресу знакомым, и с сообщением, что его «везут в Петропавловскую крепость». Знакомые кидаются искать его, но и в жандармском управлении, и в крепости им отвечают, что таковой не числится. Наконец, появляется сам Нечаев, уже в Москве, и сообщает, что он бежал из крепости. Взяв заграничный паспорт у товарища, он направляется в Одессу, чтобы попасть оттуда за границу, но вскоре возвращается, поведав о своем новом аресте и побеге. Наконец, взяв паспорт у другого товарища, он в марте 1869 г. уезжает в Европу.

Здесь он сходится с лидерами русской революционной эмиграции М. А. Бакуниным и Н. П. Огаревым и начинает творить революционную легенду уже всерьез. Он рассказывает о создании им в России крупной подпольной организации «Народная расправа», издает вместе с Бакуниным ряд листовок, а также брошюру «Народная расправа» № 1, где оповещает уже на всю Россию о своем бегстве из «промерзлых стен» Петропавловской крепости и призывает к народному восстанию. До его начала революционерам «необходимо придется истребить целую орду грабителей казны, подлых народных тиранов», а заодно «избавиться тем или другим путем от лжеучителей, доносчиков, предателей, грязнящих знамя истины. . .»².

За границей у Нечаева окончательно складывается план и методы действия. По словам Бакунина, «он пришел малу-помалу к убеждению, что, для того чтобы создать общество (т. е. революционную организацию. — *Авт.*) серьезное и неразрушимое, надо взять за основу политику Макиавелли и вполне усвоить систему иезуитов»³. Он пишет «Катехизис революционера» — как бы организационное руководство для своей «Народной расправы». В нем разъяснялось, каким образом ради «освобождения народа, то есть чернорабочего люда» надлежит «разрушить» это «поганое общество», которое дробилось автором «Катехизиса» на несколько категорий, Первые,

«особенно вредные для революционной организации», неотлагаемо осуждались на смерть; вторым была «только временно» дарована жизнь, дабы они «рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта»; третьих, «высокопоставленных скотов» и прочих влиятельных личностей, предполагалось использовать «для разных революционных предприятий», овладев их «грязными тайнами»; четвертых, «государственных честолюбцев и либералов с разными оттенками», следовало «скомпрометировать донельзя» и их руками «мутить государство»; наконец, пятых, «доктринеров, конспираторов, революционеров», «праздноглаголющих в кружках и на бумаге», предписывалось беспрестанно толкать на акции, «результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих».

«Немногие» — это революционеры «первого разряда», у которых «должно быть под рукою несколько революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем посвященных». Основным принципом организации являлось беспрекословное подчинение нижестоящих вышестоящим, «полная откровенность от членов к организатору». Напротив, последний должен был давать рядовым членам лишь частичную, минимально необходимую «для дела» информацию, он мог даже для возбуждения их энергии «объяснить сущность дела в превратном виде».

Революционер объявлялся человеком «обреченным», отдавшим всего себя на служение борьбе «с проклятым миром». Он должен был разорвать всякую связь с законами этого мира, нравственностью, культурой и наукой, дабы усвоить «только одну науку — науку истребления и разрушения»⁴.

Даже «отцу анархии» Бакунину этот документ показался «катехизисом абреков»⁵. Тем не менее Бакунин был поначалу очарован энергией Нечаева и всецело доверился ему. Он даже выдал ему расписку, в которой во всем обязался подчиниться Нечаеву как представителю «русского революционного комитета», даже если бы тот приказал ему делать фальшивые деньги⁶. Кроме того, он снабдил Нечаева мандатом со специально заказанной по этому случаю печатью «Alliance révolutionnaire européenne» — несуществующей организации, за которой стояли Бакунин и его несколько сторонников — анархистов, членов I Интернационала. На мандате за подписью Бакунина значилось: «Податель сего есть один из доверенных представителей русского отдела Всемирного рево-

люционного союза, № 2771». Так на Нечаева как бы ложился отсвет знаменитого «Интернационала». Бакунин также уговорил Огарева стихотворение «Студент», первоначально написанное в честь друга молодости С. И. Астракова, перепосвятить Нечаеву. В стихах рассказывалось о молодом борце за свободу народа, который «жизнь окончил в этом мире в снежных каторгах Сибири».

С таким снаряжением «№ 2771» прибывает в Россию. Прибывает в новом качестве — не только всероссийского, но и международного революционного лидера и даже под новой фамилией — Павлов, что в глазах его прежних товарищей, знавших его как Нечаева, а теперь читавших в привезенном Нечаевым стихотворении, что тот погиб «в снежных каторгах Сибири», придавало ему только бóльшую таинственность и значительность. Нечаев-Павлов сразу же приступает к вербовке членов «Народной расправы». Он действует стремительно: разговаривая с радикально настроенным собеседником, сначала подводит его к выводу о «безмерных страданиях народа», затем убеждает его, что «ежели он не подлец», то не может остаться в стороне, и, наконец, предлагает вступить в организацию и внести какие-то средства. Получив же согласие и взяв в том расписку, Нечаев «изменялся в отношении к согласившемуся совершенно — он приказывал и требовал подчинения его указаниям»⁷.

Страх и угроза компрометации — вот что становилось орудием в руках Нечаева. То он предлагал распространять прокламации и «летучие листки», и когда ему возражали, что это поведет лишь к пустой трате сил и ненужному риску, он заявлял: а я буду присылать их вам по почте, и в ваших же интересах будет сбывать их другим поскорее⁸. Он так и делал — и прокламации вместе с адресами, естественно, перехватывались жандармами. То он собирал подписи желающих участвовать в политической демонстрации, а потом клал список себе в карман, «чтобы держать опрометчивых молодых людей в кулаке, чтобы запугать их и заставить делать, что ему захочется»⁹. Все это творилось совершенно сознательно, по убеждению, что, как передавала взгляды Нечаева его сотрудница В. В. Александровская, если ставить людей «в безвыходное положение, то у них, невзирая на их организацию и воспитание, непременно выработается отважность», готовность к революционному делу¹⁰.

Словом, Нечаев действовал вполне по «Катехизису». В Москве он говорил молодежи об «отделении Комитета»

в Петербурге, в Петербурге же, наоборот, расписывал силу организации в Москве. Он раздает заграничные бланки, превращавшие людей в «членов Женевского революционного общества». Он рассказывает о Международной ассоциации рабочих в Европе, которая насчитывает «уже четыре миллиона членов», образовавшихся «из нескольких десятков рабочих в три года»¹¹. Он присылает подставных ревизоров от «Комитета», «солидно молчавших» на заседаниях того или иного кружка, организует доносы и взаимные проверки членов кружков, присылает «из центра» выговоры ошибающимся или нерадывым. Он является к студентам в офицерском костюме («только со сходки военных, куда нельзя было иначе проникнуть»). Он организует шантаж юриста Колачевского, которому сообщники Нечаева сначала подсунили компрометирующие бумаги, а затем, переодетые жандармами, «накрыли» его и, под угрозой «ареста», вынудили дать вексель на 6 тыс. рублей. Он задумывает организовать «шайку горцев» для «экспроприации» средств на дело революции¹². И тому подобное.

За несколько месяцев Нечаев сумел вовлечь в «Народную расправу» шесть-семь десятков человек. Однако его методы начали встречать сопротивление. Против него выступили деятели студенческого движения М. Ф. Негрескул, М. А. Натансон, Л. Б. Гольденберг. Внутри «Народной расправы» мистификаторские приемы Нечаева встретили противника в лице студента Петровской сельскохозяйственной академии Ивана Иванова. Он отказался выполнять очередное распоряжение Нечаева, всегда прикрывавшегося в таких случаях ссылкой на указание таинственного «Комитета». «Комитет всегда решает точно-точно так, как вы желаете», — бросил он Нечаеву, заявив затем, что выходит из организации и будет создавать свое революционное общество.

Авторитету Нечаева возникла угроза. Иванов был не только членом центрального кружка, но и имел немалое влияние в студенческой среде. И Нечаев решает «убрать» Иванова, заодно «сцементировав кровью» организацию. Он вовлекает в это предприятие четверых человек, в том числе близкого друга Иванова А. К. Кузнецова. 21 ноября 1869 г., заманив Иванова в отдаленный грот Петровско-Разумовского парка в Москве, они убивают его.

На этом, собственно, и завершилась деятельность нечаевской «Народной расправы». Труп Иванова был быстро обнаружен, и полиция в считанные недели перело-

вила членов организации. Сам Нечаев снова бежит за границу. Здесь он продолжает действовать в прежнем духе: помещает во 2-м номере «Народной расправы» статью «Кто не за нас, тот против нас», в которой оправдывает убийство Иванова как результат «суровой логики истинных работников дела»; вторично хоронит себя, сообщая, что по дороге в Сибирь Нечаев «был задушен» жандармами; пишет прокламацию от мифического «брюссельского дворянского комитета» к российскому дворянству с призывом бороться с царизмом. Некоторое время ему помогают Бакунин и Огарев, с которыми он издает кроме «Народной расправы» журнал «Община» и несколько номеров «Колокола». Но он и их пытается прибрать к рукам: похитив часть документов из архива Герцена, он, угрожая компрометацией, обращается к Бакунину и Огареву с требованием новых средств «на дело». Тем становится неважно, и они рвут с Нечаевым политические отношения. К тому же о проделках Нечаева Бакунину подробно рассказал, причем в присутствии самого Нечаева, приехавший из России выдающийся революционер Г. А. Лопатин.

Летом 1871 г. в Петербурге проходит один из первых в России открытых политических процессов по новым судебным уставам. На нем всплывают все подробности и приемы «нечаевщины». Через год агенты царской охраны за границей настигают и самого Нечаева. Арестованный швейцарскими властями как уголовный преступник, он выдается русским властям.

На суде, затем в знаменитом Алексеевском равелине Петропавловской крепости (где он получил, теперь уже от самодержавия, новый номер — «узник № 5») Нечаев держал себя на редкость мужественно. Он сумел подчинить своему влиянию охранявшую его тюремную стражу и через нее в начале 80-х гг. завязал связи с народовольцами. Когда последние предложили ему выбор — или организация его побега из крепости, или убийство царя, он не колеблясь высказался за второе. В 1882 г. он умер в заключении.

Такова вкратце нечаевская история. Она по-разному оценивалась современниками и в последующей литературе. Демократический критик Н. К. Михайловский характеризовал ее как «печальное, ошибочное и преступное исключение» в среде радикальной молодежи¹³. Ф. М. Достоевский в романе «Бесы» поднял явление «нечаевщины» до размеров общенационального бедствия —

«бесовщины», которая мутит Россию. Ряд революционных деятелей (Л. Э. Шишко, В. И. Засулич, Н. С. Тютчев и др.) считали нечаевское дело «случайным эпизодом», вызванным в освободительном движении лишь «необычайною энергиею одного человека»¹⁴. В 20-х гг. нынешнего века некоторые советские историки (М. Н. Покровский, А. Гамбаров, М. Коваленский) поднимали на щит Нечаева, усматривая в его деятельности даже зародыши революционной социал-демократии¹⁵. Эту тему, но с иной, откровенно антикоммунистической подоплекой муссировали некоторые буржуазные историки, отыскивая в «нечаевщине» мифические «корни большевизма»¹⁶. Отповедь подобным спекуляциям была дана в свое время А. И. Володиным, Ю. Ф. Карякиным и одним из авторов этой книги¹⁷.

Кто же такой Нечаев? Какое место в истории освободительной борьбы в России занимает «нечаевщина»? Была ли она незначительным, «проходным» событием, или, напротив, в ней запечатлены какие-то симптоматические тенденции, заслуживающие серьезного рассмотрения?

Истоки и отголоски «нечаевщины»

Бесспорно, в «нечаевщине», и особенно в фигуре самого Нечаева, было немало особенного, исключительного, связанного с гипертрофированным проявлением революционного экстремизма, иезуитских методов и пр. Эта исключительность, как нам представляется, связана не только с индивидуальностью Нечаева, но и с особенностями периода, когда Нечаев начинал свою деятельность. «В 1869 г., — вспоминал народник М. Ф. Фроленко, — люди туго, как бы нехотя вступали в организацию, и она не могла развернуться так широко, как это вышло 4—5 лет спустя»¹⁸. Отсюда такая судорожность, изощренность, иезуитизм методов Нечаева (что было усугублено еще личными качествами его натуры).

Но было бы неверно останавливаться лишь на этой исключительности, не видеть, что за одиозной формой деятельности Нечаева и нечаевцев скрывалось реальное содержание — черты, проблемы, трудности и противоречия, характерные для соответствующего этапа освободительного движения в России.

«Нечаевщина» воплотила в особо уродливой форме незрелость тогдашнего революционного движения, и

прежде всего его организационную и идейную слабость, узость его классовой базы. Разночинская среда, среда мелкобуржуазной демократии, дала во второй половине XIX в. российскому освободительному движению прекрасный человеческий материал. Но та же среда заражала это движение и своими болезнями, сопровождающими процесс деклассирования. Некоторые выходящие из этой среды протестующие элементы испытывают ненависть ко всему, что связано с культурой, наукой, образованием*, они склонны к авантюризму, беспринципны в убеждениях, проявляют неразборчивость в средствах, говоря о «народной революции» выпячивают в центр этой революции собственное «я». В странах с буржуазно-демократическим строем подобные элементы не уживаются долго в рядах политических революционных партий с их принципами демократического централизма, свободы обсуждения, гласности, они быстро «перевариваются» такими партиями или выталкиваются из них. Но в условиях самодержавного строя, господства узкого «заговорщичества», кружковщины, сектантства (одним словом, политической незрелости революционного движения) этим элементам в отдельные периоды создается раздолье, иногда они становятся и во главе движения, обрекая его на экстремистские акции и катастрофические неудачи. Классическим примером тому и была «нечаевщина», проявления которой начались не с Нечаева и не кончились им.

Какие-то нотки нечаевского тотального бунтарства уже слышатся в прокламации начала 60-х гг. П. Г. Заичневского и П. Е. Аргиропуло «Молодая Россия». Там мифический «Центральный Революционный Комитет» грозит в скором времени издать «крик» «в топоры» — и тогда... «тогда бей императорскую партию, не жалей, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах

* «Ходить в школу учиться — срунда, — разъяснял Нечаев своим adeptам, — ибо все развитые люди и само достижение ими развитости есть эксплуатация, так как развитые неизбежно эксплуатируют неразвитых» (Правительственный вестник. СПб., 1871, № 159). Мир знания и культуры ассоциировался им с «цивилизованной сволочью». «Нечего ждать почина авторитетных умников... — писал он своему другу А. Капацинскому. — Надо, брат, полагаться на свои силы, на силы неприютного, голодающего народа» (Красный архив. М., 1926, № 1(14), с. 149).

столиц, бей по городам и селам! Помни, что тогда, кто будет не с нами, тот будет против; кто против — тот наш враг; а врагов следует истреблять всеми способами»¹⁹.

П. Г. Заичневский явился одним из зачинателей заговорщичества в России — течения, ставившего целью посредством небольшой сплоченной революционной организации поднять народные массы и произвести государственный переворот. Продолжателем этой традиции еще до Нечаева, в середине 60-х гг., стал кружок Н. А. Ишутина (И. А. Худяков, Д. В. Каракозов, И. П. Странден, Д. А. Юрасов, М. Н. Загибалов и др.). Он начинал с легальных форм деятельности (организация артелей и ассоциаций в духе романа Чернышевского «Что делать?», устройство воскресных школ), но затем все более стал склоняться к заговорщичеству. К тому же внутри общества замысливается создание террористической группы «Ад», назначением которой были осуществление царубийства, контроль за деятельностью других оппозиционных сил (например, либералов), а также наказание членов собственной организации, «которые бы ей изменили»²⁰.

Эти планы в основном не пошли дальше разговоров, однако 4 апреля 1866 г. член «Ада» Каракозов выстрелил в Александра II.

В последний период деятельности ишутинского кружка многое в нем прямо предвосхищает «нечаевщину». Здесь и толки о таинственном «Европейском комитете», куда якобы входили Бакунин, Мадзини и другие лидеры и который в случае революции в России мог бы выслать восставшим 10 тыс. ружей. Здесь и правила «Ада» в духе нечаевского «Катехизиса»: революционер должен отрешиться ото всего, «потерять свои личные наслаждения... сосредоточить в себе ненависть и злобу ко злу и жить и наслаждаться этой стороной жизни»; принцип жесткого повиновения, так что «если бы какому-нибудь члену было предложено ото всего общества... надеть камень на шею и броситься в воду, то это приказание должно быть исполнено». Однажды, когда один из членов кружка, А. П. Полумордвинов, стал возражать на какое-то предложение, раздались голоса, что его надо убить как слишком много знающего и потому опасного для общества, — вот в зародыше будущее убийство Иванова. Ишутинцы допускали принцип «цель выше средств». Так возникли предложения ограбить почту для добывания средств на дело революции, даже отравить отца одного

из членов организации (В. А. Федосеева), с тем чтобы передать деньги за унаследованное имение на нужды кружка²¹. Конечно, это была скорее платоническая «нечаевщина», но ведь дела всегда начинаются со слов.

И после нечаевской истории следы ее отнюдь не изгладились в революционном подполье. Уже сам нечаевский процесс вызвал неоднозначную реакцию в среде радикальной молодежи. Большинство решительно осудило нечаевские методы, принцип «генеральства» в революционном деле, практиковавшийся Нечаевым. Во многом именно в противовес этому принципу возник кружок «чайковцев», где главным считался принцип союза между единомышленниками на началах нравственности. О. В. Аптекман, И. С. Джабадари, Н. А. Чарушин, П. Л. Лавров, С. М. Степняк-Кравчинский и другие революционеры единодушно определяли «нечаевщину» как наглядный пример «отрицательного» опыта, как попытку деморализовать движение и «отодвинуть его назад», как «дутую затею, построенную на обмане товарищей». Все они постоянно подчеркивали «контраст между Нечаевым и нечаевцами», заявляли, что «средством для распространения истины не может быть ложь», что революционерам нельзя «ни в коем случае строить организацию по типу нечаевской», что такая организация обречена на гибель если не от врага, то от «собственного разложения» и т. п.²² Но раздавались и другие голоса. «...Хотя мы отрицательно отнеслись к мистификациям, практиковавшимся Нечаевым... — вспоминал видный революционный деятель 70-х гг. В. К. Дебогорий-Мокриевич, — но в вопросе об убийстве Иванова после размышлений мы пришли к другому заключению, именно: мы признали справедливым принципом «цель оправдывает средство»²³.

Этот же принцип был записан в § 9 устава «Земли и воли» — одной из самых крупных народнических организаций 70-х гг.²⁴ Централистская иерархия системы кружков (нечаевских «пятерок») имела место во всех значительных организациях последующего периода. На нечаевский «Катехизис революционера» одобрительно и не раз ссылался П. Н. Ткачев, участвовавший вместе с Нечаевым в студенческом движении конца 60-х гг.

И в практике освободительного движения мы наталкиваемся порой — то в намерениях революционеров, то в их действиях — на то, что в той или иной мере может

быть сопоставлено с «нечаевщиной». Народник Н. К. Бух рассказывал об одном революционере, который советовал идти в деревню и сжигать там помещичий и крестьянский хлеб. «Вы признаете, — говорил он, — что голод служит одним из факторов революции? Так почему же не создать его искусственно?»²⁵

В революционной среде возникали планы и попытки поднять крестьян с помощью подложных царских манифестов. Однажды такая идея почти была осуществлена в так называемом чигиринском деле, когда на Украине Я. В. Стефанович, Л. Г. Дейч и другие именем «его императорского величества» стали вербовать крестьян в вооруженную «тайную дружину»; этот заговор на довольно поздней стадии был раскрыт. Несколько раз имели место поползновения революционеров производить фальшивые ассигнации, чтобы «снабдить партию деньгами» и «произвести финансовый кризис, когда надо»²⁶. Для добывания средств планировались и прямые грабежи, ставшие реальной практикой впоследствии — в «экспроприациях» поздних народников, социалистов-революционеров.

Встречались и убийства нечаевского типа. В Самаре в начале 70-х гг. возник кружок П. М. Кошкина, который, кстати, одно время был связан с Нечаевым. В кружке появился «распропагандированный» молодой раскольник, жена которого была недовольна участием мужа в обществе неверующих и как-то пообещала пойти в полицию. Тогда было решено отравить ее, что по настоянию Кошкина исполнил сам муж. Убийством руководитель хотел «сплотить» организацию, но вышло наоборот — оно морально подавило людей, и кружок распался²⁷.

Думается, можно в определенной мере согласиться с выводом, сделанным еще более полувека назад видным советским историком Б. П. Козьминым: «Нечаевское дело, с одной стороны, органически связано с революционным движением предшествующих лет, а с другой, — предвосхищает в некоторых отношениях ту постановку революционного дела, какую оно получило в следующее десятилетие»²⁸. Из этого, разумеется, не следует, что большинство революционеров пореформенного периода были сродни Нечаеву. Напротив, в чистом виде нечаевский тип действительно встречался редко, и субъективно многие революционные деятели искренне отри-

цали нечаевские методы. Дело заключалось в другом — в тех социальных, социально-психологических и культурных предпосылках эпохи, о которых мы уже говорили, а также в причинах политического порядка, порождавших заговорщические тенденции.

«Во имя любви к народу»

Немногочисленной прослойке радикальной молодежи противостоял гигантский репрессивный аппарат самодержавия. Силы были слишком неравны, и в отсутствии массовой поддержки «снизу» слабейшей стороне приходилось изыскивать чрезвычайные средства. Выход виделся в создании крепкой, сплоченной тайной революционной организации, которая превосходила бы своих врагов в дисциплине, убежденности, самоотверженности, искусстве борьбы. Нанося раз за разом чувствительные удары власти, а сама оставаясь неуязвимой, подобная организация в конце концов смогла бы возглавить ожидаемый порыв трудящихся масс.

Нужда в такой организации ощущалась всеми фракциями пореформенного освободительного движения. К созданию «сильной партии», призванной пробудить народ, призывал в своих знаменитых «Исторических письмах» П. Л. Лавров. П. Н. Ткачев с энтузиазмом доказывал в журнале «Набат», что «организованное меньшинство» революционеров имеет серьезные шансы в единоборстве с правительством и при достаточно вялой поначалу поддержке «снизу». Даже анархист М. А. Бакунин не мыслил себе «всеразрушающий народный бунт» без «коллективного Стеньки Разина», под которым он имел в виду «тайную... организацию, сильную своей дисциплиной, страстной преданностью и самоотвержением своих членов и безусловным подчинением каждого всем приказаниям и распоряжениям единого комитета, все знающего и никому не известного»²⁹.

Эта организация замышлялась российскими деятелями не по образцу европейских политических партий: в России не было условий для буржуазно-демократической политической деятельности, да разночинцы-народники и не хотели ее, а были настроены на осуществление сразу «социальной революции», социализма. Это должна была быть скорее военная организация или боевая дружина, скрепленная железной дисциплиной и принципами единоначалия. *A la guerre comme à la guerre.*

Первую практическую попытку создания такой организации осуществил Нечаев. Но во-первых, как уже отмечалось выше, осуществил несколько раньше времени, в те годы, когда разночинская молодежь в своей массе еще не была готова на прямую конфронтацию с властью. Во-вторых, на разночинском этапе в целом — в отличие от пролетарского — централизованная организация немногим превосходила рамки кружкового уровня, она неизбежно оказывалась малочисленной и оторванной от массовой базы, трудящихся. Демократические по содержанию лозунги она оказывалась вынужденной осуществлять недемократическими способами, в том числе и в плане внутривнутрипартийных норм общения. Конечно, данная ситуация не обязательно порождала «нечаевщину» (руководители «Земли и воли» и «Народной воли» в отличие от Нечаева были высоконравственными людьми и не отличались «генеральством»). Но данная ситуация создавала объективную возможность для этого.

Поэтому, решая задачу создания действенной силы в борьбе с самодержавием, подобная организация — и «нечаевщина» особенно остро обнажила это — создавала новые серьезные проблемы. В рядах борцов за «братство, равенство и свободу» насаждался дух слепого послушания, с одной стороны, и дух иерархии, элитарности и соперничества — с другой. По верному замечанию П. Л. Лаврова, Нечаев принес в освободительное движение «раздражительный элемент революционного авторитаризма»³⁰. «Он страшный честолюбец, сам того не сознавая, — разобрался, наконец, Бакунин в своем «бое», как он называл Нечаева, — так как он... отождествил революционное дело с своею собственною особой»³¹. Старый, как мир, демон властолюбия не обошел и революционную среду, он проникал в нее незаметно, поскольку оказывался психологически хорошо замаскированным («я же не для себя, для дела», «не служебную карьеру делаю», «во имя народа» и т. п.).

Далее. Низведение большинства партии на роль простых исполнителей, революционеров «низших разрядов» выглядело вроде бы практичным: как всякое разделение труда, оно обеспечивало высокую степень конспиративности, концентрировало усилия людей и упрощало их задачи. Раньше лишь разговаривали, разъяснял в разгар «нечаевщины» В. В. Александровской революционер-эмигрант М. К. Элпидин, а «теперь пришла другая пора — ничего не говорить, а делать, и делать так, как ука-

жут люди, более компетентные в этом деле, а наша обязанность повиноваться и не рассуждать. Мне велено, и баста! Сдаю свое дело и прощайте — я вас не знаю, вы меня тоже»³². Принцип «вседозволенности» становился всеобщим. Участник убийства Иванова П. Г. Успенский так оправдывался в письме к жене из заключения: «Вот если б я убил на дуэли кого-нибудь, тогда дело другого рода — тогда мужчины стали бы отвешивать почтительные поклоны, а дамы делать глазки и думать: «лучше бы это с моим случилось». Или вдр[уг], если б я украл... Это свое, близкое, родное и понятное, а то убить по принципу — не из-за мести, не из злобы или гнева — дико и непонятно?! Добрые люди не примут в расчет того, что мы так же к себе относились и буквально отдавали себя на жертву...»³³ А через десять лет Успенский, подобно Иванову, был убит — на каторге, товарищами по заключению, из-за необоснованного подозрения в предательстве³⁴. «Принцип» сработал против него самого.

Бакунин пытался исправлять эти крайности «нечаевщины» системой двойной морали: «ложь, хитрость, опутывания» и «насилие» «в отношении к врагам» и «правда, честность, доверие» между членами революционной организации³⁵. Но подобная двойная мораль не решала, а запутывала дело. Не только потому, что подлинный революционер, поборник действительно более справедливого и человеческого общества, даже по отношению к своим противникам стремится свести насилие к минимуму, по возможности гуманизировать каждую фазу борьбы, но и потому, что в революционной организации, где отсутствуют необходимые элементы демократических отношений, а в руководство могут проникать люди типа Нечаева, грань между «врагами» и «друзьями» неизбежно становится зыбкой, насилие обязательно выплескивается и на «своих», если они подозреваются, сомневаются, недостаточно послушны, противоречат руководителю и т. д.

Собственно говоря, по логике нечаевского типа насилие вполне может применяться даже по отношению к тем «униженным и оскорбленным», ради которых совершается революция. Именно так трактовала теория близкого к Нечаеву Ткачева взаимоотношения революционной партии и народа «на другой день после революции». Хотя русский крестьянин и «коммунист по инстинкту», рас-

суждал Ткачев, но в его общине коммунизм кроется лишь «в зерне, в зародыше». В жизни крестьянства преобладают консерватизм, патриархальные традиции и предрассудки, и потому «народ, сам себе предоставленный, не может устроить своей судьбы». Стало быть, революционному меньшинству и после совершения переворота надлежит действовать «единственно только — силой», оно «должно внести свою разрушительно-революционную деятельность и в недра крестьянской жизни...». Ибо, «только обладая властью, меньшинство может заставить большинство, — то косное, рутинное большинство, которое не доросло еще до понимания необходимости революции и не уяснило себе ее цели и задачи, — заставить это большинство перестраивать свою жизнь сообразно... с идеалом наилучшего и наисправедливейшего общежития». «Нам незачем коленопреклоняться перед народом... — рубил Ткачев, — напротив, чем строже мы будем относиться к нему... тем более мы докажем ему свое к нему уважение, свою к нему любовь»³⁶.

Откуда эта логика? Чем навеян этот синтез любви и палки? Думается, что во многом — всей атмосферой тогдашней России, традициями самодержавно-крепостнических порядков с их духом приказа свыше, всеобщего послушания, сыска и слежки, полицейского произвола. Не случайно Герцен подметил в российских революционерах «свой, национальный, так сказать, *аракчеевский* элемент, беспощадный, страстно сухой и охотно палачествующий» (Г., X, 320). Стереотипы господства и подчинения впитывались россиянином буквально с детства, они царили повсюду, воспринимались как нечто непреложное и естественное и потому не могли нередко не отравлять и революционное сознание. Отсюда столь часто возникавшие в среде демократической интеллигенции сектантские перепалки и споры, выливавшиеся порой в состязания самолюбий и ослаблявшие освободительное движение. Отсюда постоянно возникавшая нетерпимость к другому мнению, борьба за влияние, столкновения за лидерство. Знавший Нечаева учитель Ф. Ф. Пуцыкович отмечал в нем «крайний деспотизм относительно образа мыслей» — «он не мог мириться с тем, что его знакомые имеют понятия, убеждения не такие, как он», «с непонятной настойчивостью преследовал их, навязывая им свое»³⁷. Точно так же, к примеру, руководитель извест-

ного народнического кружка в начале 70-х гг. А. В. Долгушин, по отзыву члена кружка Л. Топоркова, относился к окружающим по принципу: «кто со мной не согласен — тот дурак»³⁸. Все это было своеобразной калькой тогдашних российских порядков — «азиатства», как выражался Н. Г. Чернышевский, деспотизма, домостроевщины, отрицания человеческого достоинства, прав и ценности личности.

Столь же объяснима нарочитая бюрократизация революционного дела, а также система контроля и доносительства, которыми так увлекался Нечаев, — рескрипты «Комитета», печати, документы, ревизии, расписки и т. д. Герой романа Достоевского «Бесы» Петр Верховенский, прототипом которого был Нечаев, говорит: «Первое, что ужасно действует, — это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности: у меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы... очень нравится и отлично принялось»³⁹. А ткачевское революционное государство, которое было призвано насильственно вводить «наисправедливейшее общество», — разве не похоже оно на самодержавное российское государство?

Нет, не в результате утраты религии или национального чувства, отхода от «народа-богоносца», как полагал Достоевский, рождалась «бесовщина» нечаевского типа — ни религия, ни национальные традиции никогда не мешали на Руси властям предержащим или помещикам эксплуатировать массы и помыкать ими. Корни «бесовщины» были гораздо более естественными, земными, близкими и простыми: неосознанное следование традициям самодержавно-феодалного угнетения, неспособность психологически преодолеть их в процессе борьбы... с этим же угнетением.

Это обстоятельство отмечали уже современники-революционеры — противники Нечаева. Например, П. Л. Лавров в журнале «Вперед» характеризовал «нечаевщину» как «отрыжку старого общества». «Сила организованной партии революционеров, — писал Лавров, — есть единственное надежное оружие для разрушения политического препятствия». Но подлинно революционная партия не должна опускаться до уровня своего противника, она является представительницей более высоких начал. Поэтому «она не должна позволять ни одного «лишнего» пятна на знамени социальной революции»⁴⁰.

«Производить как можно более и потреблять как можно менее»

Могут сказать: благородные цели порой искажаются или компрометируются неподходящими средствами. Так, конечно, бывало в истории. Но гораздо типичнее, на наш взгляд, иное соотношение: негодные средства выявляют ущербность и несостоятельность самой цели. «...Цель, для которой требуются неправые средства, — писал молодой К. Маркс, — не есть правая цель»⁴¹. Это полностью относится к Нечаеву и «нечаевщине».

Лидер «Народной расправы» не особенно стремился разрабатывать систему послереволюционного общества. Он не раз говорил о том, что свою главную задачу видит в «разрушении», а созидательные функции предоставляет будущим поколениям. В области теории он вообще был беспринципен. Он мог, например, печатать «Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса (в переводе Бакунина) и ссылаться на него в «Народной расправе» как на свою позитивную программу. Он апеллировал к «Интернационалу» и одновременно считал его недостаточно революционным. Он выступал то в духе анархического бунтарства Бакунина, то как сторонник революционного этатизма, наподобие Ткачева, то как поборник созыва Земского собора. И все же какие-то представления о конечной цели у него имелись, и он излагал их в своих изданиях. Этому посвящена, в частности, статья «Главные основы будущего общественного строя». Каким же рисовался Нечаеву его идеал социалистического общества?

Тотчас по низвержении эксплуататорского строя, говорилось в этой статье, революционная партия объявляет все общественным достоянием и организует «рабочие артели». Для тех, кто не захочет вступить в них, будут «закрыты общественные столовые, общественные спальни и все пути сообщений: дороги, почты, телеграфы. Они остаются положительно без средств к существованию и имеют только два выхода — к труду или к смерти». Каждая артель выбирает «оценщика», который регистрирует и регулирует количество произведенного, а также потребности и потребление коллектива. Все эти данные стекаются в учреждение, которое Нечаев называл «конторой», она заведовала делами определенного комплекса артелей, а обществом управлял единый «Комитет».

Физический труд обязателен для всех, кроме работников управления и тех, кто занимается науками и искусствами. Но последние, чтобы получить освобождение от физического труда, должны представить в «контору» проект своих работ и получить их одобрение. Дети воспитываются в особых трудовых школах. Матери могут и сами воспитывать детей, но это не избавляет их от обязанности отработать положенное количество часов в сутки на общественные нужды. Основным началом должно стать стремление каждого «производить для общества как можно больше и потреблять как можно меньше»⁴².

«Какой прекрасный образчик казарменного коммунизма!» — комментировали этот текст К. Маркс и Ф. Энгельс в брошюре «Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих»⁴³. Основоположники научного социализма вели решительную борьбу против бакунизма и «нечаевщины» как разлагающих элементов I Интернационала, как форм незрелого, примитивного социализма.

Конечно, Нечаев был не оригинален в своем проекте будущего общества. Какие-то детали он взял из систем Бабефа — Буонарроти, Ш. Фурье, В. Консидерана, Э. Кабе. Но дело не в патенте на идеи, а в их социальном резонансе в том или ином обществе. В развитом европейском регионе тенденции «казарменности», равно как и утопического социализма в целом, были сравнительно маловлиятельны, они успешно вытеснялись научным социализмом. В России с ее многочисленными феодальными пережитками и социально-культурной отсталостью, где за образцами казарменности было, что называется, недалеко ходить, подобные представления имели под собой более адекватную почву. В условиях «российского» типа буржуазного развития естественно получали распространение национальные вариации того примитивного, уравнительного социализма (или коммунизма), который, по словам К. Маркса и Ф. Энгельса, «не только не возвысился над уровнем частной собственности, но даже и не дорос еще до нее»⁴⁴.

Достоевский в «Бесах» влагает в уста Верховенского — Нечаева такие тирады о будущем обществе: «Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны»⁴⁵. И далее: «Мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство»⁴⁶. Великий писатель был, конечно, неправ, смеси

вая «нечаевщину» и «верховенщину» с социализмом вообще. Но идейно-психологические истоки подобных воззрений им схвачены точно: уравнивательные тенденции, свойственные добуржуазному радикализму в принципе, абсолютизация материальных потребностей и задач перераспределения общественного продукта, забвение духовных факторов становления нового человека, нигилистическое отрицание культуры. Эти тенденции характерны не только для Нечаева, но и для гораздо более образованных представителей разночинства в России (Писарев, отрицавший Пушкина во имя задачи «накормить голодных», Ткачев, осмеявший «Войну и мир» Л. Н. Толстого как выражение «барства»).

Можно сказать так: социальный идеал «нечаевщины» вполне соответствовал тем средствам, которые она применяла в борьбе за него («казарменное» общество фактически начинало формироваться уже на стадии подготовки революции). Так называемый консерватизм Достоевского может быть отчасти понят как своеобразная обратная реакция на подобного рода примитивно-уравнивательный социализм и революционаристский экстремизм, на опасности, связанные с ними.

* * *

Фигуры, сродни Нечаеву, могут встречаться в различных революционных движениях. Например, в середине прошлого века немецкий радикал Карл Гейнцен считал, что «достаточно избить *два миллиона* человек на земном шаре, и дело революции пойдет как по маслу» (Г., X, 61). Но подобные люди и идеи более органичны для стран запоздалого буржуазного развития, его второго и третьего эшелонов. Они являются здесь отражением не только общественной неразвитости, но и остроты накопившихся социальных противоречий, настоятельно требующих разрешения на путях коренных социальных преобразований. Возникает сложная дилемма: революция необходима, но при низком уровне массового политического сознания, при твердолобом упорстве власти, вызывающей ответную реакцию борющихся с ней сил, взаимное ожесточение и крайние средства борьбы, — и события могут принять неуправляемый характер, привести к неожиданным и негативным для общества результатам. Требуется сильная «партия меньшинства», но это таит опасность политического авторитаризма.

Как должен повести себя революционер в этой ситуации? Какими целями руководствоваться и какие выбирать средства?

«Кто хочет быть настоящим революционным деятелем в России, — писал Бакунин в уже неоднократно цитированном нами письме к Нечаеву, — тот должен сбросить перчатки; потому что никакие перчатки не спасут его от несметной и всесторонней русской грязи. Русский мир, государственно привилегированный и народный мир — ужасный мир. Русская революция будет несомненно ужасная революция. Кто ужасов и грязи боится, тот отойди от этого мира и от этой революции; кто же хочет служить последней, тот, зная на что он идет, укрепи свои нервы и будь готов ко всему»⁴⁷.

Казалось бы — констатация реального положения дел, проповедь революционной последовательности и решительности. Но одновременно — фактическая сдача революционного дела «нечаевщине». По существу — непонимание опасности того, что в неустоявшейся, неразвитой социальной структуре лозунги демократии, социализма, братства, свободы и т. д. могут быть перетолкованы в духе нечаевско-ткачевского экстремизма или, если брать современный пример, полпотовщины. На деле — нежелание искать тех конкретных — и нелегких! — решений, которые приводили бы общество к действительно прогрессивным социальным сдвигам, подлинным демократии и социализму, а не к возрождению «старых мерзостей» под новой вывеской. Именно такие решения напряженно искали и находили лучше представители домарксистской прогрессивной мысли (Герцен, Чернышевский, Лавров), а затем Ленин и его соратники.

Особая ответственность революционера в обществах запоздалого развития, с застоявшимися деспотическими формами власти и слабыми массовыми демократическими традициями — вот проблема, которая не перестает быть актуальной в ряде стран и сегодня, которая связана с осмыслением опыта «нечаевщины».

И последнее замечание, касающееся современных спекуляций вокруг имени Нечаева. Чтобы оклеветать революцию, заставить революционеров отказаться от создания боевой партии, реакция ставит знак равенства между «нечаевщиной» и принципом централизма. Но во-первых, извращение каких-либо верных принципов кем бы то ни было не может служить предлогом для отказа от них. Во-вторых, централизм бывает различным,

Централизм коммунистической партии является демократическим. Маркс и Энгельс были самыми последовательными борцами за правильное сочетание демократии и централизма. Ленин постоянно подчеркивал значение организации для победы народной революции, он отстаивал в партии принцип единства действий, строжайшую дисциплину, поистине железный централизм. Но он всегда считал демократический характер централизма условием жизнеспособности партии, ее сознательности, наконец, ее нравственной чистоты. Когда после II съезда РСДРП произошел раскол между большевиками и меньшевиками и встал вопрос о том, какой должна быть пролетарская партия, Ленин, в частности, писал: «Пора, в самом деле, решительно отбросить традиции сектантской кружковщины и — в партии, опирающейся на массы, — выдвинуть решительный лозунг: *побольше света*, пусть партия знает *все*, пусть будет ей доставлен *весь*, *решительно весь материал* для оценки всех и всяческих разногласий, возвращений к ревизионизму, отступлений от дисциплины и т. д. Побольше доверия к самостоятельному суждению всей массы партийных работников. . .»⁴⁸ В. И. Ленину также было абсолютно чуждо представление о том, что вопрос об этике революционного действия не важен для революционера. Ленин писал, что коммунизму нужны люди, которые «ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести», не побоятся признаться ни в каких трудностях и не испугаются никакой борьбы за достижение серьезно поставленной цели. «. . .Нужда в честных отчаянная»⁴⁹, — писал он об одной из трудностей созидательного революционного процесса.

«ХОЖДЕНИЕ В НАРОД»

Движению революционного народничества посвящены десятки, если не сотни, работ, его фактическая история и (предыстория) воспроизведена достаточно подробно в нашей литературе. Опубликованы многочисленные исследования, основные документы народнических организаций, обширные воспоминания многих участников движения. И все же, на наш взгляд, до сих пор остается без ясного ответа ряд вопросов. Как же все-таки возникло народническое движение? Что такое «действенное» народничество не только как тип деятельности, но и как тип сознания? Как вырос его пик — массовое «хождение в народ» в середине 70-х гг., этот удивительный спонтанный порыв сотен и тысяч молодежи?

В трудах исследователей достаточно подробно и вполне обоснованно фиксируются различные предпосылки народнического движения 70-х гг. — социально-экономические, политические, идейные. Говорится о грабительском характере реформы 1861 г., о крепостнических пережитках, об усилившемся после недолгой «александровской весны» административно-полицейском гнете, о нарастании общественного протеста, разбуженного еще Чернышевским и другими «шестидесятниками». Указывается, что «в конце 60-х — начале 70-х годов современникам стали заметны усиление неравенства, пауперизация сельского населения, обнищание различных слоев трудового люда»¹. В частности, отмечается широкий общественный резонанс, который вызывали периодические голодовки в деревне. В итоге всего этого делается вывод, что постепенное накопление элементов возмущения в среде молодежи привело к качественному сдвигу — возникновению широкого движения — «хождения в народ», которое надо рассматривать «как следствие падения крепостного права в России» и истоки которого следует искать «еще в эпохе первой революционной ситуации»².

В принципе подобный подход правилен. Он соотносит народничество с общественными противоречиями пореформенной действительности, выявляет стоящие перед обществом объективные задачи, которые задали содер-

жание, направленность революционной деятельности народников. Но данный подход еще не вполне объясняет нам своеобразие формы движения (массовое добровольное подвижничество), равно как и всех механизмов его возникновения.

Бесспорно также, что народничество возникло как продолжение 60-х гг. По свидетельству С. М. Кравчинского, Герцен, Чернышевский и Добролюбов воспитали «в принципах социализма целое поколение 70-х годов»³. Таинственный образ Рахметова манил в юности воображение Н. А. Чарушина, В. К. Дебогория-Мокриевича и многих других будущих народников⁴. Д. М. Рогачев видел сны в духе Веры Павловны⁵. Все это так. Но подчеркнем: не идеи как таковые порождают общественные движения (иначе, скажем, «хождение в народ» 1874 г. должно было бы произойти где-то десятью годами раньше, когда пропаганда Чернышевского, Добролюбова, Герцена уже начала оказывать сильное воздействие на общественное мнение). Крупные социальные сдвиги и движения, как хорошо подметил тот же Чернышевский, обуславливаются «не словами, а фактами жизни — общественными отношениями» (Ч., X, 139). «Слова» (идеи) тоже нужны, но они «работают» в полную силу лишь тогда, когда попадают на подготовленную почву группового или массового сознания, наиболее непосредственно испытывающего «подземные толчки» общественных отношений⁶. Поэтому, не рассматривая всех, тем более уже разработанных в литературе, факторов народнического движения, остановимся на одном — морально-психологическом. Обратимся к генезису сознания разночинца первого пореформенного десятилетия — сюжету, менее исследованному специалистами.

Действенное народничество как феномен группового сознания

60-е гг. в России — это время крутых перемен, больших приливов и отливов в общественной атмосфере: вслед за послениколаевской «оттепелью» наступает реакция, за реформами следуют попытки их ограничения, демократический подъем сменяется спадом и разбродом передовых сил. Но наиболее глубоки (хотя и менее заметны для наблюдателя) были перепады культурно-психологического порядка. Эпоха реформ стала началом грандиозной ломки всех отношений, институтов, системы пред-

ставлений докапиталистического общества. Одни элементы старого порядка сметались под напором перемен, другие хотя и оставались, но «морально устаревали» буквально на глазах. «Освобождение крестьян, — передает ощущение этих лет О. В. Аптекман, — означало освобождение человека, личности от всякого гнета... Пришел разночинец, сильный, гордый и смелый. Он почувствовал свободу и взял быка за рога.

Падают авторитеты. Рушатся традиции. Идет решительная «переоценка всех ценностей»... Реальное мышление и автономная личность — гвоздь философской программы разночинца»⁷.

Поначалу этот Sturm und Drang развивается довольно успешно. «Дети» решительно оспаривают взгляды «отцов», отвергают все наследие традиционной культуры, которая обвиняется в обслуживании системы «рабства». Разночинский нигилизм выступает как предельный просветительский рационализм, отбрасывающий «неразумные» самодержавно-крепостнические порядки, «темное царство» прошлого. Но постепенно выявляется односторонность, бедность нигилистического образа мышления. Нигилизм был сосредоточен главным образом на отрицании (тургеневский Базаров: «сначала надо место расчистить»), ему не хватало позитивного, творческого начала. Да и само отрицание его страдало крайностями теоретического и морального порядка (сведение обществоведения к естествознанию, «разрушение эстетики», замена нравственности подчеркнутым утилитаризмом, любви — физиологическим влечением и пр.), которые постепенно переставали удовлетворять молодое поколение. В итоге на смену «реализму» и нигилизму писаревского толка приходит умонастроение, которое можно охарактеризовать как социальный утопизм.

Социальный утопизм — явление, присущее переломным, переходным эпохам в жизни общества. В евроамериканском регионе оно проходит через всю историю становления капитализма — от еретических течений во времена Реформации до утопического социализма первой половины XIX в. Новая волна социального утопизма возникает в странах запоздалого буржуазного развития (сначала второго, а затем третьего его эшелона). Социальный утопизм может выливаться в массовые движения (табориты, анабаптисты и пр.), но чаще представлен сравнительно небольшими группами, наиболее остро реагирующими на противоречия общественного развития пе-

реходных эпох. Дух социального утопизма не приемлет наличной действительности и создает конструкцию общества воображаемого, идеального. Вместе с тем подобные проекты не являются лишь химерой — они вызваны к жизни реальными противоречиями общественного бытия, направлены на их устранение. Поэтому независимо от того, что ему не удастся реализовать свои планы, а принятые усилия приводят к иным, непредвиденным результатам, социальный утопизм выступает как одна из форм массового сознания и социального действия.

Если обратиться к структуре утопического сознания — нас здесь, естественно, прежде всего интересует более поздний социальный утопизм XVIII—XIX вв., — то мы увидим, что она отличается симбиозностью и внутренней противоречивостью⁸. С одной стороны, социальный утопизм данного периода вбирает в себя рационализм нового времени, достижения научной и философской мысли. С другой стороны, в нем ощущается влияние традиционных, добуржуазных идей и ценностей, в том числе такого их существенного компонента, как религии. И это вполне естественно. Процесс формационного перехода как раз отличается тем, что новые общественные институты и стереотипы сознания еще не закрепились прочно, а прежние общественные отношения и культурные ценности далеко не сошли со сцены. Более того, традиционные ценности — это особенно характерно для обществ запоздлого буржуазного развития, где ломка традиционных общественных отношений происходит более болезненно и в более сжатые исторические сроки, — могут даже активизироваться, переживать временную реанимацию, что обусловлено компенсирующей, защитной реакцией общественного организма.

Конечно, эти пережитки традиционного сознания и религиозных представлений — мы опять-таки имеем в виду социальный утопизм сравнительно позднего времени — играют по большей части подчиненную роль, они выступают как бы формой, которая в значительной мере уже наполнена новым, нетрадиционным содержанием. Кроме того, надо различать уровни социального утопизма — у его теоретиков, идеологов и у их последователей, представителей «группового сознания». Родоначалники «крестьянского социализма» — Герцен (который, кстати, прошел в молодости этап своеобразного «религиозного социализма») и Чернышевский — были мыслителями вполне рационалистическими. То же самое можно ска-

вать об идеологах народничества 70-х гг. — П. Л. Лаврове, Н. К. Михайловском, М. А. Бакунине, П. Н. Ткачеве. Их целью было рациональное обоснование «справедливого строя», даже принципиальное допущение его утопического, не связанного с наличной действительностью характера. Социология, согласно Михайловскому, должна начать «с некоторой утопии»⁹, т. е. с начертания идеального общества, обеспечивающего гармоническое развитие человеческих способностей. Что же касается религии, то народнические мыслители были ее решительными противниками.

Иное дело — разночинский слой. Следуя за лозунгами «властителей дум» молодого поколения, рядовой представитель разночинства не мог глубоко вникать в тонкости теоретических рассуждений своих учителей. То, что у них было результатом знания или убеждения, для него становилось во многом объектом веры. Механизм превращения теоретической утопии в практическое умонастроение и действие заслуживает специального анализа.

Социализм, вообще говоря, обнаруживал искомую радикальной интеллигенцией перспективу, но он до поры до времени был слишком теоретичен. До 70-х гг. социализм в России был скорее фактом общественной мысли, социологии, экономической науки, но не практической задачей, к которой стремилось новое поколение разночинцев. Чтобы стать фактором общественной борьбы передовой интеллигенции, социализм должен был быть сформулирован как политический и нравственный принцип, как формула непосредственного действия. Эту работу выполнили идеологи «действенного народничества» П. Л. Лавров, В. В. Берви-Флеровский, Н. К. Михайловский, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев.

Продолжив социалистическую традицию 40—60-х гг., они вместе с тем заговорили о социализме другим языком. Они рассказали молодежи о «цели прогресса», об «обязанностях личности», о возможностях, которые раскрываются перед ней на пути развития критической мысли. Главное же, доказывали они, что индивид, поскольку он становится носителем нравственного принципа и «идеи служения народу», способен с шансом на успех противопоставить свою волю силе внешних обстоятельств. Социализм, социальная революция благодаря их проповеди выступили для молодежи как специфическая, личная задача индивида, за выполнение которой он сам ответствен

и которую он должен осознать и обосновать в качестве своего внутреннего долга. Иначе сказать, социализм переставал быть для народнической молодежи только идеей, знанием, он стал определять ее жизнь, убеждения, нравственный облик.

По существу происходит политический сдвиг в среде разночинской интеллигенции, хотя сами народники отрицали «политику» и выступали за «социальную» (социалистическую) революцию. И если учесть, что идеи научного социализма еще не «дошли» до передовой общественной мысли в России, а эксплуатируемые массы были пока не в состоянии вести борьбу не только за социализм, но даже за демократические преобразования, то вряд ли можно удивляться утопической форме, в которой необходимость социального обновления осознавалась передовой разночинской интеллигенцией.

Слов нет, с точки зрения собственно теоретической мировоззрение идеологов народничества, принесшее с собой элементы субъективизма, означало определенный шаг назад по сравнению с Чернышевским и другими «шестидесятниками». Это обстоятельство не раз отмечалось советскими историками. Но не следует забывать, что теоретический взгляд на общественные процессы не может быть идентичен программе непосредственной общественной борьбы. В последней делается упор не на анализ объективно необходимых законов общественного развития, а на целеполагающую деятельность человека как предпосылку преобразования действительности. Вот почему то, что разделяет «шестидесятников», с одной стороны, и народников 70-х гг. — с другой, не может быть сведено лишь к разному истолкованию теоретических проблем. Различие заключалось и в том, что «крестьянский социализм» стал превращаться в фактор практического действия, или, как выразился бы А. Грамши, в «элемент координации людей, в элемент их духовного и нравственного уклада»¹⁰. При этом сказались и различные уровни социального утопизма внутри народничества. Идеологические формулы, которые вдохновляли молодежь, двинувшуюся «в народ», не были «идеями» в привычном смысле этого слова. Сохраняя внешние атрибуты понятий, идеи для народников-разночинцев служили своеобразным выражением хилиастических надежд и эмоций.

Присмотримся в этой связи несколько пристальнее к феномену «действенного народничества» как структуры группового утопического сознания. Трудность его опре-

деления и анализа заключается, по-видимому, в том, что это феномен промежуточного порядка, лежащий на стыке между психологией и идеологией, между религией и наукой, между бессознательным и сознательным. В «действенном народничестве», как и во всяком социальном утопизме, есть нечто от философии, нечто от науки, нечто от религии и нечто от обыденного сознания.

От философии в «действенном народничестве» сохраняется пиетет перед теорией, оно наследует идейные построения Чернышевского и других мыслителей 60-х гг. Но во всякой, даже революционной, теории оно опасается чрезмерной абстрактности, отрыва от реальной жизни и, главное, от практических нужд трудящихся масс. Поэтому оно мыслит не в имманентной для теоретической, философской мысли форме, а в духе практических «велений», императивов общественной борьбы. То, что для Чернышевского является проблемой (трудность втягивания масс в борьбу), для народника представляется сравнительно легким решением. При этом воспринятые идеи учителей (не только Чернышевского, но и теоретиков народничества) значительно упрощаются, в них растворяется утопический ингредиент. Но именно утопизм и субъективизм мышления были тесно связаны с революционным настроением народничества, его решимостью бороться с общественной несправедливостью.

От науки у народника пиетет перед естествознанием, основывающимся на опыте, эксперименте, на наблюдениях объективной реальности. Бюхнер, Карл Фогт, Молешот по-прежнему остаются на знамени молодежи, заметно в ней тяготение и к социальной науке. Следуя за своими идейными вождями, молодежь полагала, что в своих воззрениях она опирается именно на знание. Но объективный, научный критерий был для нее недостаточен, он дополнялся, а нередко и подменялся этическим критерием. Для нее точка зрения социальной науки, абстрагирующейся от морали, есть «буржуазный», апологетический взгляд на вещи. Эта «несостыкованность» этической и научной точки зрения является характерной чертой социального утопизма.

Короче говоря, народнический интеллигент ощущал себя прежде всего «деятелем», а потом уже мыслителем. Действительность выступает перед ним как объект действия, результат приложения его воли к обстоятельствам. Он не отделяет себя от окружающего его мира и не смотрит на него «со стороны» (т. е. посредством объектив-

ного, теоретического анализа), но смотрит на мир как на то, что поддается его непосредственному личному воздействию. При этом соединять свои идеи с деятельностью, превращать их в фактор революционной практики разночинцам-народникам помогало не только рациональное убеждение.

Одновременно со стремлением к «положительному знанию, к критике», читаем мы у видного участника революционной борьбы 70-х гг. О. В. Аптекмана, с конца 60-х гг. среди разночинской молодежи намечалась, правда поначалу довольно смутно, «потребность в религиозном построении». «С разных, — пишет он, — сторон мне приходилось слышать такого рода суждения: мир утопает во зле и неправде; чтобы спасти его, недостаточна наука, бессильна философия; только религия — религия сердца может дать человечеству счастье». Конечно, прямо так рассуждали не все. Но эти «тревоги сердца», как выразительно говорит Аптекман, «мучили нас»¹¹.

Безусловно, «религия сердца» народнической молодежи не имела ничего общего с традиционной религией. Она по сути своей не могла покоиться на религиозных догматах — проникновение новых идейных веяний в сознание молодежи было необратимым. «Почти общей чертой студенчества, — вспоминал о периоде конца 60-х — начала 70-х гг. В. К. Дебогорий-Мокриевич, — был атеизм»¹². Но история не раз демонстрировала такие идейные метаморфозы, которые можно определить известным изречением Дидро: «*Donc, l'athéisme est votre religion*»*. Что означает этот парадокс? То, что неустоявшийся атеизм еще не означает действенное преодоление религии. Он скорее отражает такой тип сознания, в котором религия как таковая хотя уже и утрачивает свое бывшее значение, но потребность веры еще остается (даже веры в постулат об отсутствии бога), равно как другие пережитки религиозного мышления. От «религии» в народничестве 70-х гг. оставалось восприятие некоей совокупности положений как заведомо истинных, наделенных абсолютной, универсальной значимостью. Эти пережитки традиционного сознания не могут быть преодолены сразу (как, скажем, после отмены крепостного права еще долго существовали пережитки добуржуазных отношений в экономике, политической структуре, правовой сфере и пр.), они неизбежно дают о себе знать в групповой и массовой

* Стало быть, атеизм и есть ваша религия.

психологии в переходные эпохи развития обществ, о которых выше шла речь.

Не надо забывать, что многие народники воспитывались в духе искренней веры и некоторые впоследствии указывали на этот момент. «С самого детства, — писал А. Д. Михайлов родителям, — я научился от вас любить ближнего и помогать ему. Истинно христианское, не лицемерное, не фарисейское воспитание согрело в моем сердце любовь великого учителя. Помню и никогда не забуду, как в спальне, при свете лампы, после детской молитвы я слушал ваши рассказы о страдальце за грехи мира, и глубоко западали они в детскую душу»¹³. Д. А. Лизогуб еще ребенком настолько увлекался евангельскими идеями равенства и братства, что «мечтал быть миссионером», представляя себя просвещающим грубых дикарей и гибнущим за свои идеи¹⁴. М. Ф. Фроленко, говоря о своих товарищах, которые «в детстве переживали... искреннюю веру», видели суть христианского учения в том, чтобы «отдать всего себя на служение другим», пояснял, что «на этой почве уже нетрудно было усвоить и учение шестидесятих годов о долге перед народом, о необходимости заплатить ему за все блага, полученные от рождения»¹⁵ *.

Многие исследователи, исходя из бесспорно секулярного характера народнического движения, не придают значения подобным свидетельствам, а ту или иную религиозную фразеологию расценивают лишь как тактические приемы народников, пытавшихся навести таким образом контакт с верующими массами. Да, по своим целям и общему характеру народническое движение было вполне светским, «социоцентричным», и масса революционеров приходила в движение через преодоление религии. И вместе с тем, на наш взгляд, правы те исследователи (например, советский ученый Е. Б. Рашковский), которые подметили, что за народническим секуляризмом скрывалась особая, светская разновидность религиозного по типу сознания, проявлявшегося в социальном утопизме и благоговейно-мифологизирующих представлениях о крестьянстве¹⁶. Наука, прогресс, социализм, народ — все это оказывалось в сознании народни-

* Ограничимся лишь одним примером такой идейной «подстановки»: член оренбургского народнического кружка Л. М. Шигольев писал отцу, что «коммуна — это идея Иисуса Христа, он ее проповедовал, он ее исполнял, он сам жил в коммуналке» (Революционное народничество семидесятих годов XIX века, т. 1. М., 1965, с. 169).

ков не только объектом знания или деятельности, но и предметом глубокой, горячей веры.

Собственно, на эту глубинную духовно-психологическую подкладку народнического движения многократно указывали его современники и участники. С. М. Кравчинский называл «хождение в народ» «каким-то крестовым походом», который отличался «заразительным и всепоглощающим характером *религиозных движений*, где люди стремились «не только к достижению определенных практических целей, но вместе с тем к удовлетворению глубокой потребности *личного нравственного очищения*. . .»¹⁷. Далеко не случайными были ссылки на библейские тексты у И. Н. Мышкина, религиозные по форме прокламации кружка долгушинцев, «религия равенства» В. В. Берви-Флеровского. Даже в обиходной терминологии народников зачастую прорывались религиозные ассоциации. «Уйти на Афон»¹⁸ — так говорили в народнических кружках о походе в деревню. А. О. Лукашевич писал об «обете», «который каждый из нас в глубине души. . . давал самому себе — обет *порвать с цивилизацией*»¹⁹.

Этот настрой постоянно присутствует у массового представителя «действенного народничества» — в его мыслях, переживаниях, выражениях, мотивации поступков, переписке, воспоминаниях и пр. Возьмем такой аспект: революционный порыв молодежи был для нее реализацией стремления к нравственному очищению, личному спасению. Вот как, например, объяснял О. В. Аптекман впечатление, произведенное на него «Историческими письмами» П. Л. Лаврова: «Книга овладела мною, как, скажу, св. писание или коран верующим: она, книжечка, сулила мне спасение, праведную жизнь»²⁰. От кого и от чего же спасались народники? От деморализующего воздействия окружающей среды, мира правящих классов, который признавался несправедливым, эксплуататорским, пошлым, «грязным». В корреспонденции народников неоднократно встречаются опасения насчет того, что «заедает среда», что необходимо вырваться из нее, противопоставить себя ей, дабы сохранить в неприкосновенности свои благие побуждения. «. . . Раньше, чем говорить о деятельности для народа, — говорил И. К. Дебогорий-Мокриевич брату Владимиру, — мы должны сами себя застраховать от опошления, должны принять меры для сохранения своей нравственной чистоты и своих убеждений — а это возможно только при одном условии:

когда мы удалимся от деморализующей среды, откажемся от наших привилегий и станем жить так, как живет народ»²¹.

Максимализм, как специфическое свойство утопического сознания, сказывался соответственно и на образе жизни молодежи. «В то время студент почти гордился бедностью... — вспоминал В. К. Дебогорий-Мокриевич. — Если у кого даже и имелись средства, то это не показывалось, так как на это смотрели нехорошо»²². П. А. Кропоткин отмечал, что в кружке «чайковцев» питались очень скупой, дешево: «не потому, что у нас было мало денег (их у нас всегда было много), но мы считали, что социалисты должны жить так, как живет большинство рабочих»²³. Многие молодые народники уподоблялись В. В. Берви-Флеровскому, который, по выражению С. А. Перовской, проповедовал «добровольную бедность» словно апостол библейский²⁴.

«Добровольная бедность» была лишь одним из проявлений жертвенности — чувства, чрезвычайно характерного для народнической среды. «Интеллигенция того времени похожа была на бабочек: чтобы родить идею, она должна была умереть»²⁵. Это не только образное литературное сравнение, но и вполне адекватное выражение народнического самосознания. «Мы затеяли большое дело, — сказала однажды П. А. Кропоткину С. А. Перовская, — быть может, двум поколениям придется лечь на нем, но сделать его надо»²⁶. Жертвенность народников не была позой, искусственным мученичеством, она органически выростала из убеждений и знания, из боли за других, «сопереживания» всем «униженным и оскорбленным». В. А. Осинский, по словам О. Любатович, «начал свою деятельность с преклонения перед страданием»²⁷. В. В. Берви-Флеровский писал о В. И. Засулич: «У нее на душе всегда было такое множество страдальцев, что у нее никогда в жизни, кроме долгов и плохого платья, ничего не бывало; как только ей в руки попадали деньги, она немедленно все раздавала и жила всегда в долг»²⁸.

Ощущение нарушенной справедливости доставляло народнику не только нравственные, но и физические страдания. Чтобы избавиться от них и обрести равновесие, он готов перенести самые тяжкие испытания. С этим связано у большинства ощущение своей исторической виновности. О том, насколько напряженным было это ощущение, свидетельствует рассказ Н. С. Русанова о своем

однокласснике-гимназисте В. Г. Подарском, который «кончил жизнь самоубийством, мучаясь сознанием, что мало принес пользы людям. . .»²⁹. Впоследствии его имя Русанов сделал своим литературным псевдонимом.

Сам Русанов руководился аналогичными побуждениями, когда в восемнадцать лет он решает «уйти от сытых и пойти к голодным». Он отказывается от посылавшегося отцом небольшого пособия — оно представлялось ему «канатом, который привязывает мои революционные корабли к старому берегу. Романтически настроенное воображение укоризненно рисовало мне библейского богатого юношу, который не роздал имения, по словам Христа, и не пошел за источником жизни вечной. . . А я, я пойду за новым источником. . .»³⁰.

Иногда молодые народники напоминали каких-то монахов. Н. В. Васильев, сын выдающегося русского востоковеда В. П. Васильева, объявил отцу, что он намерен поселиться в избушке у лесного сторожа, так как его убеждения не позволяли жить «баринном в барских хоромах». И вот он селится там, как он выражается, «отшельником». «Я спал здесь на голой скамье, питался по большей части скудной пищей стариков и был в своем роде счастлив»³¹.

Но глубина и интенсивность веры народников выражались все-таки прежде всего в жажде деятельности, в твердом убеждении, что вера без дела мертва. Один из участников «хождения в народ», проходивший затем по «процессу 193-х», говорил о своих сверстниках, что им хотелось «*делать что-нибудь, а не книжки читать и на сходках разговоры разговаривать*»³². И эти намерения постепенно претворяются в жизнь.

Начало 70-х гг. отмечено нарастающим по активности «кучкованием» молодежи, возникновением различного рода обществ и ассоциаций. Сначала это были общие кассы, библиотеки и кухмистерские, затем — кружки самообразования и научно-просветительские общества, студенческие коммуны, которые «служили очень сильным средством для развития общинных склонностей в молодежи и были чем-то вроде школ практического социализма»³³. Наконец, формируются кружки (самым крупным и значительным из которых являлся кружок «чайковцев»), которые приступают к практическим мероприятиям — изданию и распространению революционной литературы, вербовке сторонников, активной пропаганде своих взглядов. И в этом распространении вширь отчет-

ливо проявляется элемент своеобразного миссионерства, активного и настойчивого проповедничества. Вот характерное впечатление О. В. Аптекмана об одном из видных народников-революционеров — М. Р. Попове: «Слышалось такое непоколебимое убеждение, такая суровость... в его манере говорить, в его тяжелых словах... что слушающий поддавался его влиянию... «Родионыч» (так мы его называли)... как догматик-учитель, начетчик-раскольник, гипнотизирует мысль, связывает чувство и покоряет волю, направляя их в желательном ему направлении»³⁴.

Особое место в народнической иерархии ценностей занимало понятие «народ».

Наверное, можно согласиться с Н. А. Морозовым, который расценивал движение 70-х гг. как борьбу передовой интеллигенции, образованных слоев с правительством «за свою свободу, которую они сливали со свободой всей страны...». «Не чувствуя за собой достаточно сил, — писал он, — они обратились за помощью к простому народу под первым попавшимся идеалистическим знаменем и сделали из крестьянства себе бога»³⁵. Такой взгляд в общем фиксирует объективную тенденцию освободительного движения в долговременной исторической перспективе. Но применительно к конкретному отрезку 70-х гг. он является и некоторым упрощением. Для ранних народников крестьянство было не просто подсобной силой, средством в политической борьбе — оно было целью, средоточием всей жизни, объектом глубокой веры, предметом поклонения. А. Д. Михайлов всегда писал слово «народ» с большой буквы. О. В. Аптекман вспоминал, что он однажды привязался к какому-то случайному крестьянину «чисто физической привязанностью». «Я просто любил сидеть около него, — писал он, — этого нескладного, серого, довольно-таки грязного пензяка»³⁶. А. О. Лукашевич с какой-то «платонической любовью» глядел как-то в вагоне «на владимирских каменщиков, изображающих собой народ — этого дорогого для меня незнакомца, с к[ото]рым я так давно горел желанием познакомиться»³⁷. В. Г. Дебогорий-Мокриевич сравнивал свою «влюбленность в мужика» с «тайнством евхаристии»³⁸. Подобных свидетельств можно привести десятки. Они показывают, что «хождение в народ» выходило за рамки обычной политической акции, оно вылилось в своеобразное приобщение к источнику того, что признавалось за воплощение справедливости и добра.

«Народопоклонство» интеллигенции было вызвано рядом причин. Дело не только в том, что крестьянство образовывало наиболее многочисленный и вместе с тем наиболее угнетаемый класс российского общества, что оно воспринималось в духе социализма как хранитель традиционно-общинных, небуржуазных институтов и идеалов. Стержнем всего народнического восприятия крестьянства являлись аксиологические и этические представления, подчинявшие себе все другие аспекты утопического сознания. Вера в народ исходила, другими словами, не столько из объективных качеств и нужд самого крестьянства (хотя постепенно народники приходили к осознанию его социальных интересов), сколько из внутреннего, нравственного стремления интеллигента-разночинца найти опору своей жизнедеятельности. «Народ» играл роль того «икса», при подстановке которого все миропонимание народнической молодежи обретало стройность и законченность. Именно в понятии «народ» сконцентрировалось все, что искала народническая интеллигенция: потребность в нравственном очищении, в растворении личного в надличном, в служении ближнему, с одной стороны, и глубокая вера в торжество социальной справедливости начал «общинного» социализма — с другой. При таком личностно-психологическом настроении поклонение было, естественно, обращено не к реальному, историческому, а к воображаемому народу, который наделялся всевозможными достоинствами и добродетелями.

Утопическое сознание подходило к миру не по принципу реальности, а по принципу долженствования. Отсюда беспепелляционный ригоризм в разделении всех и вся на «друзей» и «врагов» народа. «...Всякий человек... — писал один из «хожденцев» в народ — С. С. Голушев, — не отдавший совершенно на служение народу, является непременно паразитом и воров»³⁹. Отсюда, наконец, встречавшиеся иногда у ряда деятелей элементы антиинтеллектуализма, культ физического труда, отрицание «цивилизации» у части народников (особенно четко проявившиеся в среде русских бакунистов), которые «были... уверены, что народ сам укажет интеллигенту, желающему слиться с ним, что он должен делать и куда направить свои силы»⁴⁰. Подобные тенденции проистекали не из сознательных антикультурных установок — они были результатом того же утопического сознания, готового во имя «истинного социального бытия» и «блага народа» на любые крайние выводы.

Народнический тип сознания явился тем мощным аккумулятором энергии, который стимулировал массовое движение и создал в начале 70-х гг. новый тип личности, ярче всего проявившийся в лидерах революционного подполья. «Никогда впоследствии,— вспоминал П. А. Кропоткин,— не встречал я такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать, которых я встретил на первом заседании кружка чайковцев. До сих пор я горжусь тем, что был принят в такую семью»⁴¹.

Поразительными были самоотверженность этих людей, готовность отдать самих себя на служение другим, бескорыстие и бесребреничество. П. И. Войнаральский жертвует свое состояние в 40 тыс. рублей на революцию. В своей мастерской он повесил сумку, в которой всегда находились деньги, чтобы всякий революционер мог брать оттуда средства для своих нужд. Так же поступает Д. А. Лизогуб, происходивший из семьи крупных помещиков. Многие будущие народники, подобно С. Ф. Ковалику или Н. А. Морозову, бросали свою научную или служебную карьеру во имя осуществления своих социальных мечтаний.

Но этот романтический идеализм и нравственная чистота сочетались с жадной действительностью, решимостью к поступку, неукротимой волей и практической хваткой. Для этих людей, казалось, не было ничего невозможного. Они могли, как С. С. Синегуб, поехать спасать от родительской неволи девушку, вступив с нею в фиктивный брак; ходить, как Д. М. Рогачев, с бурлаками в подражание легендарному Рахметову; как М. Ф. Фроленко, устроиться надзирателем в тюрьму для организации побега товарищей; как А. И. Желябов, на спор остановить на ходу пролетку с седоком. Вера в правоту своего дела окрыляла их, мобилизовывала все их душевные силы, превращала их в крупных людей. Даже В. К. Плеве, допрашивавший Д. А. Клеменца, признавал, что имеет дело с выдающимся человеком. Большой ученый погиб в Н. И. Кибальчиче. Один из видных землевольцев, Ю. М. Тищенко, впоследствии стал крупным изобретателем и организатором нефтяной промышленности. Столь же значительны, каждый на свой лад, были и другие народнические лидеры, о которых еще при их жизни ходили легенды.

Конечно, таких людей было немного. Но они образовывали духовный, нравственный центр, вокруг которого

собирались сотни и тысячи последователей. В народничестве чрезвычайно ярко проявились внутренние закономерности (присущие всякому крупному общественному движению), когда многие его участники действовали, как выразился О. В. Аптекман, «под влиянием подражания, внушения, — если хотите, психической заразы»⁴². Д. А. Клеменц рассказывал о том, что в начальный период «хождения в народ» его знакомого, «нелегальщика», «просто одолели барышни», просившие фальшивый паспорт для похода в деревню, так как сейчас-де «все идут в народ». По мнению самого Клеменца, в этом движении было немало тех, кто отправился в деревню, «чтобы не отстать от других»⁴³.

«От других» — это прежде всего от организаторов разночинской молодежи, которые пользовались в ее среде нравственным авторитетом. Вот рассказ О. В. Аптекмана об одном из руководителей студенческих кружков — Малютине: «Среди молодежи он пользовался каким-то особенным уважением. О нем говорили полупшепотом. У него-де уж много раз были обыски, и сейчас он будто находится под надзором (Малютин привлекался еще по нечаевскому делу. — Авт.). Когда я расспрашивал о нем товарищей, мне отвечали: «Малютин далеко видит». Это окружало его каким-то ореолом в моих глазах»⁴⁴. Подражание радикалам, присоединение к ним, приобщение к революционному движению в значительной степени стимулировались тем, что можно назвать «романтикой подполья». Молодого Н. А. Морозова потянула именно нелегальная деятельность, «где... было так необычно и непохоже на жизнь остальных людей», где можно «совершить нечто героическое»⁴⁵. А. И. Баранников, после ареста окидывая взглядом свою революционную деятельность, писал родным: «Завидна, право, моя жизнь: за короткое время столько ощущений, да каких ощущений! Я убежден, что в глубине души вы завидуете моей доле, и немудрено — ваша жизнь такая неприглядная, бледная, скучная. Одна мысль о том, что и я мог бы так же провести свою жизнь, как и вы ее проводите, приводит меня в ужас»⁴⁶. Такое самоощущение было связано не только с романтизмом молодости, но прежде всего с единством убеждений и сознания, присущим народникам. Молодежь жила, чувствовала и познавала мир в соответствии с идеей социальной революции. Последняя выступала в сознании народников не знанием, а искомой формулой личной жизни, способом нравственного существования инди-

вида. Благодаря этой утопии разночинцы отрешались от старого мира, приобретая волю действовать, стараться изменить окружающую действительность.

Итак, настроения социального утопизма, нарастающая в разночинской среде вера в деятельность для народа, наиболее ярко сфокусированная в лидерах, неотразимо притягивавших к себе все новых последователей, — вот что придало народническому движению специфическую форму «хождения в народ». Постепенное накопление революционной энергии, воли к действию привело к качественному сдвигу где-то к концу 1873 — началу 1874 г. «В эту зиму молодой Петербург кипел в буквальном смысле слова и жил интенсивной жизнью, подогреваемый великими ожиданиями. Всех охватила нестерпимая жажда отрешиться от старого мира и раствориться в народной стихии во имя ее освобождения. Люди безгранично верили в свою великую миссию, и оспаривать эту веру было бесполезно. Это был в своем роде чисто религиозный экстаз, где рассудку и трезвой мысли уже не было места. И это общее возбуждение непрерывно нарастало вплоть до весны 1874 г., когда почти из всех городов и весей начался настоящий, поистине крестовый поход в российскую деревню. . .»⁴⁷

«Разделяющая стена между нашим братом и народом»

В принципе форма «хождения в народ» была нащупана давно. В начале 60-х гг. «узнавать настроения народа» пытались (по заданию «Земли и воли») А. А. Слепцов, Л. Ф. Пантелеев. По семи губерниям ездили агитаторы из казанского отделения «Земли и воли». . . Один из них, штабс-капитан И. Иваницкий, предполагал организовать деревенский бунт так: «Возьму сделаю красное знамя, вышью в середине его золотыми буквами «земля и воля», и я уверен, что у меня в первый же день будет 600 человек, а в течение первой недели 6 тысяч. . .»⁴⁸. Появлялись одиночки, например А. А. Красовский, разбросавший прокламации в одной деревне; слово «народ» было для него чем-то священным, и произносил он его «дрожащим голосом, говорил о народе со слезами на глазах и с нервной жестикуляцией»⁴⁹. Еще более колоритна фигура этнографа и «ходока» в народ П. И. Якушкина, послужившего для Н. А. Некрасова прообразом Веретенникова в поэме «Кому на Руси жить хорошо»; известность Якушкина была настолько велика, что в Париже

продавались его карточки в крестьянском костюме с надписью: «Pougatscheff»⁵⁰. Аналогичны примеры собирателя фольклора историка И. А. Худякова из ишутинского кружка, нечаевца И. Г. Прыжова, исследователя «Руси кабацкой». О том, что это были не единичные явления, свидетельствует принятый еще в 1857 г. специальный указ насчет лиц, ходящих «по городам, посадам, селениям, ярмаркам, большим и торговым дорогам для собирания исторических, статистических, этнографических и т. п. сведений», которым настрого запрещалось «делать ложные разглашения» и «распространять рассуждения и толки, предосудительные для правительства...»⁵¹.

И в период, непосредственно примыкающий к 1874 г., мы имеем различные попытки «хождения в народ». Планы широкого изучения «крестьянских мнений» возникли в 1869 г. в кружке М. А. Натансона. Г. А. Лопатин и Ф. В. Волховский замысливают «Рублево общество», союз «странствующих учителей». В 1870 г. в Олонецкой губернии вели пропаганду среди крестьян С. В. Зосимский, В. В. Рейнгарт, Л. Б. Гольденберг, В. П. Ружевский, изучал жизнь деревни в Поволжье И. Е. Деникер. В 1873 г. целенаправленное, с распространением прокламаций, «хождение в народ» осуществили члены кружка А. В. Долгушина (Л. А. Дмоховский, Н. А. Плотников, И. И. Папин, Д. И. Гамов, А. Васильев и др.). К числу ранних «ходженцев» принадлежали «чайковцы» С. Л. Перовская, С. М. Кравчинский и Д. М. Рогачев.

Таким образом, 1874 год был подготовлен предшествовавшими попытками. Однако при всем том он означал гигантский скачок — как по массовости движения и его радикальной направленности, так и по последствиям случившегося. Конечно, состав движения был довольно разношерстным, в его рядах находилось немало таких, которые стремились поначалу (как С. С. Голоушев) просто «узнать народ»⁵², «увлекались новизною дела или желанием порисоваться»⁵³. И вместе с тем «видно было, что народилось что-то важное, серьезное»⁵⁴.

Как и всякий взрыв, «хождение в народ» 1874 г. было «стихийным движением»⁵⁵. Какие-то начатки организации имели место: П. И. Войнаральский накануне объезжал ряд городов с целью объединения революционных сил, И. Н. Мышкин пытался создать общую кассу, вокруг «чайковцев» группировались представители нескольких провинциальных кружков. Но в целом движение

«прошло широким неорганизованным потоком»⁵⁶. Другой отличительной чертой «крестового похода» в деревню была безоговорочная уверенность его участников в быстром успехе, в том, что им удастся смести буквально все преграды и поднять крестьянские массы на борьбу. «Какое-то особенное легкоеверие, — вспоминал член «Киевской коммуны» Н. Левенталь, — какой-то неотразимый оптимизм о пьяняли молодежь»⁵⁷. Н. К. Бух писал, что «на деревни и села мы смотрели как на ряд смежных складов взрывчатых веществ»⁵⁸. Некоторые «шли уже выбирать позиции для будущей артиллерии», поскольку предполагалось, что революция произойдет никак не позже, чем через три года⁵⁹.

Как же действовали пропагандисты? Они шли в народ под видом фельдшеров или оспопрививательниц, ярмарочных торговцев, ремесленников, переодетых крестьян, якобы идущих на заработки или возвращающихся домой. Предварительно (а чаще на ходу) они проходили определенную подготовку: обучались плотницкому или сапожному ремеслу, закупали нехитрый товар для перепродажи и т. д. С собой они несли различного рода брошюры и листовки (по большей части созданные членами кружка «чайковцев»): «Хитрая механика» В. Е. Варзара, «Сказка о Мудрице Наумовне» С. М. Кравчинского, «Чтой-то, братцы» Л. Э. Шишко, «Сказка о четырех братьях» Л. А. Тихомирова и др. Главной формой воздействия была в основном устная пропаганда, которой молодые народники предавались со страстью. О. В. Аптекман говорит о «непреодолимой потребности» в учительстве, «прозелитизме», которым была охвачена странствующая молодежь⁶⁰. Пропагандировали везде: в артелях, в поле, на ярмарках, в крестьянских избах, где останавливались на ночлег, даже в кабаках, где приходилось «глотать эту гадость», чтобы установить контакт со слушателями. Некоторые агитаторы (например, долгушинцы) даже предлагали крестьянам деньги за то, чтобы те уговорили сельский сход не платить податей или присоединились к «хожденцам» в народ⁶¹.

Нельзя сказать, чтобы пропаганда велась совершенно хаотично. Перед выступлением был составлен примерный план кампании (правда, весьма умозрительный и фантастический), намечавший основные направления пропаганды. Народники стремились сосредоточить усилия в местностях, где ранее вспыхивали крестьянские бунты (Дон, Поволжье, Урал). Они делали попытки (например,

П. Аксельрод в Полтавской губернии) наладить контакт с разбойными элементами, которые, согласно Бакунину, признавались за активную революционную силу. Были испробованы даже методы поднять крестьян с помощью самозванства: например, саратовский народник П. В. Григорьев возил по деревням «Константина» и обещал крестьянам скорое предоставление земли...

Наконец, большие надежды возлагали народники на пропаганду в среде сектантства, которое в 60—70-х гг. получило довольно широкое распространение в деревне (штундисты, шелапуты, «молчальники», молокане и др.). Объектом постоянного интереса народнических пропагандистов также были раскольники. Иногда «хожденцы» добивались неожиданного успеха: например, И. Ф. Фесенко, проповедовавшего в одной из сект на юге России, даже приняли за ожидаемого пророка⁶². Но по большей части общение с сектантскими элементами не принесло никаких результатов. Народники убедились, что сектантские группы далеки от революционных настроений, в них, особенно в старообрядчестве, тон задавала зажиточная и деловая прослойка. О. В. Аптекман, в частности, характеризовал раскол как «застывшую в ее догмах организацию, способную только на то, чтобы эксплуатировать безбожно остальное крестьянство»⁶³.

Сектантство было далеко не единственной областью, где ожидания народников оказались далеки от действительности. Можно сказать, что вся российская деревня оказалась камнем преткновения для народнической пропаганды. Иногда, конечно, случалось, что некоторые «настойчивые» агитаторы встречали более или менее доброжелательный прием, вызывали симпатии слушателей, но никаких особых последствий это не имело, результаты деятельности народников оказывались непрочными⁶⁴.

Крестьянство, каким его рисовали себе народники, и реальное крестьянство не совпадали почти ни в чем. Члена оренбургского кружка П. Орлова поразило «отсутствие солидарности» между крестьянами, «отсутствие резких границ между эксплуататором и эксплуатируемым: сегодняшней бобыль легко может завтра сделаться эксплуататором»⁶⁵. «В Пермской губ[ернии], во всех деревнях, что лежали по тракту, — передавал свои впечатления М. Ф. Фроленко, — сильно поразил нас торгашеский дух, желание сорвать с прохожего побольше»⁶⁶.

Усилившееся послереформенное расслоение деревни — вот с чем сразу же столкнулись народники. Причем среди

крестьянства находилось немало таких, кто считал это расслоение нормальным, естественным явлением. Когда член кружка долгошницев Ананий Васильев доказывал своим слушателям в «питейном заведении», что богатых и бедных быть не должно, что все люди от природы равны, содержатель заведения заметил ему: «Не ладно ты, брат, говоришь. Взгляни-ка на свою руку: на ней пять пальцев, и все неравные» — и стал объяснять, что у одного крестьянина хлеб родится хороший, а у другого нет и т. д.⁶⁷

Поэтому любая пропаганда социализма, проводимая народниками, не достигала цели. Когда разговор шел о малоземелье, о податях, замечал О. В. Аптекман, то он попадал в точку. *«Но стоило только... пропагандисту перейти на почву социализма, как все совершенно изменялось.* Не то, чтобы его не хотели слушать — «почто не послушать?» — а слушали, как обыкновенно слушают занятую сказку: не любо — не слушай, а врать не мешай»⁶⁸.

Разумеется, народники апеллировали не к обуржуазивающемуся, а к патриархальному крестьянству, к его общинным институтам и уравнительной психологии. Но столкновения с действительной, неприкрашенной традиционностью крестьянского быта не выдержало даже экзальтированное воображение народнических агитаторов. Их «поразил, смутил, прямо-таки в тупик поставил» «крайне низкий, почти первобытный уровень народных потребностей»⁶⁹. Патриархальной застойности крестьянской жизни соответствовала примитивная религиозность, тот «несокрушимый фатализм», которым была «насквозь пропитана эта вера». «Никто, как бог!», «а все бог!», «божий промысл», «божье указание», «предопределение божие»... Это — философия жизни, безнадежная, беспросветная. Здесь нет места индивидуальной и коллективной инициативе и ответственности... Нет своего права сказать: «хочу!» или «не хочу!»⁷⁰

Подобной слепой, пассивной веры народническая молодежь, несмотря на традиционные по сути механизмы сознания, уважение к религии вообще, не могла принять, ибо эта вера оправдывала социальное угнетение. Когда пропагандисты доказывали крестьянам, что их обирают и притесняют, они слышали в ответ, что «народ сам виноват», так как «все поголовно пьяницы и забыли бога»⁷¹.

Что же касается надежды на антипомещичью настроенность и общинный эгалитаризм деревни, то здесь на-

родники в общем не ошибались — эти устремления крестьянской массе действительно были присущи. Но они увидели, что «хотя идея общего передела земли и очень широко распространена в народной массе, но живет она в ней приблизительно так, как у евреев вера в пришествие мессии. Мессия придет, но когда — никому знать не дано... Передел будет — это несомненно, но будет он по той же самой инициативе, по которой произошло и освобождение от крепостного права»⁷². Патриархальный демократизм крестьянства имел своей оборотной стороной сильные царистские иллюзии, и дальнейшая история показала их стойкость — они сохранялись в деревне вплоть до революционных потрясений XX в.

Следствием таких установок была низкая политическая активность, нереволуционность крестьянства, которую очень быстро ощутили народнические ходоки. Они стали понимать, что «народ, века живший вне всякой политической жизни и шедший пассивно на буксире за бюрократией, отвык рассчитывать на самого себя и все надежды свои возлагал на царя, который освободит его от гнета и осуществит его *ria desideria* *»⁷³. Это впечатление усиливалось еще оттого, что «хождение в народ» и движение «семидесятников» в целом пришлось на период значительного спада крестьянского движения. Так, по данным III отделения, за период с 1870 по 1875 г. было зафиксировано лишь 128 крестьянских выступлений — в 6 раз меньше, чем за один 1861 год⁷⁴.

Не только во взглядах, но и по социально-классовому положению между крестьянством и пропагандистами пролегал жесткая граница. Народники попали в мир, где они были пришлыми, где царили нужда, вечная забота о куске хлеба, изнуряющий тяжелый труд. Пропаганду М. Д. Муравского крестьянин Оренбургской губернии «мало слушал от усталости»⁷⁵. Пусть «хожденцы» представляли перед крестьянами в простой, бедной одежде, но по многим признакам (незнание сельского труда, обороты речи и т. п.) в них чуяли людей из привилегированных слоев. Сравнив руки А. Г. Дейча и своей дочери, хозяйка крестьянской семьи, куда он нанялся в работники, решительно заявила ему: «Ты из господ!»⁷⁶ Так, в ходе народнической кампании обнаруживалась, как выразился А. О. Лукашевич, «разделяющая стена между нашим братом и народом»⁷⁷.

* благие намерения (лат.).

Не удивительно, что крестьяне гораздо чаще сторонились пропагандистов, а то и прямо выдавали их властям, за исключением тех несчастных случаев, когда они оказывали им гостеприимство и прятали их от жандармов. Соответствующие сцены из тургеневской «Нови» отнюдь не выдуманы. На Е. К. Брешковскую донесла ее работница. В Самарской губернии крестьяне арестовали П. И. Войнаральского, которому удалось бежать. Аналогичный случай произошел в Тверской губернии с С. М. Кравчинским и Д. М. Рогачевым. Парадоксальная и в то же время закономерная картина: народ не принял, оттолкнул борцов за его права.

До сих пор речь шла преимущественно об объективных препятствиях на пути народнического движения. Но были и субъективные причины. Сама форма «хождения в народ», обращения к случайным встречным, «летучей», мимолетной пропаганды была неэффективной, непрактичной. К чему, собственно, могли звать крестьян народники? «Я, — пишет А. О. Лукашевич, — мог «призывать» их только... к ожиданию революции»⁷⁸. Как правило, пришельцы из города не были подготовлены к серьезной организаторской работе в крестьянстве, они знали его в основном по стихам Некрасова, не могли вникнуть в крестьянское житье, не были приучены к физическому труду, плохо подделывались под ремесленников и мастеровых. Переодевание в крестьянское платье по большей части превращалось в неумелый маскарад. Все это не могло не усиливать отчуждение между трудящимися и пропагандистами.

И сами народники скоро осознают неудачу своей затеи. С. Л. Аронзон жалуется в письме к С. С. Голоушеву, что «разговоры остаются разговорами»⁷⁹. А. Я. Ободовская, член кружка «чайковцев», бросает горький упрек, что пропагандисты лишь «пропорхнули на Руси и нигде не пристроились, потому, вишь, что все им местности попадались неблагоприятные; им приходилось отказаться от прежней сладкой надежды на то, что, ничего не делая, живя на чужой счет, ведя праздную жизнь в среде рабочего люда, они могут делать что-то нужное... Вот и не выходили они себе ничего... Тысячи истратили они на свои демократо-туристские странствования»⁸⁰. Причем опять-таки вследствие неумелости или неосторожности пропагандистов — их деятельность в деревне быстро была засечена властями, приступившими к почти поголовным арестам «пропагаторов».

Между тем «хождение в народ», стремление образованных кругов к сближению с трудящимися массами в принципе таили в себе немалые возможности для революционной деятельности. Это видно даже из тех немногочисленных попыток организации «оседлой» землевольческой пропаганды в народе (уже в конце 70-х гг.), когда народничество поняло, что «одним распространением революционных идей... не свяжешь народ в прочную организацию, пригодную для активной борьбы»⁸¹. Чрезвычайно поучителен, например, рассказ А. И. Иванчина-Писарева о том, как он, Ю. Н. Богданович и А. К. Соловьев работали в деревне в качестве волостных писарей, т. е. низовых земских чиновников, непосредственно обслуживавших делопроизводство сельских сходов, крестьянских общин. Они активно боролись за права бедняков, против «мироедов», отстаивали интересы крестьян перед администрацией. И бедняцко-средняцкие представители на сходе, которые поначалу говорили: «Не больно мы привычны защищать себя»⁸², — постепенно смелели, все более решительно выступали против своих эксплуататоров. Иначе говоря, здесь происходило объединение крестьян и революционеров вокруг реальных дел, агитации на почве «вопросов дня», жизненно важных для крестьян и близких им.

Это вовсе не было равнозначно «малым делам», борьбе за частные улучшения, поскольку создавало базу для расширения политической активности деревни. Кроме того, такого рода деятельность в народе была бы для народнической интеллигенции более естественной и эффективной, ибо образованному слою было гораздо рациональнее нести в народ то, что составляло его действительную силу, — знание, квалифицированный умственный труд, профессиональную юридическую подготовку и т. п. Конечно, в условиях самодержавия подобная деятельность была нелегка (например, после 1874 г. появилось конфиденциальное распоряжение Министерства внутренних дел, по которому крестьянские присутствия не должны были принимать на службу лиц с высшим образованием или студентов) и рано или поздно привела бы к преследованиям со стороны властей. Но во всяком случае она могла принести больше конкретных практических результатов.

И все же порыв молодежи, устремившейся в деревню, не был бесплодным. Более того, он привел к серьезному перелому во всем освободительном движении века, создал

инерцию дальнейшей и уже неостановимой революционной борьбы с самодержавно-крепостническим строем. Беспрецедентны были уже сами масштабы движения — только в 1874 г. под арестом находилось до 4000 человек⁸³. Не менее поразительны глубина его радикализма, самоотверженность его участников.

Да, народникам далеко не удалось добиться той цели, которую они перед собой ставили, — поднять крестьянство на борьбу с самодержавием и помещиками. Но движение принесло бесспорный успех на другом участке — оно, по выражению В. К. Дебогория-Мокриевича, «расколыхало нашу интеллигентскую среду. . . Открытый призыв к бунту, скажем, Войнаральского, разъезжавшего по деревням, конечно, не привел ни к каким последствиям. Крестьяне нигде не восстали, а как жили раньше, так и продолжали жить. . . Сомнительно даже, вспоминал ли кто-нибудь из них потом о Войнаральском. Но вся мыслящая Россия, читая «Обвинительный акт» (по «процессу 193-х». — *Авт.*), с большим сочувствием отнеслась к нему за то, что он, не задумываясь, пожертвовал своим имуществом, а в конце концов, и своей жизнью ради дела, которому верил»⁸⁴. Моральный авторитет участников «хождения в народ» и его влияние на общество были очень сильными, они обеспечивали движению как новых последователей, так и сочувствующих. Наконец, народническое движение нанесло сильнейший удар моральному престижу власти, развеяло ее уверенность в своих силах и исторической правомерности.

Вспомним глубокую ленинскую характеристику, что «хождение в народ» революционеров 70-х гг. явилось «расцветом действенного народничества»⁸⁵. Дело не только в том, что именно в этот период подъем массового революционного энтузиазма был чрезвычайно высоким. Важно еще и то, что это был первый опыт сближения радикально настроенной интеллигенции с трудящимися массами, — опыт, чрезвычайно полезный для революционного движения. Именно после неудачи «хождения в народ» в среде революционеров-народников наметился поворот в сторону организации «социально-демократической партии». Мы уже не говорим о том, что в результате контакта с деревней революционеры смогли создать политическую и аграрную программу «Земли и воли», оставшуюся в основных чертах неизменной вплоть до буржуазно-демократических революций. И достигнуто это было во многом в результате узнавания на практике

реальных интересов крестьянина. Последний, по остроумному замечанию В. Г. Базанова, «отредактировал» политические проспекты и пропагандистские книжки народников, заставил их над многим задуматься⁸⁶.

Приведем выразительную оценку «хождения в народ» одной из его участниц, которая рассматривала его как попытку решения труднейшей исторической задачи — «переброски моста между интеллигенцией и народом»: «Построить мост нам не удалось, мы ввалились в пропасть, но по нашим трупам началось длительное и упорное шествие новых борцов...»⁸⁷

ТУПИКИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ТЕРРОРИЗМА

1 марта 1881 г. взрывы бомб на Екатерининском канале в Петербурге явились кульминационным пунктом в беспрецедентной, изматывающей схватке, которую горстка революционеров целых три года вела против громадной военно-полицейской машины самодержавия. Убийство Александра II народовольцами было крупным событием в истории российского освободительного движения. Оно потрясло современников и до сих пор волнует потомков. И это можно понять: в борьбе с самодержавием народники-революционеры проявили поистине чудеса упорства, героизма и самоотверженности, за их действиями с волнением следило российское, да и не только российское, общество. И тем не менее итог борьбы ни в малейшей степени не соответствовал приложенным усилиям. Террористический акт 1881 г. явился классическим в истории революционной борьбы примером несовпадения замыслов ее участников с практическим результатом их действий. Непосредственная цель, которую ставил перед собой Исполнительный комитет «Народной воли», была наконец-то достигнута. Но, как никогда, были далеки от исполнения те планы, которые народовольцы связывали с царубийством.

Рассмотрим подробнее, в чем заключался исторический опыт «Народной воли», в чем состояло его реальное значение, в чем заключался его коренной порок.

От «хождения в народ» к терроризму

Результаты массового «хождения в народ» предопределили дальнейший ход и характер народнического движения. Революционный идеализм пропагандистов получил чувствительные удары, разбуженная (во многом Бакуниным) уверенность в возможность пробудить массы стала угасать. С другой стороны, «правительство не позволяло совсем никакой работы ни в деревнях, ни в городах и своими преследованиями вынудило более энергичных и старательных направить свои силы на прямую

борьбу с ним»¹. Вера уступает место горечи, озлоблению, жажде активной конфронтации с режимом.

Эти чувства легко понять: репрессии властей были не только массовы, жестоки, но и незаконны. Арестованных «хожденцев» годами держали в заключении без предъявления конкретных обвинений, а когда таковые появлялись, то они сплошь и рядом не имели под собой элементарных юридических оснований. Корреспондент лондонской «Таймс», специально приехавший на «процесс 193-х», после двух дней заседаний уехал обратно, заявив представителям защиты о своем недоумении, почему этот процесс назван политическим и за что молодых людей судят. «Я... — заявил он, — слышу пока только, что один прочел Лассаля, другой вез с собой в вагоне «Капитал» Маркса, третий просто передал какую-то книгу своему товарищу. Что же во всем этом политического, угрожающего государственной безопасности?»²

От правительственных арестов сумели скрыться лишь несколько десятков человек, которые вынуждены были уйти в подполье. Появился новый тип личности, оказавший огромное влияние на все последующее революционное движение, — профессиональный революционер, «нелегал», что ранее было редкостью. Участник революционного движения 70-х гг. Л. Г. Дейч отмечал, что «ни в одной из западноевропейских стран» «нелегалы» не достигали такого относительно большого контингента, как у «нас», и «нигде этот слой не играл такой роли в революционных движениях, как в России»; указывал он и на «особую психологию этого разряда революционеров». «Бродячий образ жизни, — писал он, — неопределенность существования и постоянное ожидание ареста — это и многое другое развивали в «нелегальном» привычку к опасностям, полное равнодушие к своему будущему, готовность в любой момент расстаться со своей свободой, а то и с самой жизнью и пр. Отсюда также вытекало его стремление сделать что-нибудь заметное, крупное, громкое. Эти же условия жизни вызывали у него также жажду ощущений, рискованных и опасных предприятий»³.

Разумеется, нелегальный народник имел идейную программу, по-своему продолжал линию жертвенности и служения ближнему первых пропагандистов. Но формировался он уже на иных основах, нежели идеалистический энтузиазм «хождения в народ», — в жестоком противоборстве, в отчаянном сопротивлении преследуемого чело-

века. Полицейские репрессии явились неожиданным, сильным фактором роста рядов движения, и сами его участники вполне понимали это. Н. В. Васильев вспоминал об одной студенческой сходке, где он выбросил лозунг «идти в рабочие», за что получил «большую головомойку» от одного из «вожаков», «нелегальных», присутствовавших здесь: не «хождение в рабочие» нужно, а демонстрация.

«Что же, — говорил он мне, — вы думаете, эти господа из студенчества так и сделаются рабочими... 90% из них будет только болтать, потом «разочаруются», отстанут и исчезнут в массе тины. За демонстрациями часто следуют аресты, преследования, а эти-то последние факторы толкают многих в борьбу»⁴.

Вместе с тем осознание того, что ему и его немногочисленным товарищам противостоит громадная государственно-полицейская машина, приводит народника к необходимости строжайшего объединения сил, к настоящему культу организации. «Если бы организация приказала мне мыть чашки, — говорил А. Д. Михайлов, — я принял бы за эту работу с таким же рвением, как за самый интересный умственный труд. Личность должна подчиниться организации». Он, как и многие другие, понимал, что в российских условиях необходимой предпосылкой деятельности революционеров является «централизация и дисциплина воли»⁵.

Стремление к организационному сплочению возникает сразу же после разгрома 1874 г. Первой попыткой в этом направлении была Всероссийская социально-революционная организация, образовавшаяся в 1875 г. в Москве. В нее вошли уцелевшие участники «хождения в народ», студенты с Кавказа (И. С. Джабадари и др.) и кружок «фричей» — русских девушек, обучавшихся за границей и вернувшихся в Россию, чтобы примкнуть к революционному движению (С. И. Бардина, сестры Л. Н. и В. Н. Фигнер и др.). Однако в течение марта — декабря 1875 г. почти все члены Всероссийской социально-революционной организации были арестованы и предстали затем на «процессе 50-ти». В 1876 г. вернувшийся из ссылки М. А. Натансон («Иван Калита», как его называли в народнической среде) сделал попытку собрать рассеянные революционные элементы. Так возникла «Земля и воля» — первое крупное революционно-народническое объединение, обладавшее чертами правильной организации. Она имела «центр» — основной кружок (А. Д. Обо-

лешов, А. Д. Михайлов, Д. А. Лизогуб, М. Р. Попов, Г. В. Плеханов, О. В. Аптекман, Д. А. Клеменц и др.), которому подчинялись периферийные кружки (в Саратове, Тамбове, Нижнем Новгороде и других городах); несколько целевых групп («рабочая», «деревенская», «интеллигентская» и пр.), наконец, типографию. Общая численность организации составляла примерно 250 человек⁶.

Поначалу землевольцы еще пробовали по инерции продолжать агитацию в деревне путем устройства постоянных поселений революционеров в провинции. Но последние терпели неудачу по тем же причинам, что и «хождение в народ» (пассивность сельского населения и репрессии властей). Тогда в недрах «Земли и воли» начинает формироваться и крепнуть группа «политиков», которая в 1879 г. окончательно выделяется и образует самую значительную народническую организацию «Народная воля», приступившую к систематическому политическому террору. Центр революционной работы стал постепенно перемещаться из деревни в город, пропаганда среди крестьян была заменена прямой борьбой со слугами самодержавия. В. В. Берви (Флеровский) в своих воспоминаниях говорит о стремлении представителей народнического подполья поддержать потухающий огонь искрой терроризма⁷.

Источники того времени неопровержимо свидетельствуют, что мотив политической мести сыграл в развитии тактики индивидуального террора громадную роль. Название брошюры одного из первых террористов, С. М. Степняка-Кравчинского, «Смерть за смерть»⁸ хорошо передает суть дела. Карательные меры властей — засылка шпионов в ряды революционных организаций, безжалостные приговоры, издевательства над заключенными — вызвали противодействие революционеров. Их тактика, говорилось в социально-революционном обзоре «Земля и воля» № 2, подводившем итоги 1878 г., — «просто тактика воюющей стороны: бьем тех, кто нам опасен, и потому, что он нам опасен»⁹. Куда выше целит передовица «Народной воли» от 1 октября 1879 г.: «Правительство объявляет нам войну; хотим мы этого или не хотим — оно нас будет бить... Наш прямой расчет — перейти в наступление и сбросить с своего пути это докучливое препятствие...»¹⁰

Существенная разница в постановке вопроса «Землей и волей» и «Народной волей» не случайна. Дело в том,

что революционный террор имел определенную логику развития. Репрессии правительства толкали революционеров к сопротивлению. Те или иные террористические акции «снизу» вызывали ответные террористические акции «сверху», на них революционеры отвечали новыми акциями. При этом росли ставки в смертельной игре; борьба с царизмом, по словам А. Д. Михайлова, «в силу централизованности правительственной машины и единого санкционирующего начала — неограниченной власти царя — неминуемо привела к столкновению с этим началом»¹¹. Вместе с тем в среде революционеров (это прежде всего Н. А. Морозов, Г. Д. Гольденберг и др.) росло убеждение в том, что террор и есть именно та форма политической борьбы, которая позволит кучке революционеров при совершенно ничтожных силах совершить грандиозные дела: «обуздывать все усилия до сих пор непобедимой тирании», приблизить «последние дни монархизма и насилия», открыть «широкую дорогу для социалистической деятельности в России»¹².

Фактическая история терроризма в России общеизвестна. 24 января 1878 г. прозвучал выстрел Веры Засулич в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова (приказавшего высесть заключенного Боголюбова). Общественная реакция на покушение и последующее оправдание В. Засулич судом присяжных показали революционерам, что подобные действия находят благоприятный отзвук. Последовал ряд убийств агентов и чинов жандармерии, а также правительственных чинов в Ростове, Одессе, Харькове, Москве, Петербурге; революционеры стали оказывать при задержании яростное вооруженное сопротивление; был организован ряд дерзких побегов политических заключенных из тюрем. 2 апреля 1879 г. Александр Соловьев стрелял в царя из револьвера в Петербурге, но промахнулся. Не бездействовало и правительство. С августа 1878 по август 1879 г. революционеры насчитали на совести Александра II 14 казней¹³.

Еще в 1878 г. задачу организации планомерного террора в южных губерниях Европейской России взял на себя особый Исполнительный комитет, в который входили В. А. Осинский, Д. А. Лизогуб и др. Этим же наименованием пользовалась затем группа «политиков», образовавшаяся в составе «Земли и воли». После раскола «Земли и воли» на «Черный передел» и «Народную волю» Исполнительным комитетом стал называть себя центр последней. В него вошли А. Д. Михайлов, А. И. Же-

лябов, Н. А. Морозов, Л. А. Тихомиров, М. Н. Ошанина и др. 26 августа 1879 г. ИК «Народной воли» вынес смертный приговор Александру II. Особый резонанс в России и за ее пределами вызвали три покушения.

19 ноября 1879 г. народовольцы, сделав из купленного ими дома 40-метровый подкоп под железную дорогу, взорвали мину под одним из двух царских поездов, следовавших около Москвы. С рельсов сошел поезд со свитой царя. Жертв не было.

5 февраля 1880 г. народоволец Степан Халтурин взорвал динамит под столовой царя в Зимнем дворце. Было убито 10 и ранено 33 человека из состава «нижних чинов» дворцового караула и дворцовой прислуги. Царь снова остался невредимым.

1 марта 1881 г. бомбометальщики, руководимые Софьей Перовской, подстерегли царя, возвращавшегося в Зимний дворец с воскресного развода войск. Первый метательный снаряд, брошенный Николаем Рысаковым, повредил царскую карету, убил двух казаков и оказавшегося на дороге мальчика. Второй, брошенный Игнатием Гриневецким, смертельно ранил и покинувшего карету царя, и самого метальщика.

Насколько же приблизило цареубийство исполнение конечных замыслов народовольцев?

Зигзаг истории

Про российских террористов конца 70-х — начала 80-х гг. можно сказать, что сначала они вынуждены были действовать, затем уже всерьез задумывались над тем, что из их действий произойдет. Так, не было связано со сколь-нибудь реальными политическими планами покушение А. Соловьева. Но сам факт покушения необычайно обострил проблему цареубийства как средства политической борьбы. Результатом страстных дебатов, происходивших в рамках землевольческой организации между «деревенщиками» и «политиками», был переход последних от в общем-то бесперспективного лозунга «Смерть за смерть» к, казалось бы, более перспективному «Свобода или смерть!». Именно так стала именоваться специальная боевая группа, созданная в мае 1879 г. при землевольческом ИК. Но впрочем, ясность, достигнутая террористами в решении вопроса «что делать?», была весьма относительной. Им как бы пришлось решать уравне-

ние, в котором, кроме одного-двух известных (надо убить царя, созвать Учредительное собрание), все остальные данные были неизвестны. И все же в период с конца 1879 до конца 1880 г. коллективная мысль народовольчества наметила вполне конкретную программу действий, изложенную в ряде документов: «Программа Исполнительного Комитета», «Подготовительная работа партии», «Программа рабочих, членов партии «Народной воли»».

Главной целью организации объявлялась подготовка широкого народного восстания с целью захвата власти. Переворот предполагалось проводить при «экстраординарных» условиях, которые создаются «народным бунтом, неудачной войной, государственным банкротством, разными усложнениями европейской политики и пр.». Но, приближаясь к представлению о революционной ситуации, народовольцы тут же начинали отходить от него. «Искусно выполненная система террористических предприятий, одновременно уничтожающих 10—15 человек — столпов современного правительства, — говорилось в документах, — приведет правительство в панику, лишит его единства действий и в то же время возбудит народные массы, т. е. создаст удобный момент для нападения».

Предвиделась, впрочем, возможность и того, что «одряхлевшее правительство, не дожидаясь восстания, решится пойти на самые широкие уступки народу» или же, не сдаваясь вполне, все же даст стране «свободную конституцию». В случае «самых широких уступок» партия, оставив в стороне свои планы, должна была перейти к свободной деятельности в народе, в случае дарования конституции — использовать эту ситуацию для лучшей подготовки к восстанию¹⁴.

Первый, «насильственный вариант» этого альтернативного плана был реализован только отчасти. Ценой огромного напряжения удалось провести «систему террористических предприятий», вызвав беспрецедентную панику в правительственных сферах. Но сочетать эти «предприятия» с подготовкой сколько-нибудь широкого народного восстания не удалось: поглощенный организацией покушений на царя, ИК почти не отвлекался на другие дела.

Только отчасти реализовался и второй, «ненасильственный вариант» альтернативного плана. Каждое из своих крупных покушений на жизнь Александра II ИК сопровождал своеобразным ультиматумом правительству, обещая сменить террористические формы борьбы

на мирные, как только царь, отказавшись от власти, передаст ее свободно избранному всенародному Учредительному собранию. В развернутом виде та же идея была представлена и в знаменитом письме народовольцев Александру III по поводу вынужденного убийства его отца¹⁵. Давление со стороны «Народной воли» подкреплялось — хотя и слабым — давлением со стороны либеральной оппозиции*.

Поначалу правительство ни на йоту не уступало требованиям революционеров. Положение стало меняться где-то с середины 1879 г. Правда, обсуждения либеральных проектов вел. кн. Константина Николаевича и министра государственных имуществ П. А. Валуева в январе 1880 г. закончились безрезультатно. Но «либеральные бюрократы» стали брать «верх» вскоре после передачи всей полноты власти в России диктатору М. Т. Лорис-Меликову (февраль 1880 г.).

Известная оценка, данная диктатуре Лорис-Меликова народовольцами, «волчья пасть — лисий хвост» безусловно верна в первой своей части. Лорис-Меликов всячески усиливал, упорядочивал репрессивный аппарат. Менее точна оценка народовольцев во второй части, поскольку она сводит к одним только жестам и «паллиативам» политику определенного реформаторства, к которой постепенно переходил диктатор, пытаясь изолировать революционеров от либерального «общества», еще более — от народа. При Лорис-Меликове был смещен реакционнейший министр народного просвещения Д. А. Толстой, были назначены сенатские ревизии в ряде губерний, несколько расширены права земства, смягчен цензурный режим. «Народная воля», пишет П. А. Зайончковский, «не внесла никаких изменений в свою тактику в связи с реформаторской деятельностью Лорис-Меликова», она недооценила определенное изменение условий борьбы в стране. Об этих изменениях писали современники событий: М. Е. Салтыков-Щедрин — об облегчении положения пе-

* В. В. Берви-Флеровский вспоминал, что в период деятельности «Народной воли» журналы неустанно пели на все лады об уравнивании крестьянских наделов... Даже либерально-чопорный «Вестник Европы» поместил на своих страницах песню о Стеньке Разине (*Берви-Флеровский В. Записки революционера-мечтателя. М. — Л., 1929, с. 174*). Н. С. Русанов отмечает и такой факт: годовой бюджет «Народной воли» в 80 тыс. рублей составлялся в основном из пожертвований сочувствующих либералов (см.: *Русанов Н. С. На родине, 1859—1882. М., 1931, с. 193—194*).

чати, В. Н. Фигнер — об облегчении условий пропаганды, агитации и организации среди учащейся молодежи и студентов Петербурга и т. д.¹⁶

Наконец, 28 января 1881 г. во всеподданнейшем докладе царю Лорис-Меликов выдвинул своеобразный план завершения «великих реформ» 1861 г. Предусматривалось создание в Петербурге двух назначаемых «сверху» комиссий с участием представителей земств и городов. В пределах, указанных «высочайшей волей», комиссии должны были заняться реформой местного самоуправления и подготовкой законопроектов о крестьянстве (ликвидация временнообязанного состояния, понижение выкупных платежей и пр.). Выработанные таким образом законопроекты должны были поступать в Общую комиссию, затем в Государственный совет¹⁷.

План был согласован с царем и ждал одобрения Совета министров. Но история сделала один из случайных зигзагов: реформаторская деятельность правительства была прервана взрывами 1 марта.

И это был не единственный зигзаг истории. Н. С. Русанов отмечает «странный, казалось бы, парадокс»: «Революционизирующее воздействие террористической партии шло по восходящей линии лишь до тех пор, пока партия не добилась той ближайшей и осязательной цели, которую она себе поставила: убийство царя... Пока она лишь грозила правительству... она собирала словно в фокусе свободолюбивые стремления общества, а в то же время прямо не ударяла в забрало монархических предрассудков русских». После же 1 марта «проснулись все иррациональные чувства верноподданных»¹⁸.

Могло ли российское самодержавие поступиться принципом самодержавия?

Обсуждать проблему, «что было бы, если бы Александр II остался на престоле», нелепо — история пошла другим путем. На престол сел Александр III, его политику стала определять камарилья реакционеров во главе с К. П. Победоносцевым. Но, оставаясь в рамках науки, можно достаточно точно ответить на вопрос: имелись ли вообще в тогдашней России условия для ее движения по конституционному пути?

Конституции в разных странах Европы, подчеркивал В. И. Ленин, были результатом долгой и упорной классовой борьбы между феодализмом и абсолютизмом —

с одной стороны, буржуазией, крестьянами и рабочими — с другой, записью *итогов* этой борьбы, получавшихся после целого ряда успехов и поражений народа¹⁹. Монархи поступались властью только под сильнейшим натиском революционных масс и делали постоянные попытки вернуть утерянную власть обратно, нередко уходя на эшафот. «...Прими Людовик (XVI) сторону народной партии хоть бы даже весной 1792 г., дай уверенность ей, что искренен, — уцелел бы, — так оценивал Н. Г. Чернышевский классический пример французской революции. — Штука в психологической невозможности уступок без принуждения» (Ч., XVI, 607).

Это «принуждение» в России конца 70-х — начала 80-х гг. XIX в. осуществляла своим террором революционная партия. Она при своих сравнительно незначительных силах не только сумела вырвать у самодержавия некоторые уступки в период «диктатуры сердца», но и способствовала, как на это указывается в советской исторической литературе, созданию в стране революционной ситуации. Однако последний, весьма важный аспект требует уточнения.

О какой революционной ситуации идет речь? Как известно, классическое ленинское определение включает три ее основных признака: «верхи» не могут, а «низы» не хотят жить по-старому. Помимо кризиса «верхов» в период революционной ситуации имеет место обострение бедствий народных масс, «экстраординарная» активность «низов», в мирную эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена подталкиваемых как всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами» к самостоятельному историческому выступлению²⁰.

Специалистам, исследующим ситуацию 1879—1881 гг., хорошо известно, что, в то время как «верхи» не могли жить по-старому, «низы» в общем-то мирились со своим положением. В стране, правда, сказывались последствия русско-турецкой войны 1877—1878 гг., в 1880 г. деревню поразил очередной недород, ее волновали слухи о переделе земли. Но «экстраординарной» активности масс не наблюдалось. «Стихийный элемент, который сообщает силу движению и дарует победу, — свидетельствует В. Н. Фигнер, — в то время вполне отсутствовал»²¹.

Данное свидетельство давно подтверждено специальными исследованиями. Если историки эпохи 1861 г. ведут счет на сотни, тысячи (более 1800 в 1861 г.) крестьянских

выступлений, то историки эпохи 1879—1881 гг. — на многие десятки крестьянских и пролетарских выступлений²². Но, указывая на особую роль «Народной воли» в создании революционной атмосферы, признавая отсутствие массового движения в рассматриваемую эпоху, некоторые историки затем как бы спохватываются и все же начинают искать «экстраординарную активность» масс. Были такие работы, в которых утверждалось — фактам вопреки, — что вторая революционная ситуация возникла на основе «революционно-демократической революции в деревне», некой «классовой борьбы нового типа» среди городских рабочих²³.

Думается, что такая непоследовательность связана с забвением некоторых принципов теории познания, разработанной классиками марксизма-ленинизма. Понятия отражают действительность только в приближении, в тенденции. Поэтому необходимы постоянное уточнение понятий, обогащение их в процессе изучения действительности, а не наоборот — подгонка действительности под однажды выработанные понятия*. С этой точки зрения очевидна специфичность революционной ситуации конца 70-х — начала 80-х гг. XIX в. в России.

В самом деле, нетрудно показать буквально синхронную зависимость всех фаз кризиса царизма от деятельности революционеров, совпадение всех метаний власти — как влево, так и вправо — с теми или иными террористическими акциями. Так, оправдание Веры Засулич и связанная с этим демонстрация 31 марта 1878 г. приводят к созданию Особого совещания министров во главе

* Нас не убедили предпринятые в последних работах Н. А. Троицкого попытки все же найти «экстраординарную активность» масс в 1879—1881 гг. Сам же Н. А. Троицкий признает, что в «годы второй революционной ситуации крестьянские волнения исчислялись лишь десятками», что «размах и воздействие рабочего движения на политику «верхов» до середины 80-х годов тоже оставались еще слабыми» (см.: *Троицкий Н. А. «Народная Воля» перед царским судом. 1880—1894.* Саратов, 1983, с. 19, 20). Правда, в другой своей работе Н. А. Троицкий ссылается на «повсеместное, опасное для «верхов» брожение вследствие повальных слухов о переделе барских земель, а главное, беспрестанного воздействия на крестьян со стороны общероссийской революционной организации, каковой не было в России 1859—1861 гг.» (см.: *Троицкий Н. А. Историография второй революционной ситуации в России. Пособие к семинару.* Саратов, 1984, с. 47—48). Но даже повальные слухи о переделе барских земель мы не стали бы объявлять «экстраординарной» активностью масс, а воздействие на крестьян народовольческой организации — преувеличивать.

с П. А. Валуевым «для изобретения средств к большому обеспечению государственной безопасности»²⁴. Убийство С. М. Кравчинским 4 августа 1878 г. шефа жандармов Н. В. Мезенцева вызвало публикацию 9 августа указа о предании за государственные преступления военному суду.

После покушения А. К. Соловьева на Александра II 2 апреля 1879 г. правительством 5 апреля 1879 г. был оглашен указ об учреждении (дополнительно к Москве, Киеву и Варшаве) генерал-губернаторов в Петербурге, Харькове, Одессе с наделением новых наместников особыми полномочиями. Взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1881 г. толкнул самодержавие от децентрализации чрезвычайной власти к ее централизации: указом 12 февраля учреждается «Верховная распорядительная комиссия» во главе с «субимператором» Лорис-Меликовым.

Точно так же были обусловлены актами революционеров и либеральные поползновения властей. Партия либеральной правительственной бюрократии отнюдь не случайно появляется на сцене после покушения Соловьева, но поначалу остается бессильной. «Быть может, для перехода к другому порядку мыслей и дел нужно, чтобы почва под нами еще более заколебалась»²⁵, — прозорливо записывает П. А. Валуев 22 января 1880 г. Ждать пришлось совсем недолго. После покушения в Зимнем дворце Степана Халтурина правительственный либерализм начинает, хотя и не сразу, обретать практические очертания. Связаны с террористическими акциями и самые значительные реформаторские начинания правительства — доклад Лорис-Меликова царю от 28 января 1881 г. был, собственно говоря, переложением проекта царского сановника М. С. Каханова, составленного еще ранее под впечатлением убийства Мезенцева²⁶.

Сказанное не означает, что не должна изучаться проблема соотношения «низов» и «верхов» в 1879—1881 гг. Больше всего «верхи» опасались соединения деятельности революционеров с движением народных масс. Поэтому и в период подъема революционной ситуации, и в период ее спада правительство приняло ряд мер, направленных на смягчение положения крестьян и рабочих (понижение выкупных платежей, организация кредита для покупки земли крестьянами, переселение их в многоземельные районы, понижение цен на хлеб в Петербурге, первые акты фабричного законодательства). Эта «профилактика» отчасти достигла цели.

Теперь мы подходим к интересующей нас проблеме: могло ли российское самодержавие в тот период решиться на коренные политические преобразования, поступиться принципом самодержавия? В общем и целом актов «принуждения», практикуемых революционерами, оказалось достаточно, чтобы вырвать у самодержавия некоторые уступки. Но уступки эти были мизерными как раз в отношении устройства государственной власти. Как справедливо отмечал еще В. Я. Богучарский, «действительной конституции тут не было ни одного грана, и, кроме законосовещательного учреждения в три этажа, проект Лорис-Меликова абсолютно ничего другого в себе не содержал»²⁷. Характерно, что, представляя свой всеподданнейший доклад царю, Лорис-Меликов специально оговаривался, что его проект «не имеет ничего общего с западными конституционными формами»²⁸. Сам царь, подписывая утром 1 марта 1881 г. проект правительственного сообщения, больше всего опасался того, чтобы созываемые в Петербурге комиссии не превратились в русские Генеральные штаты²⁹.

В этих условиях заставить царя-«реформатора» и его сановных бюрократов сделать дальнейшие шаги к конституции могло только дальнейшее (и более мощное) давление со стороны антиправительственных сил. Однако широкие массы в этот период спали. Исключена была и активная поддержка либеральных кругов — они не вмешивались в политическую борьбу. Оставалась революционная партия. Но «додавить» правительство она не могла и в силу своей политической изолированности, и в силу полной исчерпанности собственных ресурсов. Поэтому напрашивается общий вывод: достижение политической свободы в России в рассматриваемую эпоху было практически исключено, а поворот вправо после 1 марта 1881 г. вполне закономерен. Какой-либо альтернативы (подобной альтернативе 14 декабря 1825 г.) перед страной в 1881 г. не открывалось.

Агония революционного подполья

Первомартовская акция была совершена на пределе сил. После убийства царя организация стала быстро разваливаться. Безусловно, губительную роль сыграли полицейские репрессии. Но дело заключалось не только в них — «Народная воля» переживала глубокий внутрен-

ний надлом. Обозначился он еще до событий 1 марта 1881 г.

Учащались случаи отступничества и предательства — Рейнштейн, Меркулов, Окладский, Гольденберг, Рысаков... Роковой урон наносит «Народной воле» дегаевщина. Завербованный инспектором секретной полиции подполковником Судейкиным народоволец С. П. Дегаев вошел после 1 марта в руководство «Народной воли». Он провалил не только массу рядовых революционеров, но и последнего из членов старого состава Исполнительного комитета — В. Н. Фигнер. Судейкин и Дегаев намеревались двусторонними провокациями, с одной стороны, парализовать революционное движение, а с другой — деморализовать правительство и, уничтожив несколько правительственных лиц, самим приблизиться к власти³⁰. Покаявшись затем в предательстве, Дегаев по требованию зарубежных руководителей «Народной воли» организовал убийство Судейкина, после чего был отстранен от революционной деятельности и скрылся за границей.

Не менее показательны явления ренегатства. Отрекается от революции один из лидеров «Народной воли», Л. А. Тихомиров, и превращается в реакционного публициста, ведущего сотрудника «Московских ведомостей». Становится катковцем и бывший «нелегальщик» Н. Н. Емельянов. К либеральному народничеству монархического и шовинистического толка скатывается И. И. Каблиц, в свое время первым выдвинувший идею использования динамита. К черносотенству эволюционирует один из самых ярых поборников террора, Г. Г. Романенко. А самоубийства, душевные расстройства, помешательства ряда революционных деятелей, отчасти, конечно, сломленных тюрьмами и ссылками, но еще более мучительным сознанием разлада между революционными стремлениями и действительностью...

Все эти признаки углублявшегося распада не были случайными. «Народная воля» с ее узким подпольным руководящим центром, недемократическим принципом функционирования была весьма уязвима в организационном и человеческом планах. Да, в ее ядро, знаменитый Исполнительный комитет, входили выдающиеся по своим деловым и нравственным качествам, героического склада люди. «Нас было не более пятнадцати человек на всю Россию»³¹, — скажет потом о них Н. А. Морозов. Но именно поэтому потеря хотя бы одного или тем более нескольких из этих людей имела роковое значение. Так,

после ареста блестящего организатора Александра Михайлова была нарушена вся конспиративная сеть «Народной воли». Другой факт: после гибели ядра Исполнительного комитета резко понижается уровень центрального издания организации — газеты «Народная воля».

По отношению к Исполнительному комитету остальные члены организации были лишь простыми исполнителями. Собственно говоря, многие из них и не могли претендовать на что-либо иное, ибо слишком разнились по своему уровню лидеры и масса рядовых революционеров. Последняя пополнялась в основном романтически настроенной молодежью с невыработанными и туманными воззрениями, привлеченной ореолом и авторитетом «Народной воли». Не удивительно, что подобные люди быстро ломались или становились отщепенцами.

В этой связи хотелось бы заметить, что современные исследователи, исчисляющие состав «Народной воли» тысячами человек³², почему-то не принимают во внимание то обстоятельство, что состав этот был далеко не равноценным. Кроме сравнительно небольшого ядра испытанных революционеров (несколько десятков человек), в организации явно преобладала «зеленая» молодежь, зачастую лишь номинально примыкавшая к движению. Отсюда становится понятным, почему гибель немногих руководителей означала по существу конец всей «Народной воли».

Распад организации был связан и с начавшимся разочарованием в терроре как методе борьбы. Г. Д. Гольденберг — человек, отнюдь не боявшийся смерти, что он доказал убийством князя Кропоткина и готовностью заменить А. К. Соловьева, — будучи арестован, долго держался и «сломался», стал выдавать товарищей лишь тогда, когда следователи нащупали, что он внутренне сомневается в оправданности терроризма, и стали делать вид, что разделяют его идеи, отрицая лишь террор³³.

« В наших тогдашних понятиях царил сумбур »

Могут заметить: в ходе революционной борьбы невозможно заранее с непогрешимостью рассчитать ее исход. Это, конечно, справедливо. И все же тот факт, что деятели «Народной воли» намного переоценили свои возможности и шансы, не был случайным. Бесспорно, «Народная воля» шла к постановке новых, жизненно важных

задач освободительной борьбы. Ее заслугой был поворот к «политике» в противовес анархистскому аполитизму, господствовавшему прежде в народнической среде. Народовольцы признавали первоочередность сокрушения абсолютизма, демократических завоеваний, утверждения конституционного строя. Это было особенно важно в России, где самодержавная власть деспотически душила любую общественную самодеятельность и где рептильная буржуазия — в отличие от Европы — не пыталась отстаивать политическую свободу. Народовольцы начали понимать, что без основ демократии, без завоевания реальных политических свобод не может быть толком ни борьбы за социализм, ни самого социализма.

Бесспорны некоторые организационные заслуги «Народной воли»: в более чем 70 пунктах России она сумела создать до 300 местных рабочих, студенческих, гимназических, офицерских кружков, которые могли бы стать основой действительной политической партии; общее число народовольцев и сочувствующих им лиц доходило до 4—5 тыс. человек³⁴. Весьма важно, что «Народная воля» из всех народнических организаций сделала наиболее серьезные шаги к сближению с рабочим классом. Издавалась «Рабочая газета», в народовольческих документах подчеркивалось, что «городское рабочее население» имеет «особенно важное значение для революции», что, «судя по большей развитости и подвижности городского населения... не деревня, а город даст первый лозунг восстания»³⁵. Хотя, конечно же, до идеи гегемонии пролетариата в освободительном движении народовольцы не дошли, крестьянство осталось для них «главной народной силой»³⁶.

При всем этом народовольчество губила смутность его теории и тактики. Народовольческая литература полна различных преувеличений и утопических построений. Они выражались то в своеобразном «катастрофизме», явной драматизации ситуации в России (полная «голодуха и обнищание», «обездоление производительной силы государства», «пропасть, к которой мы стремимся» и т. п.), то в предчувствии близости революционного взрыва («быть грозе!.. И горе тому, кто преградит дорогу народному движению!»), то в ожидании неотвратимого конца самодержавия, якобы доживающего свои «последние дни» (достаточно «два-три толчка, при общей поддержке, и правительство рухнет» и пр.). Вслед за П. Н. Ткачевым народовольцы объявили самодержа-

вие «железным колоссом на глиняных ногах», который «не опирается ни на чьи интересы в стране», «не имеет поддержки ни в чем, кроме грубой силы»³⁷. Если для землевольцев определяющим был принцип: «революции — дело народных масс. Подготавливает их история»³⁸, то народовольцы руководствовались совсем иным принципом: «история движется ужасно тихо. Надо ее подталкивать» (А. И. Желябов)³⁹.

«Подталкивать» историю народовольцы хотели не только к «противоправительственному восстанию», но и к социализму. Идея о том, что материальные предпосылки социализма создаются развитием капитализма, была им чужда, рождение капитализма в России они считали сугубо следствием политики самодержавия, ставя своей целью ликвидацию этого «государственно-буржуазного нароста»⁴⁰. Некоторые надеялись, что созыв Учредительного собрания и обеспечит победу «народных идеалов» — общинного землевладения, артельных начал в производстве и т. п. Другие, резонно сомневаясь в реальности этой перспективы, считали, что преобразования должна будет производить временная революционная диктатура, революционное правительство. Некоторые уповали на ту силу, которая только и была в их распоряжении. Н. С. Русанов был поражен (в 1881 г.) утверждением Л. А. Тихомирова, что «даже при неразвитых экономических отношениях можно произвести самую коренную социальную революцию, лишь бы существовала крепко организованная политическая партия». «Организация — это все, это краеугольный камень общежития... — повторял Тихомиров, — без организации даже наша солнечная система не сложилась бы»⁴¹.

Все это вполне подтверждает более позднее самокритичное признание Н. А. Морозова: в «наших тогдашних понятиях о сущности экономического строя и возможности в нем тех или иных преобразований» царил «сумбур»⁴².

Короче говоря, если теоретический субъективизм был свойствен российскому народничеству вообще, то в «Народной воле» он в ряде отношений был доведен до крайности, и это несмотря на частично плодотворные поиски новых истин в сфере политики. Идея безнародной революции при всех оговорках, что она проводится в интересах народа, что народ поддержит ее и т. п., легла по существу в основу всей деятельности «Народной воли». Ее тактически урезанный революционный демократизм

сочетался с ее волюнтаристским, «организационным» социализмом, оба начала понимались ущербно, связь их не была продумана до конца.

Не случайно в центре помыслов и деятельности народовольцев стоял террор, хотя они и оговаривались, что он являлся лишь одним из моментов их тактики. Это проистекало в общем-то из простой вещи — нехватки наличных сил. В. А. Осинский, один из зачинателей народовольчества, в завещании товарищам настойчиво рекомендовал заниматься только террором: «Ни за что более, по-нашему, партия физически не сможет взяться»⁴³. Но эта слабость иногда трактовалась как сила. Н. А. Морозов сконструировал даже понятие «террористическая революция». Форма революции, рассуждал он, каждый раз возникает в «новом, неожиданном виде» — как крестьянский бунт, движение городских «низов» и пр. В России в силу отсталости крестьянства и малочисленности пролетариата революция может проявиться лишь в «террористическом движении интеллигентской молодежи». И этот способ представляет собой «самую справедливую из всех форм революции», поскольку массовая борьба приводит к многочисленным жертвам, тогда как террор действует выборочно и метко, он экономит силы революционеров и т. п.⁴⁴ Конечно, Н. А. Морозов был одним из самых ярких приверженцев борьбы по «методу Вильгельма Телля», уже зимой 1879—1880 гг. большинство ИК разошлось с его крайними взглядами, свою оппозиционную брошюру он издал в эмиграции. Но трагедия ИК состояла в том, что, втянувшись в роковой круговорот террористической борьбы (акции правительства — ответные акции революционеров), он вынужден был идти как раз по морозовскому пути; подготовка каждого очередного покушения отодвигала на задний план организаторскую работу, работу в массах; «террористическая революция» свелась в конце концов к одному главному действию: убить самого царя.

Уточним в связи с этим немаловажный момент: казнь короля, как свидетельствует опыт классических буржуазных революций прошлого, была существенным моментом восходящего развития этих революций, хотя сами вожди их нередко связывали с этим актом преувеличенные надежды*. Это понятно: в условиях раскола нации на два

* «Все злоупотребления будут жить до тех пор, пока будет жив король...» — утверждал один из вождей якобинцев — Сен-Жюст (Saint-Just. Discours et rapports. Paris, 1957, p. 84).

противоборствующих стана (республиканцев и роялистов) фигура короля (Карла I — в Английской революции, Людовика XVI — во Французской) становилась центром притяжения всех сил реакции, устранение этой фигуры с политической арены увеличивало в немалой степени шансы революционеров на победу. Устранение фигуры царя с политической арены играло немалую роль и в планах декабристов, но не само по себе, а в связи с предполагаемым захватом (в ходе восстания) рычагов государственной власти. Народовольцам (мы уже говорили об этом) отнюдь не были чужды намерения сочетать убийство царя с организацией массового восстания, с захватом в ходе восстания государственной власти. Но на практике вторая, главная сторона дела была предана забвению. Когда перед 1 марта на совещании ИК встал вопрос о возможности «сделать попытку инсurreкции» (вооруженного восстания), то смогли насчитать лишь 500 человек по всем провинциям, так что об этом нечего было и думать⁴⁵. Реально «Народная воля» прославилась убийством царя, не связанным с другими революционными действиями. «Сумбур» в понятиях касался в первую очередь тактики революционной борьбы, этот «сумбур» и привел народовольцев к непоправимому, страшному поражению — и это несмотря на полную самоотдачу делу, готовность идти на жертвы, проявленный героизм.

Сменившие революционеров-разночинцев пролетарские революционеры не забыли подвига «Народной воли». «Если деятели старой «Народной воли», — писал В. И. Ленин, — сумели сыграть громадную роль в русской истории, несмотря на узость тех общественных слоев, которые поддерживали немногих героев, несмотря на то, что знаменем движения служила вовсе не революционная теория, то социал-демократия, опираясь на классовую борьбу пролетариата, сумеет стать непобедимой». Но становление пролетарской революционности в России сопровождалось отказом «от обаятельного впечатления этой геройской традиции», разрывом с людьми, которые «во что бы то ни стало хотели остаться верными «Народной воле»», осознанием полной негодности метода индивидуального террора как средства борьбы. В. И. Ленин писал о деятельности народовольцев: «Террор был мстью отдельным лицам. Террор был заговором интеллигентских групп. Террор был совершенно не связан ни с каким настроением масс. Террор не подготовлял

никаких боевых руководителей масс. Террор был результатом — а также симптомом и спутником — неверия в восстание, отсутствия условий для восстания»⁴⁶.

* * *

Деятельность «Народной воли» имеет значение не только для российского, но и для мирового революционного движения. Народовольчество впервые выдвинуло систематический террор как средство политической борьбы. Впоследствии, особенно в XX в., политический терроризм, как правый, так и левый, стал весьма распространенным явлением и в развитых капиталистических странах, и в странах, недавно вступивших на путь самостоятельного развития.

Но, отождествляя современных террористов с народовольцами, нынешние зарубежные исследователи замалчивают важнейший момент: одно дело — незрелость и примитивизм тактики революционеров на заре революционного движения, во времена поисков адекватных средств революционной борьбы; другое дело — незрелость и примитивизм в эпоху развитого революционного движения, когда научным социализмом найдены и не один раз проверены на практике правильные пути революционной борьбы. В эту эпоху незрелость и неразборчивость в средствах превращаются из недомыслия в прямое преступление⁴⁷.

Что же касается самих народовольцев, то они искали правильные пути освободительной борьбы. Они начали осознавать коренную разницу условий, в которых приходится действовать силам прогресса в странах с самодержавным и буржуазно-демократическим строем. Так, ИК «Народной воли» протестовал против покушения анархиста Ш. Гито на президента США Д. Гарфильда: «В стране, где свобода личности дает возможность честной идейной борьбы. . . в такой стране политическое убийство как средство борьбы есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей»⁴⁸.

Конкретно-исторический подход — единственный путь к правильному пониманию событий прошлого, их реальной роли и значения.

ДОМАРКСИСТСКИЙ ПЕРИОД ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ В РОССИИ: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

Мы рассмотрели главные фигуры, события, направления мысли и действия российских революционеров домарксистского периода освободительного движения в России. Попытаемся теперь выявить некоторые его существенные характеристики, его основные позитивные достижения.

Первые этапы революционного движения в России

Российское освободительное движение прошло, по характеристике В. И. Ленина, три главных этапа соответственно трем главным классам, которые налагали на него свою печать: дворянский период (примерно с 1825 по 1861 г. *); разночинский, или буржуазно-демократический (приблизительно с 1861 по 1895 г.); пролетарский период (начавшийся с 1895 г. и завершившийся победой пролетариата в Октябре 1917 г.).

На дворянском этапе освободительное движение в России носит во многом ограниченный, так сказать, «периферийный характер». В то время как в XVIII в. Америка, Европа пережили великие буржуазно-демократические революции, Россия видела только стихийную Крестьянскую войну 1773—1775 гг. В области мысли она «доросла» до российского «вольтерьянства» и идеи народной революции в трудах Радищева. В первую четверть XIX в. — усилиями декабристов — Россия поднялась на уровень революционных движений юга Европы, но не на долгое время.

Декабристы покинули ряды господствующего класса, феодальной элиты России, руководствуясь чисто альтруистическими соображениями. К привилегированным слоям общества будут по преимуществу принадлежать и сменившие дворянских революционеров революционеры-разночинцы. Но среди последних уже было много лиц,

* Учитывая развитие не только политического движения, но и идеологических процессов, мы бы отодвинули нижнюю грань дворянского этапа революционности ко временам Радищева.

непосредственно ущемленных самодержавным режимом: публицистов, страдающих в тисках цензуры; общественных деятелей, отстраненных от участия в общественной жизни; студентов, исключенных из высших учебных заведений, и т. п. Лично дворянские революционеры не потерпели никакого ущерба от царской власти. Они принадлежали к лучшим фамилиям, перед ними маячила дорога к власти и богатству, чинам и поместьям. И все же они поднялись против собственных классовых привилегий. В. И. Ленин вслед за Герценом подчеркивал нравственное величие подвига декабристов. Он писал: «Дворяне дали России Биронов и Аракчеевых, бесчисленное количество «пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников», да прекраснодушных Маниловых. «И между ними, — писал Герцен, — развились люди 14 декабря, фаланга героев... Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали...»¹

Идейное и нравственное развитие дворянского меньшинства было подготовлено сравнительной свободой «благородного сословия» после указа о вольности дворянства. Как справедливо отмечал Н. Я. Эйдельман, декабристам предшествовали «два небитых дворянских поколения»². Декабризм кристаллизовал в себе наиболее передовые элементы дворянства — класса в целом косного, паразитического, привыкшего властвовать над другими людьми. Эта кристаллизация — прямое следствие приобщения правящего класса России к культурным достижениям более развитых стран Европы. Российская «дворянская революционность» была национальным проявлением общемировой тенденции XVIII—XIX вв. — тенденции к переходу отдельных представителей господствующего класса в ряды классов, борющихся с ним (что не отменяет и отмеченных нами в третьей главе бесспорных черт уникальности российского декабризма).

Поражение декабристов отбросило страну на десятилетия назад. Большинство народов Западной Европы участвовали в революциях 1848—1849 гг. — народ же России не принял в них участия. В эпоху николаевской реакции освободительное движение в стране почти отсутствует. После разгрома декабризма и физического «отсечения» от общества его лучших представителей новое поколение борцов должно было начинать как бы все сызнова. Оно мучительно раздумывало над уроками поражения декабристов, искало новые пути борьбы. Неизбеж-

ны были откаты назад, ослабление и разрыв традиции, забвение, а иногда и игнорирование того позитивного, что достиг декабризм.

Если для первой четверти XIX в. фиксируются относительная синхронность, сходство освободительных движений в России и в Европе (на ее «окраинах»), то для второй четверти XIX в. характерны их асинхронность, явный разрыв между происходящим в Европе и в России. Россия в экономическом и социально-политическом отношении все более отставала от Запада. Но это не значит, что соприкосновение освободительных течений отсталой России с развитыми странами Запада прекратилось. Наоборот, оно стало еще более интенсивным, обостренным, в чем-то драматическим. Теперь усвоение западного опыта происходит в России не только прямо и непосредственно, но и, если так можно выразиться, в полемике с ним. От констатации социально-политической неэффективности буржуазной революции 1830 г. во Франции до герценовской «духовной драмы» в результате разочарования в исходе европейских революций 1848—1849 гг. — таковы вехи, в рамках которых происходило становление социалистической мысли в России.

Вторая четверть XIX в. дает лишь отдельные оппозиционные кружки (главным из которых были петрашевцы) — немногочисленные и организационно слабые. Однако передовая общественная мысль этого периода несла в себе сильные внутренние токи. Насколько 30—40-е годы уступают эпохе декабризма с точки зрения политической оформленности, настолько они превосходят ее в плане теоретического воздействия на дальнейший ход освободительного движения в России. «Люди сороковых годов» наметили все основные направления общественной мысли и освободительной борьбы последующих десятилетий, а некоторые из них и сами участвовали в освободительном движении этих периодов. Ведущую роль в революционизировании умов сыграла литературная критика и публицистика В. Г. Белинского, одного из предшественников последующего вытеснения дворян разночинцами в освободительной борьбе, как отмечал В. И. Ленин. На исходе николаевской эпохи родился герценовский «крестьянский социализм».

Реформа 1861 г. стала исходным рубежом для второго, разночинского этапа освободительного движения. «Падение крепостного права, — писал В. И. Ленин, — вызвало появление разночинца, как главного, массового

деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности»³. Точке зрения разночинца в освободительном движении соответствовало прежде всего народничество⁴.

Разночинец был продуктом разложения сословной структуры феодального российского общества. Вместе с тем рост разночинства отражал процесс «обуржуазивания» России, потребность в образованных кадрах на начальном этапе капиталистического развития страны.

Разночинная интеллигенция формировалась как бы на самом стыке социального распада — она рекрутировалась как из «верхов» — слабевшего и бедневшего дворянства, так и из «низов», получивших в условиях реформ 60-х гг. более широкий доступ к образованию.

Для стран отсталого, запоздавшего буржуазного развития с многоукладной, дробной общественной структурой вообще характерно образование промежуточных социальных слоев, различного рода межклассовых и деклассированных элементов, которые выбиваются из прежних сословных рамок докапиталистического общества и длительное время не попадают в колею новых, буржуазных отношений. Большая часть представителей разночинского слоя так и оставалась «не у дел» — их не мог использовать еще недостаточно развитый, малокультурный буржуазный сектор, а в среде правящей элиты во многом продолжали действовать защитные механизмы прежней, сановно-бюрократической иерархии. Поэтому большинство разночинной интеллигенции застревало на нижних ступенях общественной лестницы. Интеллектуальное развитие лишь обостряло у нее ощущение существующего гнета.

Революционные потенции этого слоя были быстро зафиксированы общественной мыслью. О «новых людях» заговорил Чернышевский. На «мыслящий пролетариат» возлагали основные надежды Писарев, Огарев и др. Бакунин, тщетно пытавшийся организовать анархистские вспышки на Западе, видел особое счастье России в том, что здесь возникла «огромная масса в одно и то же самое время образованных, мыслящих и лишенных всякого положения, всякой карьеры, всякого выхода (людей): три четверти, по кр[айней] мере, ныне учащейся молодежи находится именно в таком положении. Семинаристы, крестьянские и мещанские дети, дети мелких чиновников и разоренных дворян, ну да что говорить... вот

наш генеральный штаб, вот материал, драгоценный для тайной организации»⁵.

Две социальные волны, из которых складывался слой интеллигентского разночинства, хотя и перемешивались, но одновременно имели свои различия. «Кающееся дворянство» (термин Н. К. Михайловского *) являлось в нем все же прослойкой более обеспеченной, более культурной, сохранявшей некоторые связи со своим классом, с поколением отцов — «людей 40-х годов». В освободительном движении оно сыграло важную роль — дало его основных теоретиков и лидеров, наиболее развитые и нравственные элементы. Но ударную силу в борьбе составляли не они, а выходцы из «низов», которые образовали основную массу «практиков», деятелей революционного подполья. Они составляли элемент менее развитый в интеллектуальном и нравственном отношениях.

Разумеется, данное деление относительно. Разночинство дало — в лице Чернышевского, Добролюбова и др. — революционных борцов, достигших высших ступеней интеллектуального и нравственного развития. Нелегкие обстоятельства жизни, материальная необеспеченность способствовали выработке в разночинской среде сильных характеров, Лопуховых и Кирсановых, которые, как писал Чернышевский, пролагали себе дорогу «грудью, без связей, без знакомств». Разночинцев в целом отличала также сословная и психологическая близость к трудящимся. «Разночинец, — писал Н. В. Шелгунов, — есть поднимающаяся кверху часть народа, имеющая в нем свои корни»⁶.

Вместе с тем в разночинстве играл большую роль и чисто плебейский элемент. Еще Н. А. Добролюбов различал «новый общественный тип» (образцом которого станут через несколько лет «новые люди» Чернышевского) и «забитых людей» из образованного слоя, обслуживающих имущие классы. Поэтому многие разночинцы «чувствуют... горечь, готовы на раздражение и протест, жаждут выхода» (Д., VII, 274—275). Именно этот слой

* В соответствии с общим разночинским характером движения доля дворянства в нем постепенно падает (32,1% в 1871—1874 гг., 24,2% в 1883—1886 гг.). Правда, если брать лидеров, то процент дворянства остается высоким — около половины (например, 50% в 1879—1882 гг.) (см.: *Лурье Л. Я.* Некоторые особенности возрастного состава участников освободительного движения в России (декабристы и революционеры-народники). — Освободительное движение в России. Вып. 7. Саратов, 1978, с. 74, 79).

привносил в движение элементы плебейской грубости, резкости, экстремизма, которые объяснялись недостаточной культурностью, а также следами того «темного царства», из которого вышли разночинцы и которое в значительной мере еще оставалось в пореформенной России. «Наши юноши, — писал П. Н. Ткачев, — революционеры не в силу своих знаний, а в силу своего социального положения. Большинство их — дети пролетариев или людей, весьма недалеко ушедших от пролетариев. Среда, их вырастившая... на каждом шагу... чувствует свое экономическое бессилие, свою зависимость. А сознание своего бессилия, своей необеспеченности, чувство зависимости — всегда приводит к чувству недовольства, к озлоблению, к протесту»⁷.

Эти чувства можно понять, они не были просто личными, они сказывались и на идеологах разночинства, которые ощущали себя как бы выразителями настроений всех «униженных и оскорбленных», их долго копившегося протеста. Именно это давало им сознание своей исторической миссии, своего права на тотальную ломку существующих порядков, питало их решительность в общественной борьбе. Это же радикально отличало их от предшественников и отчасти современников — дворянских революционеров, которые в общем-то не были «озлобленными» и выступали против самодержавия прежде всего по идейным и нравственным соображениям.

Политические проблемы революционной деятельности разночинцев были связаны прежде всего с необходимостью в течение длительного исторического периода (вплоть до конца XIX в.) вести неравную борьбу против громадного полицейского аппарата самодержавия при отсутствии широкой массовой поддержки «снизу». Преобладание нелегальных форм движения, малочисленность революционных сил, периодические преследования, опустошавшие лагерь борцов, в результате чего происходил обрыв революционной традиции и многое приходилось начинать сначала, — все это в сильнейшей степени затрудняло развитие освободительного движения. Последнее могло противопоставить репрессивному аппарату самодержавия лишь предельную организованность и дисциплину, громадное напряжение сил. Постепенно в революционном движении зреет — диктуемая суровыми обстоятельствами жизни — идея сильной, централизованной революционной организации, своего рода боевой дружины, которая смогла бы не только противостоять

самодержавно-крепостническому государству, но и стать силой, преодолевающей инерцию массовой пассивности, вовлекающей «низы» в революционный процесс.

Элементы такой организации имели место уже у декабристов (Пестель). Отчетливые контуры эта тенденция обретает у землевольцев, а затем у народовольцев. Усилиям «семидесятников» предшествовали попытки создания централизованной подпольной организации революционерами 60-х гг. (кружок Ишутина — Худякова). Даже «нечаевщина» конца 60-х — начала 70-х гг. может быть понята как гипертрофированная, одиозная форма реализации этой потребности. Таким образом, можно сказать: наряду с научной революционной теорией освободительное движение в России «выстрадывало» в ходе проб и ошибок и особую политическую форму борьбы — сильную, сцементированную крепкой дисциплиной партию, способную стать субъектом революционного процесса в трудных условиях «вторичного» буржуазного развития.

Однако революционным организациям домарксистского периода остро не хватало массовой опоры — крестьянство, к которому они апеллировали, не поддержало их. Другие же классы — буржуазия и пролетариат — в политическом смысле еще только формировались, их самостоятельные выступления были впереди. Кроме того, издержками централизации революционного подполья явились недемократические нормы внутривнутрипартийной жизни, элементы сектантства, революционного экстремизма, неразборчивости в средствах и пр. Это были следствия неразвитости политической борьбы в условиях отсталых общественных отношений, когда последние накладывали отпечаток и на самих борцов против этих отношений⁸.

Появление на политической арене разночинной интеллигенции, как об этом говорилось выше, является общей чертой обществ запоздалого буржуазного развития. Но пожалуй, нигде ее роль не выступает так ярко, как в России, которая в этом смысле стала классической моделью. Дело в том, что именно на разночинском этапе движения, когда царизм оказался вынужденным встать на путь освобождения «сверху», в стране начинаются следующие одна за другой попытки революционных демократов 60-х гг., затем революционных народников перевести Россию на путь освобождения «снизу». И хотя эти попытки не находят отклика в толщах народных масс, потенциальные революционные возможности страны становятся все более очевидны для прозорливых современников.

К. Маркс напишет в 1870 г., изучив книгу Н. Флеровского «Положение рабочего класса в России»: «... в России неизбежна и близка грандиознейшая социальная революция — разумеется, в тех начальных формах, которые соответствуют современному уровню развития Московии»⁹. Через несколько лет Ф. Энгельс констатирует: в России назревают события «величайшего значения для будущего не только русских рабочих, но и рабочих всей Европы»¹⁰. Революционная борьба демократических элементов русского общества была симптомом предстоящего включения России во всемирный освободительный процесс. Окончательно оно осуществилось на пролетарском этапе российского революционного движения.

Национальное и универсальное в освободительном движении России

Освободительное движение России, как мы видели, включало в себе ряд особенностей, вытекавших из специфики национального исторического развития. Его деятели, стремясь по-своему применить мировой революционный опыт, искали в реальностях российской истории и современной им общественной жизни элементы, которые можно было бы использовать для обновления страны. Декабристы апеллировали к вечевым традициям средневековой Руси. Герценовский «русский социализм» подымал на щит крестьянскую общину как ячейку будущего социализма. И после Герцена и Огарева многие представители «действенного народничества» были уверены, что «русский народ, сохранивший один, несмотря на все исторические превратности своей судьбы, общину и не испытавший вредных последствий капитализма, увидит первый осуществление на земле социализма»¹¹. В. К. Дебогорий-Мокриевич справедливо называл народническое «мужикофильство» глубоко национальным чувством¹². Другими словами, в планах и программах русских революционеров находили прямое отражение условия их родной, экономически и политически крайне отсталой страны, где фактически не существовало социальных отношений, сравнимых с теми, которые уже были в передовых странах Западной Европы, прежде всего во Франции и в Англии.

Вместе с тем освободительное движение в России по мере своего развития приобретало шаг за шагом черты

универсализма, придававшего ему интернациональное значение. Здесь можно выделить три аспекта.

Во-первых, российские революционеры учились на опыте более передовых стран. Радищев осмысливал уроки революций в Англии, Америке, во Франции. Декабризм был одним из звеньев общей цепи «военных революций» в Европе 10—20-х гг. XIX в. (Испания, Италия, Португалия). А. И. Герцен и его друзья перенесли сенсимонизм в Россию, круг В. Г. Белинского был увлечен гегельянством. Н. Г. Чернышевский не просто продолжает эти традиции, он придает политическое «измерение» «крестьянскому социализму», анализируя уроки европейской истории. Что касается народнического движения, то оно также формировалось и развивалось под сильным воздействием революционной мысли и революционного движения в Европе, в частности I Интернационала. Огромно было впечатление, произведенное на революционную молодежь России Парижской коммуной.

Многие русские революционеры были эмигрантами, тесно связанными с европейскими социалистическими кругами, и в этом плане — проводниками европейского влияния на российское освободительное движение. Для М. А. Бакунина Россия была лишь частным полем приложения его концепции анархизма. П. Л. Лавров проповедовал не столько «крестьянский», сколько «рабочий социализм». П. Н. Ткачев, поначалу подчеркивавший национальную специфику России, затем заговорил о коренной противоположности социализма и национализма, о том, что «социализм повсюду одинаков»¹³. Вообще примечательной особенностью революционной России (в отличие от других стран запоздалого буржуазного развития, например Японии или нынешних развивающихся стран) являлась сравнительная слабость националистических тенденций. Последние, как было показано выше, имели место, но всегда умерялись универсалистским началом, стремлением к усвоению опыта других стран.

Во-вторых, интернациональные тенденции российско-го освободительного движения реализовывались через осознание русскими революционерами невозможности в новых условиях повторить историческое развитие стран Запада, схожести проблем, стоявших перед народами, позже других приобщавшимися к цивилизации. Такова была, по точному определению Г. В. Плеханова, «алгебраическая» формула некапиталистического развития Н. Г. Чернышевского, считавшего, что отставшие страны

могут под воздействием передовых «развиться очень быстро, подниматься с низшей стадии прямо на высшую, минуя средние логические моменты (т. е. буржуазную фазу. — Авт.)» (Ч., V, 389). Позже В. П. Воронцов полагал, что, «чем позднее начнет какая-либо страна развиваться в промышленном отношении, тем труднее ей завершить это развитие капиталистическим путем» и поэтому необходимо развиваться «иным, некапиталистическим путем»¹⁴. И. И. Каблиц (Юзов) сравнивал общину в России с аналогичными институтами в Мексике, Индии, Алжире и других странах¹⁵. Народнические теоретики одними из первых «почувствовали» ситуацию запоздалого, неорганичного капитализма со всеми присущими ей противоречиями и диспропорциями, свои учения они рассматривали как значимые и для других сходных по уровню стран.

В-третьих, необходимо учитывать и обратное воздействие революционной борьбы в России на революционную борьбу в других странах. Русские деятели участвовали в европейской революции 1848 г., сражались на баррикадах Парижской коммуны, в рядах национально-освободительного движения в Сербии и т. д. Революционные события в России вызывали большой резонанс в мире. Вести о 1 марта 1881 г. произвели большое впечатление не только на Европу, но и на далекую Японию. Известно прямое воздействие народнического движения не только на европейские страны (Польша, Румыния), но и на Азию (переписка Ф. В. Волховского с Сунь Ятсеном, поездка по странам Азии Н. К. Судзиловского (Русселя)).

В громадной степени воздействие российского освободительного движения на мировой революционный процесс возросло в XX в. Уже на заключительном витке освободительной борьбы в России, после 1917 г., В. И. Ленин указывал, что опыт пролетарской революции в стране, стоявшей «на границе стран цивилизованных и стран, впервые... окончательно втягиваемых в цивилизацию, стран всего Востока, стран внеевропейских», имеет «международную значимость»¹⁶. Россия разорвала «слабое звено» в цепи мирового капитализма, Октябрьская социалистическая революция подтолкнула революционные движения как на Западе, так и на Востоке.

Тесная связь интернационального и национального опыта революционной борьбы обусловила бесспорные достижения российских революционеров.

Основной вопрос социальной науки — результативность общественной практики человечества, соотношение цели и итогов революционной борьбы. С точки зрения этого высшего критерия опыт допролетарских революций, особенно Английской 1640—1649 гг. и Французской 1789—1794 гг., был далеко не однозначным. Социальная «материя» обнаруживала удивительную неподатливость воле и разумению людей как раз в те моменты, когда люди наиболее решительно брались за перестройку своих общественных отношений. Эта неподатливость проявлялась в различных аспектах: и в том, что, ломая абсолютизм, сметая феодальные порядки, эти революции создавали отнюдь не царство «разума», «равенства» и «справедливости», а новый эксплуататорский строй; и в том, что борьба за «свободу» приводила к господству Бонапартов в политике; и в том, что лозунги «братства» освящали якобинский террор. Правда, в эпоху революций 1848 г. в Европе на арене борьбы появилась новая сила — революционный пролетариат. Но и в самых развитых странах (Англия, Франция) он не смог переломить в пользу народа ход борьбы. Потерпели поражение и «штурмовавшие небо», по выражению Маркса, парижские коммунары 1871 года.

Проблема овладения революционным процессом, избежания непредвиденных и нежелательных его результатов, удержания плодов народной победы в руках народа была самой грандиозной проблемой, завещанной XVIII и началом XIX в. революционерам второй половины XIX столетия. Дальше всех в ее решении продвинулся марксизм. Но и российская революционная мысль напряженно искала выхода из тупиков революционной борьбы на буржуазном этапе исторического развития. Раздумья над трагическим исходом европейских революций мы находим уже в XVIII в. у Радищева, в XIX в. у Пестеля, отчасти у Белинского, в еще большей степени у Герцена, Огарева, далее у Чернышевского, Писарева, Лаврова, Михайловского; взгляд «со стороны» был порой в каких-то отношениях даже более глубоким, чем взгляды на события непосредственных их участников.

В конце XVIII — начале XIX в. российская революционная мысль четко фиксирует ограниченность европейских революций, но сама еще не выходит в позитивных программах за рамки объективно буржуазных преобразований. Появление социалистического пласта в российской освободительной идеологии было движением к

новым рубежам, причем утопический социализм принял здесь особую, «русскую», «крестьянскую» окраску, особый, действенный характер. Переход от социализма утопического к социализму научному явился в России XIX в. закономерным результатом сложного и мучительного поиска, который Ленин оценивал именно в плане *овладения революционным процессом*. «Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, — писал он, — Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы»¹⁷.

Проблема овладения революционным процессом содержит несколько аспектов. Во-первых, гносеологический аспект — научное, реалистическое осознание объективных рамок и возможностей революционного процесса, предпосылок, условий и оптимальной глубины революционных преобразований. Во-вторых, аспект организационный — способность революционного авангарда (политической партии) вести за собой массы, направить в русло целенаправленных усилий их стихийный порыв, с тем чтобы, с одной стороны, в полную меру реализовать задачи революции, с другой — свести к минимуму деструктивные последствия революционных страстей (разрушение производительных сил и культурных ценностей, ограничение актов насилия, не вызываемого необходимостью, и т. д.). С этим тесно связан аспект нравственный, о котором выразительно писал Чернышевский как об очищении революционных рядов от «плутов» и «мерзавцев», неизбежно проникающих в побеждающую или победившую революцию и использующих ее плоды в своих корыстных целях, что неизбежно тормозит революционный процесс, если не отбрасывает его назад (Ч., XIII, 218).

Важно отметить, что на всех этапах домарксистского освободительного движения лучшие его представители (Радищев, Пестель, Чернышевский, Лавров, Михайловский и др.) *осознавали* эти проблемы, выдвигали их, хотя и не могли еще дать их решение. Этого не позволяла сама жизнь, неразвитость общественных условий и форм революционной борьбы в России, а также отсутствие научной революционной теории. Проблема овладения революционным процессом обретает практическую реальность

и получает конкретное решение лишь на пролетарском этапе освободительного движения.

Участвуя в постановке проблем мировых, российское революционное движение до определенного периода решало преимущественно национальные задачи. Важнейшей среди них была задача свержения российского самодержавия, уничтожения крепостничества (после 1861 г. — его остатков). Именно самодержавие и крепостничество мешали выходу страны на дорогу широкого исторического развития, они стали в XIX в. настоящим национальным бедствием, на борьбу с которым были отданы лучшие силы страны. Лозунги борьбы с абсолютизмом и крепостничеством (его остатками) были «сквозными» лозунгами всех трех этапов российского освободительного движения; разрушить дотла самодержавие и остатки средневековья смогла только пролетарская революция 1917 г.

Далее. В условиях когда соперничество с передовыми нациями заставляло российское самодержавие со времен Александра II возглавить (пусть непоследовательно, нерешительно, робко) движение России по буржуазному пути, российским революционерам пришлось затратить громадные усилия на выработку сознательного отношения к российскому варианту «революции сверху», на теоретическое обоснование (вопреки этому половинчатому пути) возможности «революции снизу», на разработку исторической альтернативы российскому либерализму. В. И. Ленин особенно выделял здесь заслуги Н. Г. Чернышевского — социалиста и революционного демократа; В. И. Ленину принадлежит и принципиальное положение о борьбе двух тенденций (демократической и либеральной) в российском освободительном движении — также «сквозной» линии, проходящей через все этапы революционной борьбы в нашей стране.

Следующий момент. В России, стране отсталой по своей социальной структуре и культурному уровню, наблюдался, начиная со второй половины XIX в., сильный наплыв недостаточно зрелых элементов в революционное движение с их идеологией насилия и террора. Вместе с тем нельзя забывать и другое — практику насилия, террора вносили в политическую жизнь эксплуататорского общества сами правящие классы. Сопrotивляясь назревшим историческим преобразованиям, подавляя самодеятельность передовых общественных сил, они, как правило, толкали революционеров на ответные насиль-

ственные действия. Великие российские писатели (Достоевский, Тургенев и др.) резко отрицательно реагировали на зарождающийся российский экстремизм. Но и великие российские революционеры не стояли в стороне от этой борьбы. Они ясно сознавали противоречие своих гуманных идеалов навязываемым им негуманным способам борьбы, мучительно искали средств гуманизации исторического процесса. Особенно велики здесь заслуги Герцена, который воспитывал «отвращение от кровавых переворотов», когда они делаются без решительной на то надобности (Г., XIV, 239); Чернышевского, который настаивал на предпочтительности способов «правильной и спокойной развязки всяких столкновений» перед способами «развязки более первобытной» (Ч., VIII, 519). Вспомним также о систематической критике примитивных, «казарменных» форм социализма Герценом, о раздумьях Чернышевского, Писарева над критериями подлинной революционности, рассуждениях Лаврова о революции и нравственности. Эта критическая и одновременно позитивная работа шла в одном русле с критикой основоположниками марксизма анархизма Бакунина, бланкизма Ткачева, идей «казарменного коммунизма» Нечаева.

Еще одно завоевание российской революционной мысли можно выразить уже известной нам формулой Чернышевского: «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта» (Ч., VII, 923). Столкнувшись с пока еще непреодолимыми препятствиями на пути освобождения России (общая отсталость страны, пассивность широких масс, непомерная сила самодержавия), осмысливая коллизии европейского революционного процесса, передовые мыслители России неуклонно шли к осознанию громадной сложности революционного пути, шире — исторического прогресса вообще. Эта традиция реализма, выработанная великими революционерами России XVIII — XIX вв., была созвучна той социологической традиции, которую вырабатывали Маркс, Энгельс, Ленин, — недаром же Маркс и Ленин высоко ценили приведенную выше формулу Чернышевского. Эта традиция приобретает особую ценность и в наши дни.

Наконец, не последнее значение имел и тот факт, что усилиями целого ряда поколений в России был выработан сам тип передового революционного борца — героического, самоотверженного, способного на полную отдачу сил делу и вместе с тем чуткого к настроениям масс, думающего, способного к критическому осмыслению ре-

зультатов собственной деятельности. Появление таких революционеров в немалой степени способствовало победоносному исходу освободительной борьбы в России.

В целом российское революционное движение постепенно расшатывало самодержавно-крепостнические устои, и прежде всего тем, что способствовало созданию атмосферы общей оппозиционности старому порядку, которая доминировала в XIX в. в русском обществе, охватывая все более широкие слои. В начале XX в. революционный порыв масс сумела аккумулировать и направить к победоносному исходу большевистская партия, созданная В. И. Лениным.

К проблеме типов революционного сознания и поведения

«У нас теперь все перевернулось и только укладывается» — эти слова Л. Н. Толстого, которые любил цитировать В. И. Ленин, хорошо отражают социальные и культурные процессы в обществе запоздалого развития капитализма. Они в полной мере относятся к процессу становления национальной интеллигенции, формирующейся в ситуации стремительного социального и культурного распада прежнего, докапиталистического общества, «сшибки» «традиционных» и «современных» представлений. Эта ситуация, с одной стороны, стимулирует общественную мысль, ее одареннейших представителей, на весьма продуктивную и социально-чуткую рефлексию (В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский и др.). С другой стороны, эта же ситуация способствует возникновению достаточно массового «полуобразованного» слоя (насыщенного идейным упрощенчеством и антиинтеллектуалистскими тенденциями), который подхватывает идеи своих духовных вождей зачастую в обедненной, искаженной форме. Отсюда наряду с глубокими интуициями и прозрениями проявления идейного примитивизма. Отсюда стремление к утилизации категорий науки и передовых общественных учений (в том числе научного социализма) без усвоения того сложного теоретико-методологического и культурно-исторического контекста, в котором они сформировались. Отсюда различные проявления идейного утопизма, за которым скрывалось порой революционное нетерпение.

Подчеркивая заслуги российских революционеров, нельзя поэтому не видеть и резкие различия во взглядах и действиях выдающихся теоретиков и рядовой массы, учителей и учеников.

Ю. М. Лотман, Б. Ф. Егоров и З. Г. Минц в статье «Основные этапы русского реализма» сделали интереснейший в методологическом плане вывод: «Щедрин был одним из тех писателей послереформенной эпохи, которые стояли не ниже и даже не на уровне передовой народнической идеологии, а выше ее уровня. Это и обусловило, с другой стороны, трагические нотки в его творчестве...»¹⁸ Перед нами исторический парадокс: выход того или иного мыслителя за рамки обыденного революционного сознания обуславливает трагизм его мышления, придает этому мышлению не понятую, не оцененную большинством исследователей антиномичность.

Мы уже подчеркивали: Радищев призывает в оде «Вольность» к борьбе за свободу, тут же предупреждая, что по «закону природы» «вольность» обратится в «рабство» (Р., I, 12—14, 361). У Чернышевского в романе «Что делать?» совершается радостная «перемена декораций», после чего победителей сгоняют «со сцены». Тот же Чернышевский в «Прологе» именует «мерзостью» равно и результаты происшедших в Европе революций, и результаты предстоящей России реформы (Ч., XI, 336, 145; XIII, 106). Герцен предупреждает: известный ему примитивный «коммунизм» (мы бы употребили термин Маркса — «коммунизм казарменный») разовьется во всех фазах до крайних последствий, до нелепостей, оппозиция правительству примет что-то от его характера «в обратном смысле», станет чем-то вроде «русского самодержавия наоборот» (Г., VII, 253). Салтыков-Щедрин устанавливает «нечто общее» между «каплунами настоящего» и «каплунами будущего». «Это общее — отрицание личного деятельного участия в жизни»¹⁹.

Обходя подобные высказывания, считая их «слабостью» революционеров, не замалчиваем ли мы в сущности самые сильные стороны их мышления, не уходим ли от анализа парадоксальности определенных форм исторической практики людей?

В самом деле, решая задачу свержения самодержавия и ликвидации крепостничества, вожди революционной России XVIII—XIX вв. столкнулись с основной трудностью российского развития, которая может быть сформулирована следующим образом: как вообще мыслить и

действовать революционеру в эпоху, когда народные массы еще не обнаруживают способности к самостоятельному политическому действию или же когда плоды их борьбы, даже в случае успешного выступления, уходят из их рук (это показывал пример ушедшего вперед Запада). И Радищев, и Герцен, и Чернышевский, и Салтыков-Щедрин, и Писарев были уверены, что в конце концов выход из этого тупика будет найден. Однако осознание неизбежности его на данном участке исторического пути доставляло им немало тяжелых переживаний. Здесь мы выходим к проблеме *типов революционного сознания и действия*, чрезвычайно важной для уяснения диалектики развития освободительного движения в России.

Отметим в этой связи, что в нашей литературе пока еще слабо разрабатываются критерии различения *подлинной* революционности от революционности *мнимой*, проблема громадного перепада взглядов и действий учителей и учеников. Большинство исследователей говорят о некоей цельной — с большим или меньшим количеством разновидностей — идеологии революционной демократии, «осознавшей задачи борьбы с самодержавием». В этом контексте любой призыв к революционному действию рассматривается как заслуга и подвиг (независимо от того, созрели ли условия для такого действия, как оно мыслится и т. д.); напротив, любой отказ от немедленного действия трактуется как слабость революционера. Именно такой подход не позволил некоторым нашим специалистам оценить по достоинству идейный кризис Радищева, итоги развития мысли демократа и революционера Белинского, который в условиях России конца 1840-х гг. отказался от ставки на движение народных масс²⁰. Выпадают в большинстве случаев из сферы анализа специалистов сурово-реалистические, порой скептические высказывания Чернышевского, Герцена, Писарева. По разряду «выдающихся революционных памятников эпохи» идут равным образом и незрелая ультрареволюционная «Молодая Россия», и замечательно глубокий роман Чернышевского «Что делать?»*.

* См.: Революционная ситуация в России в середине XIX века. М., 1978, с. 82, 260, 307. Уточним нашу позицию. Иллюзорные идеологические моменты не просто минус в революционной борьбе. Иллюзии в политике способны поднимать людей на героические «дела» (вспомним «шестидесятников», «семидесятников», народовольцев). Но с точки зрения конечного результата борьбы, а значит, и строгой теории мы обязаны различать, противопоставлять концепции глубо-

В нашей исследовательской литературе нет осознания того, что автор «Письма из провинции» с его страстным призывом «К топору зовите Русь!» (кто бы он ни был) был на голову ниже автора «Писем без адреса», который, учтя горькие уроки 1861 г., пришел к выводу: для сознательного революционного дела народ пока еще не созрел, восставший мужик станет крушить всех без разбора людей в «немецком платье», он начнет уничтожать всю нашу «цивилизацию» (Ч., X, 92). Это не слабость великого демократа и социалиста, которую нам надлежит задним числом замалчивать. Это его гениальное прозрение. Русский революционер перерастает рамки мужицкого демократизма. Он выходит к пониманию процесса, который К. Маркс в «Восемнадцатом брюмере Луи Бонапарта» определил как реакцию «деревни против города»²¹. Он выходит к пониманию того, что взятая сама по себе «крестьянская революция», на которую он и раньше-то не очень рассчитывал, есть *contradictio in adjecto* — противоречие в определении, нечто вроде «круглого квадрата». Крестьяне, поднявшиеся на «свою» революцию без руководства извне («сильная рука»), не способны придать созидательный характер освободительной борьбе.

В романе «Что делать?» Чернышевский не просто делает «ригориста» Рахметова кумиром простого народа, он выводит героев романа — подчеркнем этот факт еще раз — к «заводским делам». Он выходит в «Прологе» к противопоставлению просто революции (а не крестьянской революции, как полагают некоторые авторы) бесплодному мужицкому бунту (Ч., XI, 136, 193—194, 326, 329; XIII, 205—206). У Чернышевского нет еще понятия «пролетарски-крестьянская революция» (на этот счет не может быть двух мнений), но он несомненно двигался в направлении осознания необходимости передового класса для освобождения России. Правда, такого класса в конце 50-х — начале 60-х гг. прошлого века в России еще не было. Напомним, что как раз «середину XIX века» Ленин характеризовал как всемирно-историческую эпоху, «когда революционность буржуазной демократии *уже* умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата *еще не* созрела»²². Эти слова отно-

кие, продуманные, трезвые и взгляды поверхностные, поспешные, незрелые, далекие от науки. Чернышевский в этом смысле резко возвышался над плеядой своих учеников и последователей.

сятся к европейской ситуации и вскрывают причину духовной драмы Герцена после революций 1848—1849 гг. Но в определенной мере эти слова можно отнести и к России, где буржуазно-помещичий либерализм также отшатнулся от революции и где пролетариат еще не сформировался. Можно в определенной мере отнести ленинские слова и к сурово-стоическим взглядам Чернышевского 1860-х гг., осмысливавшего как европейские, так и российские события. Он прекрасно понимал, что ни этот «жалкий 1848 год», ни тем более жалкий 1861-й не открывали непосредственной перспективы подлинного освобождения народа (Ч., XIII, 106, 218).

Удивляться, следовательно, надо не тому, что Герцен и Чернышевский в эпоху падения крепостного права в России не делали ставку на пролетариат, а тому, что, рассчитывая на крестьянство и крестьянскую общину, они тем не менее умели ценить значение «рабочего вопроса» для исторического развития общества. В. И. Ленин писал, что Герцен в конце жизни обратил свои взоры к Интернационалу²³. Пожалуй, еще раньше Герцена (и Писарева) свой умственный взор обратил к европейскому пролетариату Чернышевский. О том, что Россия вступает в тот период, «когда к экономическому производству прилагаются капиталы», о том, что это служит залогом предстоящих ей «великих изменений», Чернышевский сказал еще в 1857 г. (Ч., IV, 304). В каком русле пойдут эти «изменения», разъяснял его перевод Милля и комментариев к нему. Здесь был обозначен магистральный путь истории (от конфликта феодала и буржуа — к конфликту буржуа и «работника» (Ч., V, 395; IX, 516). Четко и ясно формулировал Чернышевский и свое методологическое credo. «Русская история, — учил он соратников, — понятна только в связи с всеобщей, объясняется ею и представляет только видоизменения тех же самых сил и явлений, о каких рассказывается во всеобщей истории» (Ч., VII, 268).

Но и «видоизменения» оказались — это покажет практика XX в. — очень существенными. Революционность буржуазной (прежде всего крестьянской) демократии, которая уже умирала в Европе, *продолжала жить* в России. В великих российских революциях начала XX в. она *сольется* благодаря большевикам с революционностью пролетарской. Гегемония пролетариата, вооруженного марксистской теорией, обеспечит невиданный в Европе XIX в. итог борьбы.

Мы видели: возникновению марксизма как идейного направления в России предшествовала длительная, полная драматизма история поисков социалистической интеллигенцией правильной революционной теории. Истины, которые в европейских странах быстро усваивались в результате кровавых, но поучительных уроков революций и контрреволюций, в ходе открытого столкновения классов и партий, в России открывались мучительным путем проб и ошибок «одинок»-революционеров, путем борьбы, связанной с перерывами традиций, крахом преувеличенных ожиданий. Отсюда особая роль «действенного народничества» и народовольчества, ускорявших процесс просвещения революционно-социалистической интеллигенции, подводивших его к логическому финалу.

Своей критической точки этот процесс достиг в начале 80-х гг., когда народничество переживало глубокий надлом. Дело не только в том, что объективные процессы — рост капитализма, расширение сферы наемного труда, рост рабочего движения, социальная дифференциация внутри крестьянства — вступили в явное противоречие с теоретическими построениями народников. Терпела фиаско и их революционная тактика и программа. Народническому подполью не удалось установить контакт с крестьянскими массами. Для многих революционеров становилось очевидным, что без ниспровержения самодержавия, т. е. без политической борьбы, которую народники в принципе отрицали, невозможна никакая радикальная перестройка социальных отношений в России. Однако развернувшийся на рубеже 70-х и 80-х гг. политический террор не дал ощутимых результатов.

Все это в конце концов привело к тому, что бывший народник Г. В. Плеханов и его соратники по группе «Освобождение труда» порвали со своими прежними представлениями и обратились к «Манифесту Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса. Переход к марксизму был осуществлен, таким образом, во многом «от противного» — через преодоление народнических иллюзий²⁴.

Но в пореформенной демократической мысли в России прослеживается и другая тенденция (пусть не главная, но все же важная для победы идеологии пролетарского социализма в русском революционном движении) — всевозрастающий интерес к марксизму. Достаточно упо-

мянуть статьи П. Н. Ткачева об «экономическом факторе» в историческом процессе, вспомнить печатание С. Г. Нечаевым «Манифеста Коммунистической партии». Перевод I тома «Капитала» Маркса (издан в марте 1872 г.) был осуществлен в России именно народниками — Н. Ф. Даниельсоном и Г. А. Лопатиным. В 70-х гг. «сангвинику» (т. е. социалисту) Марксу симпатизировал властитель дум народнической молодежи Н. К. Михайловский.

Частичное признание тех или иных положений марксизма, конечно, не делало русских революционеров 60—70-х гг. марксистами, они сохраняли прежнюю, народническую основу своих воззрений. В своем прямом продолжении это «отражение» марксизма в представлениях народнических теоретиков дало скорее своеобразный «ревизионизм слева», проявившийся позднее у эсеров, нежели переход к марксизму²⁵. И тем не менее эта инфильтрация марксистских идей в народническую мысль была небесполезной для освободительного движения, особенно на его более ранних этапах. Она объективно способствовала расширению кругозора народников, пропаганде марксистского учения, расчищению для него идейной почвы, накоплению элементов научного знания. Без нее трудно себе представить переход Г. В. Плеханова (также прошедшего этап «приспособления» марксизма к народническим концепциям) на марксистские позиции.

Вместе с тем зарождение марксистской мысли в России (в лице Г. В. Плеханова и его друзей) означало, безусловно, коренной переворот в развитии российской революционной мысли. Доминирующей чертой домарксистской революционной мысли в России был исторический идеализм. Он был характерен для декабристов, стремившихся внести «разум» в общественные отношения своей родины. Правда, Белинский (в последний период его жизни) и в особенности Чернышевский уже начинали преодолевать идеализм в понимании исторического процесса. Но это продвижение к материализму не нашло непосредственного продолжения. Для народников утопизм и субъективизм были своего рода определяющими теоретическими принципами. Они легли как в основу так называемой этико-социологической школы (труды П. Л. Лаврова и Н. К. Михайловского), так и в основу экономической науки («экономический романтизм» В. П. Воронцова и Н. Ф. Даниельсона). В результате субъективные и объективные факторы общественного

процесса оказывались в народнических представлениях разорванными, не связанными друг с другом. Поэтому и реализация революционных целей для идеологов народничества неизбежно становилась гадательной, не вытекающей из «естественного хода вещей». «Будет или не будет осуществлен прогресс в его окончательных задачах — это неизвестно», но «это не касается личности... не должно влиять на ее нравственные стремления»²⁶, — писал П. Л. Лавров. Такая мировоззренческая позиция являлась своеобразным отражением изолированности радикальной интеллигенции от трудящихся масс, результатом неумения нащупать объективные тенденции экономического и политического развития России.

В противовес этому марксизм в России дал научное, объективное, детерминистское понимание действительности. С точки зрения общего настроения широкого круга революционеров оно было равнозначно ощущению *неизбежности* победы, глубочайшей исторической обусловленности успехов освободительного движения. Известное пророчество Н. Г. Чернышевского: «Пусть будет, что будет, а будет в конце концов все-таки на нашей улице праздник!» (Ч., V, 391) — обрело аргументированное, доказательное обоснование. Первые марксистские работы Г. В. Плеханова обратили на себя внимание революционных кружков в России именно спокойным оптимизмом убежденного в своей правоте человека.

Наконец, с укоренением марксизма на российской почве ее освободительное движение окончательно подключалось к мировому революционному процессу. Оно взяло на вооружение самое передовое идейное мировоззрение, выработанное в более развитом европейском обществе и впервые поставившее идеи социализма на научную основу. Тем самым окончательно закреплялись международные связи русских революционеров и само освободительное движение в России конституировалось как органическая составная часть интернациональных освободительных сил.

В целом борьба допролетарских революционеров была ограниченной по своим масштабам и историческим результатам. Но и она сыграла существенную роль в истории страны. Лучшие традиции своих предшественников восприняли пролетарские революционеры. Долгие десятилетия отделяли «посев» от «жатвы», но важно то, что этот «посев» был произведен усилиями ряда поколений, ценой сотен и тысяч жертв.

МАРКСИСТСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Такой кардинальный идейный переворот, как зарождение научной революционной теории в России, не мог произойти как одновременный акт. Он был долгим процессом, в котором марксизм утверждался в борьбе со своими буржуазно-либеральными и народническими оппонентами, в полемике различных фракций внутри самой российской социал-демократии, не всегда адекватно воспринимавших глубину Марковского учения. Основные проблемы были связаны с трудностями применения марксистских положений к конкретным российским условиям. На этой почве неизбежно выявились различные решения проблемы идеологами революционного пролетариата. В этом смысле особенно поучительным является сопоставление теоретических концепций Маркса, внимательно следившего за трансформацией России, Плеханова, наконец, Ленина.

Это сопоставление показывает: движение всякой мысли, и особенно общественной, идет одновременно в разных направлениях, на разных уровнях. Поэтому логически более поздний момент определяется иногда хронологически ранее, чем последующий. К решению ведет не одна-единственная дорога, а несколько перекрещивающихся путей. Синхронизировать их, «выпрямить» в «одну линию» всегда составляет трудную задачу для исторического исследования. Тем более она осложняется, когда речь заходит о процессах мысли, совершающихся в не совпадающих между собой теоретических плоскостях. Но именно так обстояло дело с научным поиском Маркса (отчасти Энгельса), с одной стороны, и формированием плехановской концепции русской пролетарской революции — с другой. Ленинская революционная концепция явится своего рода продолжением (на новом уровне) Марковского теоретического поиска. Будучи претворена в жизнь, воплощена в практике классовой борьбы, она резко изменит пути исторического развития России, откроет перед нею (да и перед всем миром) социалистическую перспективу.

Определяющим фактором настойчивого интереса К. Маркса к России, к «русским сюжетам» была, как это ни покажется странным с первого взгляда, не оценка роли царского самодержавия в подавлении революции 1848—1849 гг., не реформаторская деятельность царизма в начале 60-х гг., не даже развитие народнического, и в особенности народовольческого, движения. Все это сыграло свою роль, иногда довольно важную. Но с точки зрения эволюции Марксовой мысли, формирования в ней нового проблемного поля решающее значение имеют другие факторы, прежде всего противоречия революционного процесса в Западной Европе.

Впервые во весь рост эта проблема встала в дни стремительного вихря французской революции, когда в июньские дни 1848 г. парижский пролетариат потерпел поражение от объединенных сил контрреволюционной буржуазии, запуганных мелких буржуа — крестьян, лавочников, ремесленников и люмпенов. Поражение пролетариата открыло глаза Марксу и Энгельсу на ту жестокую истину, что французский рабочий класс в силу незрелости классовых антагонизмов еще не способен «осуществить свою собственную революцию». Причина заключалась не только в ошибках пролетариата, верившего вплоть до июня в возможность своего освобождения бок о бок с буржуазией, — революционное сознание и обдуманная тактика, уверены Маркс и Энгельс, придут в конце концов в результате накопления политического опыта. Трудность была иная, не субъективного, а объективного свойства: благодаря тому что крупная промышленность не преобразовала радикально всех отношений собственности, борьба французского пролетариата против капитала в это время еще не стала, да и не могла стать общенациональным содержанием революции. Кроме того, поражение пролетариата было обусловлено отсутствием союзников в его борьбе. «Французские рабочие не могли... — писал К. Маркс, — ни на волос затронуть буржуазный строй, пока ход революции не поднял против него, против господства капитала, стоящую между пролетариатом и буржуазией массу нации, крестьян и мелких буржуа, и не заставил их примкнуть к пролетариям как к своим передовым борцам»¹.

Преграда, о которую разбилась революционная волна во Франции, оказалась, однако, не специфически фран-

цузской. Чем дальше, тем яснее перед умственным взором Маркса и Энгельса вырисовывается картина в высшей степени неравномерного, асинхронного вызревания предпосылок грядущего социального переворота. Парижский пролетариат, выставляющий пока смутные, неосознанные, но по существу социалистические требования, и мелкобуржуазная крестьянская Франция, еще облакающая свою оппозицию буржуазии в форму бонапартистских иллюзий; Франция, в которой противоречия между пролетариатом и его противниками уже вылились в открытую гражданскую войну, и другие европейские государства, где разворачивались революции национально-патриотического, либерального, демократического характера; Западная Европа, завершавшая шаг за шагом буржуазные преобразования, и царская Россия, оплот реакции в Европе, форпост азиатского деспотизма, — в эти «зазоры», «разрывы» протискивалась контрреволюция, обрекая на неудачу все и всякие попытки изменить существующий порядок вещей. Чтобы обеспечить положение, при котором пролетарская революция оказалась бы способной осуществить свои задачи, европейскому обществу предстояло создать неизмеримо более развитые условия, чем те, которые существовали до начала событий 1848—1849 гг.

Каковы, по мнению Маркса и Энгельса, действительные предпосылки успешной европейской социальной революции? Прежде всего союз пролетариата с крестьянством. Как и всякое сельское население, крестьянство в Западной Европе тяжело на подъем, отмечает Маркс в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (1852 г.). Однако перспективы не безнадежны: в середине XIX в. «интересы крестьян находятся уже не в гармонии с интересами буржуазии, с капиталом, как это было при Наполеоне, а в непримиримом противоречии с ними»². Поэтому существует реальная возможность превратить это противоречие в революционное движение против существующего строя, а значит, дополнить пролетарскую революцию вторым изданием крестьянской войны. Последний ход событий показал, однако, Марксу и Энгельсу, насколько трудной является эта задача. Даже подвергаясь беспощадной эксплуатации капиталом, западноевропейское крестьянство в силу своей политической инертности и реакционных предрассудков выступало на протяжении всего XIX века главным стабилизирующим фактором политической жизни буржуазного общества.

«. . . Во Франции, как и в большинстве континентальных стран, — констатирует Маркс после Парижской коммуны, — существует глубокое противоречие между. . . промышленным пролетариатом и крестьянством»³.

Одновременно с этим мысль Маркса движется и в другой плоскости «крестьянского вопроса» — уяснения общих условий и фазисов перехода человечества к социализму. «Трудный вопрос заключается для нас в следующем, — писал он Энгельсу 8 октября 1858 г., — на континенте революция близка и примет сразу же социалистический характер. Но не будет ли она неизбежно подавлена в этом маленьком уголке, поскольку на неизмеримо большем пространстве буржуазное общество прodelывает еще восходящее движение?»⁴

Заметим, что этот «трудный вопрос» формулируется Марксом в письме, написанном по получении известий из России о готовящейся там отмене крепостного права.

Восходящее движение капитализма на огромных пространствах Восточной Европы, Азии и Америки — и маленький уголок земного шара, где буржуазное общество развило свойственные ему антагонизмы, где вызревал социалистический переворот. Какую роль сыграют в исторических судьбах человечества сотни миллионов крестьян, населявших обширные пространства Восточной Европы и Азии?

Непосредственно после реформы 1861 г. в России ответить на эти вопросы не представлялось возможным: в частности, тогда еще никто не мог сказать, как конкретно сложится результат реформаторской деятельности русского царизма. Но чем дальше уходило вперед буржуазное развитие страны, тем явственнее становилось назревание глубокого социально-экономического кризиса.

Акцентируя свое внимание на том общем, что роднило Россию с западноевропейскими странами периода первоначального накопления, Маркс и Энгельс вместе с тем внимательно вглядываются в особые черты российского капитализма, обусловленные не столько национальной спецификой его, сколько тем, что этот капитализм складывается в иных общественно-экономических условиях, на ином витке истории человечества, нежели «классическое» буржуазное общество. Российский капитализм для Маркса интересен прежде всего как пример *нового типа экономического развития, которое происходило в условиях, резко отличающихся от аналогичных условий Западной Европы.*

О результатах этих наблюдений можно судить по письму Маркса Н. Ф. Даниельсону от 10 апреля 1879 г. «Железные дороги возникли прежде всего как «соигонnement de l'oeuvre» (увенчание дела. — Авт.) в тех странах, где современная промышленность достигла наибольшего развития, — в Англии, Соединенных Штатах, Бельгии, Франции и т. д. . . — пишет Маркс. — С другой стороны, возникновение сети железных дорог в ведущих странах капитализма поощряло и даже вынуждало государства, в которых капитализм захватывал только незначительный верхний слой общества, к внезапному созданию и расширению их капиталистической *надстройки* в размерах, совершенно не пропорциональных остову общественного здания, где великое дело производства продолжало осуществляться в унаследованных исстари формах. Не подлежит поэтому ни малейшему сомнению, что в этих государствах создание железных дорог ускорило социальное и политическое размежевание, подобно тому как в более передовых странах оно ускорило последнюю стадию развития, а следовательно, окончательное преобразование капиталистического производства»⁵.

Эта выдержка вводит нас в самую сердцевину научного поиска Маркса. То, что российский капитализм интенсивно развивался после реформы, обрекая на гибель все прежние экономические уклады, не вызывает сомнений у Маркса. Проблема заключалась для него в другом: как долго удастся этому капитализму, сразу вставшему на крупнопромышленную основу, опиравшемуся на современные средства сообщения, на акционерные компании, двигаться вперед, не взрывая, не революционизируя отсталого способа производства в деревне и соответствующих ему социальных отношений. Маркс уверен: «капиталистическая надстройка» не может бесконечно увеличиваться, не подвергая опасности здание в целом. Противоречие «вершин» капитализма его «основанию», обострявшееся по мере успехов буржуазного развития, неизбежно подведет страну к революционной катастрофе.

Стремясь оттенить особую форму русского буржуазного развития, Маркс сравнивал его с капитализмом США. «В Соединенных Штатах, — писал он, — концентрация капитала и постепенная экспроприация народных масс представляют не только орудие, но и естественное порождение (хотя и искусственно ускоренное Гражданской войной) неслыханно быстрого промышленного

развития, прогресса в сельском хозяйстве и т. д.; Россия же напоминает скорее Францию времен Людовика XIV и Людовика XV, когда финансовая, торговая и промышленная надстройка или, вернее, *фасад* общественного здания (имевшего, правда, под собой гораздо более прочный фундамент, чем в России) выглядел насмешкой на фоне застоя большей части производства (сельскохозяйственного) и голода среди производителей»⁶.

Любой капитализм, где бы он ни возник, предопределяет разорение непосредственных производителей («экспроприацию народных масс»). Но это разорение может быть выражением общего социально-экономического прогресса страны на капиталистическом пути, как это было в США, а может быть средством создания капитализма за счет большинства населения исключительно в интересах господствующих классов. Проникавшее в социальные отношения буржуазное содержание не сглаживало в последнем случае противоречия между капиталистической эволюцией страны и отсталыми способами производства в сельском хозяйстве, а, наоборот, обостряло их, добавляя к варварству крепостничества все недостатки новейшего капитализма. Маркс мог бы сказать о России то же самое, что он в свое время говорил о Германии: «...она разделяла *страдания* этого развития, не разделяя его радостей, его частичного удовлетворения»⁷.

Специфику российского развития — назревание крестьянской революции в условиях одновременной закладки основ капиталистической индустрии — увидит и Энгельс. «Так называемое освобождение крестьян, — писал он в 1885 г., — создало настоящую революционную ситуацию, поставив крестьян в такие условия, при которых они не могут ни жить, ни умереть. Быстрое развитие крупной промышленности и свойственных ей средств сообщения, банки и т. п. только обострили это положение. Россия находится накануне своего 1789 года»⁸.

Итак, предпосылкой всесторонней модернизации России могла быть только социальная революция. Но какие силы и как совершат русскую революцию? Какой характер примет предстоящий в России социальный переворот? Какая комбинация классовых сил соответствует революции в России?

На первый взгляд вопрос о характере революции предельно ясен. В России развивался капитализм, и революция неизбежно должна была носить буржуазный ха-

ракти. Даже если в ходе развития событий получат преобладание плебейские элементы города и деревни, они, как это не раз бывало в европейских революциях, своей деятельностью помогут лишь расчистить почву для господства буржуазии — единственного класса русского общества, способного утилизировать результаты революции. Так впоследствии будет рассуждать Плеханов. Маркс и Энгельс, однако, не формулируют своей позиции так категорически. Их подход к российской революции был более гибким и диалектичным.

Здесь мы выходим к важнейшему моменту в теоретической концепции Маркса. Казалось бы, настаивать на неизбежности развития капитализма было естественно и необходимо для Маркса (как материалиста, критика народнического волюнтаризма). И тем не менее он энергично протестует против попыток Н. К. Михайловского превратить его, Маркса, «исторический очерк возникновения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они оказываются...»⁹.

Исторический материализм, подчеркивает он в письме в редакцию «Отечественных записок», не универсальная отмычка ко всем проблемам общественного развития, а научная теория, которая, во имя научности, требует серьезного изучения каждой конкретной исторической ситуации и всех объективно возможных при данных условиях путей выхода из нее.

В отношении России Маркс не склонен предаваться оптимизму на манер народников, суливших стране социалистическое будущее. Правда, и он не исключает, что Россия, «развивая свои собственные исторические данные», окажется способной завладеть плодами развития капитализма, не испытав всех мук этого строя, но и не фетишизирует подобной возможности. То, что он считает нужным сказать, оставаясь на научной почве, сводится к следующему: «Если Россия будет продолжать идти по тому пути, по которому она следовала с 1861 г., то она упустит наилучший случай, который история когда-либо предоставляла какому-либо народу, и испытает все роковые злоключения капиталистического строя»¹⁰.

Письмо в «Отечественные записки» является одним из свидетельств той напряженной работы, которая со-

вершалась в эти годы в голове Маркса. Если попытаться кратко сформулировать основные проблемы, с которыми столкнулся Маркс, то можно сказать, что в 70-х — начале 80-х гг. он вплотную подходит к пониманию специфического характера западноевропейских схем исторического развития. Всемирно-исторический процесс явно не ухватывался этими схемами. Примером тому как раз была «русская ситуация», в которой крупная капиталистическая промышленность внедрялась в общественный организм, в других отношениях слабо затронутый историческим движением.

Должна ли Россия — а вопрос касался не только России, а в перспективе и остального неевропейского мира — для превращения в общество с современной экономикой разрушить общинное землевладение? Или же она сможет воспринять достижения буржуазной цивилизации, прежде всего крупное промышленное производство, не превращая бывших общинников в пролетариев и пауперов? Эти вопросы вновь встают перед Марксом в самом начале 80-х гг. XIX в. в связи с письмом к нему Веры Засулич.

«В последнее время, — писала Засулич Марксу, — мы часто слышим мнение, что сельская община является архаической формой, которую история, научный социализм, — словом все, что есть наиболее бесспорного, обрекают на гибель. Люди, проповедующие это, называют себя Вашими учениками *par excellence* (по преимуществу. — Авт.) «марксистами». Их самым сильным аргументом часто является: «Так говорит Маркс...». Вы поймете поэтому, гражданин, в какой мере интересуется нас Ваше мнение по этому вопросу и какую большую услугу Вы оказали бы нам, изложив Ваши воззрения на возможные судьбы нашей сельской общины и на теорию о том, что, в силу исторической необходимости, все страны мира должны пройти все фазы капиталистического производства»¹¹.

И вот, отвечая Вере Засулич на ее вопрос о будущем русской общины, Маркс снова сводит предмет анализа своего «Капитала» к исследованию капиталистического способа производства, как он сформировался в Западной Европе. Основой возникновения его явилась экспроприация землевладельцев. Радикально она осуществлена только в Англии. Однако все другие страны Западной Европы идут по тому же пути. Следовательно, «историческая неизбежность» этого процесса точно огра-

ничена странами Западной Европы. Никаких доводов ни за жизнеспособность русской общины, ни против нее почерпнуть, основываясь на «Капитале», нельзя; для этого нужны специальные исследования по экономике России. Они-то и убедили Маркса в том, что «община является точкой опоры социального возрождения России...»¹². Правда, для того чтобы она могла стать исходным пунктом социального переворота, «нужно было бы прежде всего устранить тлетворные влияния, которым она подвергается со всех сторон, а затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития»¹³.

Благодаря тому что русская община является современницей капиталистического производства, «она может, — считает Маркс, — усвоить его положительные достижения, не проходя через все его ужасные перипетии»¹⁴. Теоретическая возможность подобного хода общественной эволюции не вызывает ни малейших сомнений у Маркса.

Вообще, будущее историческое развитие России, по Марксу, не может быть понято *вне и помимо процессов, происходящих в экономической и общественной жизни развитых стран Западной Европы и Северной Америки*. Международные отношения, экономическая взаимосвязь, обмен духовными ценностями, культурой между странами выросли и развились, по его мнению, в такой степени, что стали активно воздействовать на ход событий в каждой отдельной стране, предопределяя возникновение новых возможностей общественного развития.

Так, русская революция, приходит к выводу Маркс, может открыть, если совпадет по времени с пролетарской революцией на Западе, путь некапиталистическому развитию, может стать при благоприятных условиях эпохой поворота России к социализму. При таком обороте событий крестьянская община способна стать точкой опоры социального обновления страны. Правда, существует и другая не менее реальная альтернатива. При сохранении существующего развития господствующие классы могут «создать из более или менее состоятельных крестьян средний сельскохозяйственный класс и превратить бедных земледельцев, т. е. массу их, в простых наемных рабочих, т. е. — обеспечить себя дешевым трудом»¹⁵. В этом случае кризис будет решен в направлении капитализма, крестьянская община погибнет под действием совокупного гнета государства, помещика, ростовщика.

Борьба интересов, происходящая внутри общины, обострится и в конце концов взорвет эту архаическую форму.

Конечно, Маркс и Энгельс понимали, что предстоящий социальный переворот не будет носить непосредственно социалистический характер, они, как мы знаем, не забывали о «современном уровне развития Московии»¹⁶. Однако, уверены основоположники научного социализма, переворот будет чрезвычайно глубоким. За «русским 1789 годом» последует «русский 1793 год», за это ручается острота экономического кризиса, в котором очутилась Россия в пореформенную эпоху, невозможность разрешить его «обычными» буржуазными средствами, т. е. направить страсти «в спокойное парламентское русло». Независимо от того, кто начнет русскую революцию, считают Маркс и Энгельс, крестьяне развернут ее дальше и выведут за пределы первоначального фазиса.

Маркс и Энгельс здесь ставят точку. Они не идут дальше — к выдвижению конкретных схем, моделей общественного развития. В частности, для Маркса исторический процесс многолинеен. Маркс не гадает, какие социальные и политические фазы предстоит пройти России, прежде чем она придет к социализму. Для этого русская действительность не давала достаточно материала. Научное решение проблемы упиралось здесь не в теорию, а в дальнейшее развитие общественно-политической практики, в грядущий исторический опыт.

Отметим показательный факт. Марксист Г. В. Плеханов, идеи которого были более просты, более элементарны, чем Марксовы прозрения, не придавал никакого значения письму К. Маркса к Вере Засулич. Оно не было предано в свое время гласности, и лишь много лет спустя Д. Б. Рязанов обнаружил его в архиве группы «Освобождение труда». Письмо было опубликовано впервые в «Архиве К. Маркса и Ф. Энгельса» в 1924 г. (книга 1).

Плеханов о перспективах освобождения России

Доказательство факта эволюции страны по пути капитализма, осмысление роли пролетариата как движущей силы русской революции, соотношение социализма и политической борьбы, критика народовольчества — вот что составляло круг теоретических интересов Плеханова и его единомышленников в 80-х гг. XIX в. Этот круг

идей наиболее соответствовал непосредственным интересам развития пролетарского социализма в России, прямо отвечал на животрепещущие вопросы русского революционного движения. Богатейший исторический опыт пролетарского движения Западной Европы, его интеллектуальные завоевания сыграли при этом далеко не последнюю роль. Без усвоения основ марксизма русская социал-демократия не сумела бы приступить к научному изучению русской общественно-экономической и политической ситуации и к определению путей революции в России.

С расколом «Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный передел» кризис народничества достигает критической точки, когда внутренние противоречия идеологии выливаются в борьбу революционных фракций. «Ход вещей» пришел в столкновение с «ходом идей». Однако «ход вещей» — это не просто объективное экономическое развитие страны по буржуазному пути, но прежде всего и главным образом революционная практика. Именно она в форме антиномии «социализм — политическая борьба» выявила противоречие народнического социализма потребностям освободительной борьбы в эпоху нарождавшегося в России капитализма. Сама логика борьбы за социальный переворот вывела народников в сферу политики, благодаря которой со всей ясностью выявился основной порок исходной доктрины. То, что раньше выступало как различие точек зрения народнических публицистов, с возникновением народовольчества превращалось во внутреннее противоречие самого революционного движения. Своим героическим, но безнадежным единоборством с самодержавием «Народная воля» поставила проблему социализма и политической борьбы, так сказать, на лезвие ножа. Русские социалисты оказались перед решающим выбором: либо отказ от поддержки развернувшейся политической борьбы против самодержавия, либо отказ от теории, в которой «политике» не находилось места.

К числу тех, кто остро почувствовал эти противоречия теории и практики народничества и начал напряженно размышлять о путях выхода из тупика, принадлежали кроме Г. В. Плеханова В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч, В. Н. Игнатов. Все они, активные народники, выходцы из «Черного передела», вынуждены были из-за преследований полиции эмигрировать за границу. «Каждый из нас, — писал впоследствии Плеханов

о первых годах своей эмиграции, — принес из России опыт, приобретенный в течение нескольких лет революционной агитации, и более или менее ясное сознание того, что этот опыт находится в противоречии с теорией бунтарей. Это сознание было особенно мучительно, и каждый из нас испытывал настоятельную потребность привести в порядок свои революционные идеи» (П., XXIV, 178). И чем глубже знакомились бывшие народники с западноевропейским рабочим движением и трудами Маркса и Энгельса, тем очевиднее для них становились утопический характер народнических взглядов и пороки народнической практики.

Речь шла при этом не о простом заимствовании научной теории, а прежде всего о критической проверке накопленного революционного опыта с помощью марксизма. Именно такая проверка позволила первым русским социал-демократам сделать решающий шаг вперед по сравнению с их предшественниками (членами Русской секции I Интернационала, Лавровым, Ткачевым и др.) и воспринять не отдельные фрагменты учения Маркса и Энгельса, а марксизм в целом как единственно научную теорию революционного социализма.

Слабость рабочего движения в России не помешала Плеханову постигнуть значение борьбы пролетариата. Осенью 1881 г. он начинает переводить на русский язык «Манифест Коммунистической партии». По признанию самого Плеханова, эта работа сыграла в формировании его марксистских взглядов выдающуюся роль (П., XXIV, с. 178—179). «Манифест» помог ему найти наконец путь к решению вставших перед русскими революционерами вопросов о соединении социализма с политической борьбой, о решающих силах социального переворота в России, о правильной тактике революционной борьбы.

25 сентября 1883 г. плехановская группа выпустила объявление «Об издании Библиотеки Современного Социализма». В Объявлении говорилось о необходимости полного разрыва со старыми народническими взглядами, а также о том, что бывшие члены «Черного передела» образуют группу «Освобождение труда».

Члены новой группы выдвинули две непосредственные задачи: 1) распространение идей научного социализма посредством перевода на русский язык важнейших сочинений Маркса и Энгельса, публикация оригинальных сочинений; 2) критика ошибочных взглядов народничества и разработка важнейших вопросов русской об-

щественной жизни с точки зрения научного социализма и в соответствии с интересами трудящегося населения страны (П., II, 22—23).

Изложением взглядов новой группы явились работы Г. В. Плеханова «Социализм и политическая борьба» (1883 г.) и «Наши разногласия» (1885 г.). В качестве отправного пункта анализа общественной ситуации Плеханов берет политическую борьбу за свержение самодержавия и идею социализма — две идеи, приводившие в движение наиболее передовые слои интеллигенции в России. Требованию политической свободы он придает исчерпывающую последовательность принципа, разъясняя, что успешно бороться с самодержавием одиночки из интеллигенции не в состоянии и только рабочий класс, организовавшийся в политическую партию, способен вести борьбу с шансами на победу. Для рабочего же класса политическая организация его рядов есть как раз то средство, при помощи которого он сможет осуществить и свои классовые интересы, и (одновременно) интересы общественного развития. Под углом зрения развития классовой самостоятельности пролетариата Плеханов рассматривает все вопросы предстоящей русской революции. Он уверен в том, что *«возможно более скорое образование рабочей партии есть единственное средство разрешения всех экономических и политических противоречий современной России»* (П., II, 349).

Первый русский марксист отдавал себе ясный отчет в том, что организация российского пролетариата в политическую партию — это отнюдь еще не решение «социального вопроса», последнее потребует усилий многих поколений рабочего класса, а также гораздо более высокого уровня капитализма. Но участие рабочих в политической борьбе будет — в этом Плеханов не сомневался ни на минуту — неудержимо толкать их к дальнейшему развитию, поможет преодолевать им сектантство и оставаться всегда на высоте исторических задач. «На этой дороге нас ждут успех и победа; все же другие пути ведут лишь к поражению и бессилию» (П., II, 349), — писал он в работе «Наши разногласия». И как ни отступался и ни отступал от этих позиций сам Плеханов впоследствии, как ни грешил он оппортунизмом, ход событий каждый раз вновь толкал российский рабочий класс и его партию на тот путь борьбы, который Плеханов и его товарищи предначертали для революционного движения в середине 80-х гг.

Непосредственное знакомство с западноевропейским рабочим движением, с идейной борьбой различных течений в социализме существенно облегчало задачу Плеханову и другим пионерам марксизма в России; они указывали, где и как искать ответ на «проклятые вопросы» русского революционного движения. Однако трудности, вставшие перед Плехановым, не следует преуменьшать. Нужно было объяснить посредством социалистической теории особенности экономического положения в России, выработать революционную концепцию и методы борьбы, по существу новые, несмотря на их видимое сходство с опытом освободительного движения в других странах. Нужно было на основе критического анализа определить исходную точку русской социальной революции, доказав, что борьба за политическое освобождение России способна при определенных условиях (политическое воспитание пролетариата) стать прологом социалистической революции. Наконец, предстояло дать четкий и определенный ответ, как ниспровергнуть власть самодержавия. Словом, проблем было много, и надо удивляться не тому, что Плеханов и его соратники не решили их все, а тому, что они все-таки сумели обрисовать позицию, на основе которой можно было двигаться дальше, вырабатывать конкретную политическую программу и тактику.

Плехановская марксистская концепция возникла в ту эпоху, когда самостоятельного рабочего движения в России еще не существовало, когда пути развития русской революции приходилось определять на основе общей исторической теории. В работах «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия» картина классовых отношений российского общества рисуется крупными мазками, без проработки отдельных деталей. Такие существенные проблемы, как выяснение роли буржуазии в русской буржуазно-демократической революции, создание партии нового типа, политическое воспитание пролетариата в ходе революционной борьбы, исследование сути аграрного вопроса в России и отношение пролетариата к крестьянским массам, — все эти актуальные для русской революции проблемы оставались в общем и целом в 80-х гг. за пределами теоретических поисков Плеханова. Связь борьбы социалистического пролетариата с судьбами других классов не исследуется в подробностях. В этом недостаток плехановской постановки вопроса о руководящей роли рабочего класса в русском осво-

бодительном движений, вследствие чего она уступит место ленинской идее гегемонии пролетариата.

В «Наших разногласиях» Плеханов не знает, как поведет себя русская буржуазия в предстоящей революции. Он ограничивается констатацией противоречия интересов русской буржуазии и абсолютизма, делая при этом многозначительное замечание насчет того, что буржуазия умеет извлекать пользу «из существующего режима» и «потому не только поддерживает некоторые его стороны, но и целиком стоит за него в известных своих слоях...» (П., II, 203). Однако он не спешит с выводами, не желая по некоторым частным сторонам процесса судить обо всем его направлении. По его мнению, русская буржуазия переживает сейчас (т. е. в 80-х годах XIX в.) «важную метаморфозу: у нее развились легкие, которые требуют уже чистого воздуха политического самоуправления, но в то же время у нее не атрофировались еще и жабры, с помощью которых она продолжает дышать в мутной воде разлагающегося абсолютизма» (П., II, 203).

В своих первых марксистских работах Плеханов еще не ставит вопроса, каким образом сознательный пролетариат сумеет принять участие в буржуазной революции, не таская из печи «каштаны политического освобождения» для буржуазии, — решение этой трудной задачи было впереди. Однако он уверен: в предстоящей революционной борьбе русский рабочий класс должен вести самостоятельную политическую линию. «Наше общество», — пишет он, — лишено такого (как в Западной Европе. — Авт.) влияния на рабочий класс, и социалистам нет ни нужды, ни выгоды создавать его заново. Они должны указать рабочим их собственное, рабочее знамя...» (П., II, 346).

Даже темнота, политическая косность крестьянства — факты, с которыми столкнулось и о которые разбилось революционное народничество, — не пугают Плеханова; он уверен, что промышленные рабочие способны сыграть решающую роль в политическом развитии крестьянства. Не социалистическая интеллигенция сама по себе, а прежде всего сознательный рабочий способен обеспечить влияние революционных идей на народ. Продолжая на новом уровне поиск, начатый народниками, Плеханов писал: «Ни по привычкам мысли, ни по способности к физическому труду наша революционная интеллигенция не имеет ничего общего с крестьянством. Промышленный

рабочий и в этом случае составляет середину между крестьянином и «студентом». Он должен поэтому послужить связующим звеном между ними» (П., II, 351). Интеллигенция должна начать свое революционное слияние с народом не с крестьянства, а с пролетариата, но именно начать, приступая по мере развития и укрепления рабочего движения к систематической революционной работе в крестьянстве.

Таким образом, программа марксистов в России, как ее формулирует Плеханов в 80-х гг., не жертвует деревней в интересах города, не игнорирует роли крестьянства. Она, по мысли Плеханова, *«ставит своей задачей организацию социально-революционных сил города для вовлечения деревни в русло всемирно-исторического движения»* (П., II, 353). Правда, насколько далеко пойдет русский крестьянин в своей борьбе против существующего строя, насколько расслоилось крестьянство под воздействием развития капитализма, Плеханов еще не знал и знать не мог. К тому же, возражая против народнической идеализации крестьянства, он порой принижал революционные возможности крестьянского движения в России. Впоследствии Плеханов резко недооценил революционные потенции крестьянства, допустил крупные ошибки по аграрному вопросу.

В этом смысле развитая Лениным идея гегемонии пролетариата в русской революции качественно отличалась от плехановской идеи руководящей роли рабочего класса. Ленинский подход, составивший эпоху в развитии марксизма, подразумевал нечто неизмеримо более богатое и конкретное: осмысление борьбы пролетариата с буржуазией как фокуса многочисленных и разнородных конфликтов и социальных войн, имеющих место в стране с незавершенным аграрным антифеодальным переворотом и одновременно заложившей основы капиталистического индустриального производства. Однако то, что сделал Плеханов, не было забыто Лениным: как «снятый» момент оно присутствует в разработанной Лениным научной теории социалистической революции.

Историческое значение поворота, осуществленного Плехановым и группой «Освобождение труда», заключалось прежде всего в том, что в кризисный для русского освободительного движения момент они поставили и разрешили с помощью марксизма объективно назревшие проблемы революционной борьбы. С одной стороны, революционное движение в России получило прочную тео-

ретическую основу в виде марксистской концепции истории и философского мировоззрения, а с другой — коренным образом менялось направление революционной инициативы социалистов. Последняя была поставлена в прямую связь с пробуждением и политической организацией рабочего класса, с творческим освоением богатейшего исторического опыта рабочего движения в Западной Европе.

В конце 1883 г. почти одновременно с группой «Освобождение труда» в самой России образовалась первая марксистская организация. Ее инициаторами были революционные студенты Петрограда во главе с болгаринном Димитром Благоевым. В 1885 г. независимо от блagueвцев возникла другая организация — группа П. В. Точисского, объединившая передовых рабочих. Под влиянием И. Е. Федосеева в конце 1887 — начале 1888 г. складываются марксистские группы в Казани. С 1892 г. началась активная социал-демократическая деятельность В. И. Ленина, создавшего марксистский кружок в Самаре. Социал-демократические кружки и группы появляются и в других районах страны.

Все это свидетельствовало о решающем повороте революционной интеллигенции и передовых рабочих к идеям научного социализма. С этого времени русская пролетарская демократия обретает почву для своего непрерывного развития. Отныне ни перемены в классовых отношениях, ни изменения в политической ситуации, ни постановка новых общественных задач не в состоянии будут нарушить преемственность русского рабочего движения — оно уверенно и твердо становится под знамя марксизма.

В основном спор между народниками и марксистами о судьбах капитализма в России был решен уже в 80—90-х гг. XIX в. Решающей оказалась не одна только сила полемического таланта противоборствующих сторон. Решающее слово в споре сказала жизнь. Уже в «Наших разногласиях» (1885 г.) на основе анализа тенденций развития внутреннего российского рынка, процесса превращения кустарного производства в капиталистическую систему крупного производства и прогрессирующего разложения общины Г. В. Плеханов смог вполне определенно ответить на поставленный в дискуссии вопрос, точнее, заменить один вопрос другим: «Если, после всего сказанного, мы еще раз спросим себя — пройдет ли Россия через школу капитализма, то, не колеблясь, можем от-

ветить новым вопросом — почему же бы ей и не окончить той школы, в которую она *уже поступила?*» (П., II, 270).

При этом Плеханов считал, что сама школа капитализма для России не будет простым повторением того пути, восхождением по тем же ступеням, по каким довелось ранее идти более развитым странам Европы. «Но мы знаем уже, — подчеркивал Г. В. Плеханов, — и этому учит нас история той же Западной Европы, — что для капитализма труден был только первый шаг, и что его непрерывное движение от «Запада» к Востоку совершается с постоянно возрастающим ускорением. Не только развитие русского капитализма не может быть так же медленно, как было оно, например, в Англии, но и самое существование его не может иметь такой продолжительности, какая выпала на его долю в «западноевропейских странах». Наш капитализм отцветает, не успевши *окончательно* расцвести, за это ручается нам могучее влияние международных отношений. Но что дело подвигается, тем не менее, к его более или менее полному торжеству — в этом невозможно сомневаться. Ни голословные отрицания уже существующего факта, ни скорбные возгласы по поводу распада старых, «вековых» форм народного общежития — ничто не остановит страны, «ступившей на след естественного закона своего развития». Но это развитие может быть более или менее медленным, роды окажутся более или менее мучительными — в зависимости от комбинации всех общественных и международных отношений данной страны». И вслед за тем Плеханов написал буквально пророческие слова: «Более или менее благоприятный для рабочего класса характер такой комбинации, в свою очередь зависит от поведения людей, понявших смысл предстоящей их стране эволюции» (П., II, 337—338).

Отмечая историческую заслугу Плеханова в деле решения старых и постановки новых вопросов социально-экономического и политического развития России, следует, однако, помнить, что многие ценные наметки, имевшиеся в его работах раннего марксистского периода, не получили развития в его последующих трудах. В частности, мы не найдем в них ни детального изучения *особенностей* развития капитализма в России, ни анализа сложнейших взаимоотношений России с «западным» миром в эпоху империализма, ни обоснования возможностей ускорения «нашего исторического развития», создаваемых преобразующей деятельностью передовых классов

и их авангардов — «людей, понявших смысл предстоящей их стране эволюции».

Творческая разработка этих проблем связана уже с именем Ленина, причем — таков один из парадоксов развития марксистской мысли в России — разрабатывать эти проблемы Ленину довелось в немалой степени в борьбе с Плехановым, перешедшим после II съезда РСДРП (1903 г.) на сторону меньшевиков — оппортунистического крыла российской социал-демократии.

Ленинская концепция российской революции

Содержание Марксова поиска, о котором мы рассказывали в начале этой главы, все же не было потеряно в историческом процессе развития марксистской мысли. На ином витке развития революционного движения к проблеме своеобразия исторического пути России вышел в начале XX в. Ленин.

Речь шла не о том, чтобы буквально повторить выдвинутые Марксом идеи: в начале XX в. обстановка в мире изменилась настолько, что Марксовы наметки относительно русской ситуации и по форме и по существу оказались превзойденными. Однако *направление* научного поиска Маркса оказалось исторически плодотворным, соответствующим развитию революционной борьбы в России и других странах в XX в.

Анализ Марксом взаимодействия разнотипных элементов исторической эпохи, попытка уяснить пути превращения отдельных обществ (в частности, российского) в звенья общечеловеческого движения в условиях развития крупной промышленности и кризиса капиталистических отношений, рассмотрение проблемы асинхронности вызревания экономических, политических и духовных элементов социального переворота и т. п. — все эти замечательные предвидения Маркса получили очень скоро подтверждение на громадном поле наблюдения. Без них нельзя глубоко понять ряд важнейших ленинских положений, в частности его вывод о том, что «...Россия, стоящая на границе стран цивилизованных и... стран всего Востока, стран внеевропейских... должна была явить некоторые своеобразия, лежащие, конечно, по общей линии мирового развития, но отличающие ее революцию от всех предыдущих западноевропейских стран...»¹⁷.

Далеко не сразу Ленину удалось уяснить себе историческое своеобразие классовой борьбы в России, свя-

занное с незавершенностью аграрного переворота в стране, понять действительный смысл устремлений крестьянства. Природа трудностей была двоякого свойства. Во-первых, пока в России не существовало открытой борьбы классов и партий, пока идейные течения выражали лишь точку зрения передовых представителей этих классов, до тех пор определить реальные устремления либеральной буржуазии, равно как и российского крестьянства, представлялось невозможным. Их положение и объективные задачи определялись в свете теоретического анализа и по необходимости выступали перед марксистами в самом общем виде. Только осмысление событий революции 1905—1907 гг. позволило Ленину сделать решающий шаг — преодолеть уровень анализа ситуации, достигнутый исследованиями Плеханова (и самого Ленина) в конце XIX в., и пойти вперед.

Во-вторых, русская ситуация не поддавалась «расшифровке» на основании «обычных» европейских образцов. Кризис общественно-экономической системы в России заключался отнюдь не в том, что старые и новые противоречия не были преодолены капитализмом вследствие, скажем, сравнительной молодости, длительной задержки на первоначальных ступенях развития, как это рисовалось марксистам в свете изучения истории Западной Европы. Источник общей экономической и культурной отсталости страны коренился в другом — в особенностях развития капитализма «второго эшелона», в невозможности (трудности) для него «завершить» себя в общенациональном масштабе, без глубокой социальной революции. Социальный переворот, назревавший в стране, по своим объективным задачам, по характеру движущих сил оказывается, таким образом, глубже и шире, чем «обычные» буржуазные преобразования. В русской революции присутствовал с самого начала существенный фактор новизны — невозможность освободиться от средневековья, завоевать основные условия прогресса, не затрагивая в той или иной мере первичные (а впоследствии оказалось, что не только их) формы капитализма, не высвобождая новые источники революционной энергии масс.

Уже события первой русской революции внесли принципиально новые моменты в понимание причин и характера аграрного переворота в России. Революция выявила коренное различие интересов либеральной буржуазии и революционно-демократического крестьянства по всем

основным вопросам борьбы. Русские социал-демократы (особенно большевики) и раньше не ожидали многого от оппозиционности либеральной буржуазии, связывая победу народа над царизмом прежде всего с действиями пролетариата. Однако события 1905—1907 гг. продемонстрировали полную неспособность либеральной буржуазии к решительной борьбе с царизмом и «последышами» помещичьего сословия. На всех этапах революции кадетская буржуазия — культурная, политически просвещенная — торговалась с царской властью исключительно на счет размеров и цены уступок «демократии». Кадеты желали изменения старого режима, но не желали борьбы с ним, боясь революционного свержения самодержавия.

В отличие от либералов политическая активность крестьянской демократии, боровшейся за уничтожение помещичьего землевладения, оказалась гораздо большей, чем можно было ранее предположить. Борьба масс показала, что классовый антагонизм крестьянства и помещиков-крепостников оказался неизмеримо глубже, чем можно было предполагать ранее. «Остатки крепостного права казались нам тогда мелкой частностью, — писал Ленин, — капиталистическое хозяйство на надельной и на помещичьей земле — вполне созревшим и окрепшим явлением.

Революция разоблачила эту ошибку. Направление развития, определенное нами, она подтвердила. Марксистский анализ классов русского общества так блестяще подтвержден всем ходом событий вообще и первыми двумя Думами в частности, что немарксистский социализм подорван окончательно. Но остатки крепостничества в деревне оказались гораздо сильнее, чем мы думали, они вызвали общенациональное движение крестьянства, они сделали из *этого* движения оселок всей буржуазной революции»¹⁸.

Конфликт крестьянства с помещиками выступал при этом не только как противоречие между классами феодального общества, но и как противоречие внутри самой капиталистической системы — между последовательным буржуазным развитием и отсталыми, полукрепостническими формами капиталистической эволюции. Социально-экономическая эволюция России приобретала черты широкого, незадержанного буржуазного развития лишь в той мере, в какой она противостояла «прусскому» аграрно-помещичьему капитализму и опиралась на иную, чем «классическая» буржуазная революция, раскладку

политических сил (союз рабочего класса и крестьянства при нейтрализации буржуазии). Прогресс России, не переставая быть буржуазным по своему экономическому содержанию, переставал быть «буржуазной мерой» (Ленин), он требовал таких форм революционного вмешательства низших классов в жизнь, которые в совокупности шли *дальше* приемлемого для либеральной буржуазии. Но тем самым вопрос о перспективах движения народных масс мелкобуржуазного народа, а вместе с тем вопрос о будущем и судьбе взаимоотношений социалистического авангарда рабочего класса со всем народом вставал теперь, как указывал Ленин, совершенно иначе.

Поскольку преобразования, призванные сокрушить устаревшие крепостнические порядки в экономике страны, в ее политическом строе, выходили за пределы непосредственно буржуазных форм исторического действия, постольку прежде всего от рабочего класса, его политического развития, сознательности, организованности, способности повести за собой революционно-демократические силы объективно зависело развитие социальной революции, а также возможность сделать ее непрерывной вплоть до низвержения господства помещиков и буржуазии. Конечно, дело заключалось не только в субъективном факторе (революционная активность пролетариата и крестьянства). Как ни важен он сам по себе, преобразование не могло бы совершиться, если бы не существовала объективная необходимость радикального пересмотра отношений собственности, в первую очередь поземельной, при невозможности в конечном счете реформистского пути, отстаиваемого буржуазией. Для того чтобы стать свободным мелким собственником на «своей» земле, крестьянин предварительно должен был не только смести дотла крупное помещичье землевладение, разрушить старый политический порядок, и царское самодержавие в первую очередь, но и противостоять в союзе с рабочим классом буржуазии. Общность интересов пролетариата и крестьянства, пусть противоречивая, неустойчивая, обнаруживалась как раз в том пункте, в котором в Западной Европе на протяжении 1848—1871 гг. существовало глубокое расхождение.

Здесь мы подходим к коренному источнику непримиримых разногласий между Лениным и большевиками, с одной стороны, и Плехановым и меньшевиками — с другой (оставляя в стороне несовпадение позиций Плеха-

нова и меньшевиков по ряду вопросов). Он заключался в принципиально разном понимании объективной природы и характера движущих сил социального переворота в России. Для Ленина социалистическая революция в России шире и сложнее, чем «просто» разрешение антагонизма между пролетариатом и буржуазией. Вернее, этот антагонизм являлся своеобразным фокусом разнородных конфликтов и социальных войн (например, между крестьянами и помещиками), идущих при капитализме. Для судеб социализма в стране, шире — исторической эволюции в целом, далеко не безразлично, кто и как осуществляет неотложные социальные преобразования: пролетариат и его партия, ведущие за собой массы мелкобуржуазного народа, или помещики и буржуазия, направляемые либералами. Коренная идея марксизма — рабочий класс может освободить себя, лишь освободив все общество, — оказывалась в устах Плеханова и меньшевиков пустым звуком, поскольку они относили ее только к заключительному этапу освободительной борьбы рабочего класса, когда последний перейдет к «своей», социалистической революции. В ленинской же теории революции она направляла каждый шаг социал-демократии на каждом этапе освободительной борьбы рабочего класса.

Естественно, что учет антикапиталистической потенции революционной демократии не мог совершаться одинаково в революциях 1905—1907 гг. и 1917 г. В годы первой русской революции — это скорее поиски особого места рабочего класса и его авангарда в создании новой, свободной России. Перспектива перехода к более высокой стадии уже осознается Лениным в это время, но она еще не определяет непосредственную политическую тактику социал-демократии, находится как бы на втором плане.

Иное дело в 1917 г., когда общенациональный кризис, порожденный империалистической войной и разрухой, поставил Россию на грань катастрофы, из которой не было другого выхода, кроме свержения буржуазии и шагов к социализму. Именно в это время Ленин сформулирует идею, согласно которой «развязать» путаницу российских аграрных отношений можно «не по частям», а сразу, перерубая главный корень отсталости страны, ее средневекового земельного строя — господство крупного капитала в экономике и политической жизни страны.

Ход событий в феврале — октябре 1917 г. показал, что создать класс полностью свободных (от остатков крепостничества) крестьян не под силу даже победоносной буржуазной революции. Лишь в условиях, когда аграрный переворот стал составной частью пролетарской революции, появилась возможность осуществить наиболее радикальные и неотложные преобразования, стоявшие перед страной.

Надо учитывать и то обстоятельство, что эпоха империализма и в особенности поражение в империалистической войне коренным образом изменили общественно-политическую ситуацию в России. Ходом событий решение аграрного вопроса, как и всех других вопросов демократического развития страны, оказалось связанным с выходом из войны, с революционными мерами против буржуазии.

К началу XX в. и в особенности в годы империалистической войны Россия была уже втянутой в отношения всемирного капитала. Включенность страны в более широкую систему мировых отношений наложила специфическую печать на революционные процессы в ней, ускорив размежевание классовых сил. Не будь войны, страна могла бы прожить годы и даже целые десятилетия без революции против капиталистов. Но экономический и политический кризис, возникший в ходе войны и обусловленный ею, продиктовал неизмеримо более радикальный, чем раньше, характер перемен. «Кризис так глубок, так широко разветвлен, так всемирно-велик, так тесно связан с капиталом, — разъяснял Ленин в 1917 г., — что классовая борьба против капитала неизбежно должна принять форму политического господства пролетариата и полупролетариев. Иначе выхода нет»¹⁹. В условиях грозящей общенациональной катастрофы и угрозы гибели страны потребовались революционные меры, которые в совокупности своей означали разрыв с капитализмом и шаги к социализму. Пути буржуазных реформ, выводящего из кризиса, не было: ни одна из реформ, даже самая радикальная, проведенная *по соглашению* с буржуазией, не могла спасти Россию, вывести ее из хаоса.

В условиях назревания пролетарского переворота по-новому встали «старые» вопросы, такой в первую очередь, как аграрный. Ленин пишет, что старая постановка вопроса о народничестве, о крестьянской демократии уже недостаточна в изменившихся условиях. Крестьян-

ская партия — эсеры предали интересы крестьян, порвали с демократией, «они представляют не массу крестьянской бедноты, а меньшинство зажиточных хозяев. Они ведут крестьянство не к союзу с рабочими, а к союзу с капиталистами, т. е. к подчинению им»²⁰. Крестьянская же беднота ищет выхода на пути, который указывает ей пролетариат. Поэтому теперь уже неправильно ограничиваться разоблачением лозунгов «социализации земли», «уравнительного землепользования», «недопущения наемного труда» и т. п. как простой интеллигентской фразы. Война невиданно ускорила обострение противоречий и в сельском хозяйстве, старые формулы наполнились новым содержанием. «Недопущение наемного труда» — это звучало раньше только пустой фразой мелкобуржуазного интеллигента. «Это значит теперь в жизни иное: миллионы крестьянской бедноты в 242-х наказах говорят, что они хотят идти к отмене наемного труда, но не знают, как это сделать. . . Мы знаем, что это можно сделать только в союзе с рабочими, под их руководством, против капиталистов. . .»²¹

Крестьяне хотят оставить у себя мелкое хозяйство, уравнительно его нормировать, периодически снова уравнивать. Ни один разумный социалист, подчеркнет Ленин в 1917 г., не разойдется с ними из-за этого. «. . . При господстве пролетариата в центре, при переходе политической власти к пролетариату, — отмечал он, — остальное приложится *само собою*, явится в результате «силы примера», подсказано будет самой практикой»²².

Не только аграрный, но и все другие вопросы демократического развития России (выхода из войны, спасения от разрухи, национальный и др.) оказались в условиях империалистической войны и революционной ситуации 1917 г. связаны с вопросом о власти пролетариата, с экспроприацией собственности крупного капитала. В этом смысле Великая Октябрьская социалистическая революция означала осуществление «примата» интересов подавляющего большинства народа над узкокорыстными интересами буржуазии и помещиков. Одним ударом она подрубала главный корень отсталости страны — не только остатки средневекового земельного строя, но и господство крупного консервативного капитала в экономике, в политической жизни страны. Вырвав крестьянство из-под влияния буржуазии, она обеспечивала себе победу при самых сложных перипетиях истории. Развязать тугие исторические «узлы» оказалось возможным

только на путях пролетарской революционности, на путях разрыва с капитализмом. Собственно говоря, невозможность решить острее проблемы страны на пути буржуазно-помещичьего развития и послужила главной причиной социалистической революции 1917 г. в нашей стране.

Никакой гениальный ум не мог предвидеть в начале века, что прорыв мировой цепи капитализма совершится именно в России (стране «средне-слабого» развития капитализма), а не в развитых западноевропейских странах. В этом смысле ход исторического развития явился до известной степени неожиданным и для Каутского, и для Плеханова, и для Ленина. Но характер «неожиданности» в данном случае совершенно различен. Лишь история могла бы дать ответ, в состоянии ли страна, где еще не созрели в полной мере предпосылки для создания социалистического хозяйства и общества, осуществить победоносную социалистическую революцию. Важно, однако, то, что Ленин сознательно шел навстречу положительному ответу, данному историей, — и концепцией двух путей аграрного развития («прусского» и «американского»), и теорией перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую, и открытием закона неравномерности экономического и политического развития при империализме, и обоснованием возможности победы социализма первоначально в одной, отдельно взятой, стране и т. д. и т. п., — в то время как установки каутскианской «ортодоксии» и формулы меньшевизма *в принципе* исключали саму возможность положительного ответа.

Говорят, возражал Ленин в 1923 г. меньшевистским педантам, что в России не было объективных предпосылок для социалистической революции и что, следовательно, последняя «незаконна» с точки зрения принципиальных положений марксизма. «Ну, а что если своеобразии обстановки поставило Россию, во-первых, в мировую империалистическую войну, в которой замешаны все сколько-нибудь влиятельные западноевропейские страны, поставило ее развитие на грани начинающихся и частично уже начавшихся революций Востока в такие условия, когда мы могли осуществить именно тот союз «крестьянской войны» с рабочим движением, о котором, как об одной из возможных перспектив, писал такой «марксист», как Маркс, в 1856 году по отношению к Пруссии?

Что, если полная безвыходность положения, удесятерив тем силы рабочих и крестьян, открывала нам возможность иного перехода к созданию основных посылок цивилизации, чем во всех остальных западноевропейских государствах? Изменилась ли от этого общая линия развития мировой истории? Изменились ли от этого основные соотношения основных классов в каждом государстве, которое втягивается и втянуто в общий ход мировой истории?

Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков именно этот определенный «уровень культуры», ибо он различен в каждом из западноевропейских государств), то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а *потом* уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы»²³.

Так были развязаны — мыслью и действием — узлы, завязанные предшествующей историей, выработаны ответы на вопросы, мучившие целые поколения российских революционеров допролетарской эпохи. Но «иной путь» к созданию основных посылок цивилизации (сначала завоевание власти, затем закладка недостающих материальных и культурных предпосылок для движения по социалистическому пути) не просто ликвидирует старые проблемы. «Иной переход» требует дальнейшего поиска, он выдвигает и новые проблемы. Одни из них (индустриализация, кооперирование крестьянства, культурная революция) решаются уже в ходе становления социализма, решение других (восхождение к вершинам научно-технического прогресса, качественное совершенствование всех сторон социализма) — еще впереди.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Два века тому назад началась деятельность первого российского революционера Радищева. Целый век отделяет нас от начала марксистского периода в российском освободительном движении. Почти семь десятилетий прошло с момента победы пролетарской революции 1917 г. в России. За это время в мире, с одной стороны, произошли громадные изменения, неизмеримо выросли силы прогресса, а с другой — невиданно усложнились условия их борьбы.

Благодаря Великому Октябрю российская революционная традиция превратилась из явления по преимуществу национального в один из решающих факторов мирового развития. Как когда-то в эпоху перехода от феодализма к капитализму Великая французская буржуазная революция оказалась сильнейшим импульсом развития в Западной Европе, так в XX в. Великая Октябрьская социалистическая революция стала источником, побудительной причиной событий всемирно-исторического значения в эпоху перехода от капитализма к социализму. Через Октябрьский перелом революционность по преимуществу западноевропейская превратилась во всемирную с гигантским многообразием форм и типов последней. Революционные партии и направления во многих странах как бы заново проходят те стадии становления и развития, которые впервые прошли революционное движение и освободительная мысль России. В этом смысле опыт российского революционного движения имеет для них неоценимое значение.

Правда, история никогда не воспроизводит прошлых вариантов развития в неизменном виде. Об этом обстоятельстве нельзя не напомнить особо, перебрасывая мостки от прошлого к настоящему. Задачей задач стала ныне *борьба за мир*. Теперь на передний план все более выдвигается проблема сохранения на Земле человеческой жизни, проблема гарантий права человека на жизнь. Если это право не будет обеспечено, нечего будет ни улучшать, ни преобразовывать, ни исправлять.

На первый взгляд новые проблемы и задачи современности далеко отстоят от проблематики нашей книги. Но выше уже отмечалось, что в истории развития общественной мысли бывают такие моменты, когда логически более поздний момент определяется хронологически ранее, чем последующий. Последнее было характерно не только для марксистского этапа развития революционной теории, но и для этапа домарксистского. . .

Уже в «Осмнадцатом столетии» Радищев начал выходить к новой для него проблематике — революция и война:

Крови — в твоей колыбели, припевание — громы сраженьев;
Ах, омоченно в крови ты ниспадаешь во гроб. . . (Р., I, с. 127).

К той же проблематике выйдет в Сибири и Чернышевский, раздумывая над будущим России: дело не кончится «маленькой передрыгой» Крымской войны, ушедшая вперед Европа так или иначе «подтянет нас вперед к себе». В том же «Прологе» есть и такие характерные для Чернышевского слова: «история — борьба», «в борьбе нежность неуместна» (Ч., XIII, 197, 243—244).

Но в «Прологе» содержатся и определенные ограничительные мысли Чернышевского: «Чем ровнее и спокойнее ход улучшений, тем лучше» (Ч., XIII, 244). А вместе с «Прологом» Чернышевский отправлял с оказией в Петербург в 1871 г. некие восточные сказания — «Кормило кормчему» и «Знамение на кровле». Смысл их — поистине поразительный — стал доходить до исследователей только в самое последнее время.

Эти сказания переносят нас в «горы Кавказские», в дни противоборства Шамиля и князя Воронцова. В стан Шамиля является прорицатель Абу Джафар, человек из породы «мерзавцев», видящих выгоду в том, чтобы «не было мира». Но бог заставил его высказать всем наибам, мюридам и всему народу Шамиля вещее предсказание из «книги судеб».

Абу Джафар вещает о том, что люди спрячут чертежи придуманной неким Пожирателем Книг чудесной всемогущей машины, что станут делать по этим чертежам три гигантские бомбы — каждая в «сто миллионов пудов». Так из машины — благодетеля людей Эвергет получится подлинное проклятие народов Сейсмот Хадергет — «горе стране той, на которую та бомба!».

Даже современного читателя, знающего о трагедии Хиросимы и Нагасаки, живущего под угрозой еще бо-

лее страшной, мировой трагедии, поражают нарисованные в причудливых сказаниях Чернышевского картины взрывов, разрушающих горные хребты, опустошающих города, заваливающих обломками не только реки и озера, но и моря, обращающих в «пустыню в развалинах без живых людей» землю на сотни часов пути вокруг. «И пока не будет правды между людьми, не поможет людям ничто».

Но дело не просто в наличии каких-то «апокалипсических» предвидений у Чернышевского. Дело не просто в том, что он предугадал какие-то реальные черты нашего «ракетно-ядерного» века: бомбы забрасывают у него с катапульта «на тысячу верст в высоту», перед этими бомбами «будут трепетать народы», изготовление уже первых трех бомб разорит, обессилит самих изготовителей (Ч., XVI, 338—342, 343, 344, 346, 349, 354, 355 и др.). Главное у Чернышевского (как и у Радищева) — стремление разобраться в глубинных причинах пережитых людьми и грозящих людям катастроф.

Осмысливая ход современных ему социальных и военных катаклизмов, Радищев скажет об «осмнадцатом столетии»: «Столетье безумно и мудро» (Р., I, 127). Чернышевский еще более глубоко взглянет на вещи. Главный герой его знаменитого романа «Что делать?» Рахметов в минуты отдыха от повседневных подпольных дел занимается еще неким «всемирноисторическим вопросом» — «вопросом о смещении безумия с умом» во всех исторических делах людей (Ч., XI, 197).

Рахметовские занятия приобретают особый смысл в наши дни, когда в мире развернулась гигантская борьба сил мира и войны, когда отражающая реальности этой борьбы политическая наука начинает все больше двигаться именно в категориях «безумия» и «ума».

Совершенно бесспорно: Чернышевский — на ограниченном в его время историческом материале, в парадоксальной форме — пришел к постановке вполне современных проблем: грозящего людям злоупотребления научно-техническим прогрессом, необходимости изменить в связи с этим сам тип мышления людей.

Чернышевский прекрасно знал, что пока еще не разум, а большей частью неразумие и недомыслие правят в окружающем его мире. Но он надеялся на то, что разум победит в исторических делах: «...люди довольно скоро умнеют, когда замечают, что им выгодно стало поумнеть, в чем прежде не замечалась ими надобность»

(Ч., XI, 70). Факты сухой и точной военной науки позволяют по-новому оценить все эти раздумья Чернышевского.

Самая прямая «выгода», «надобность» поумнеть возникли у всех людей, без всяких исключений. Возможный ядерный катаклизм касается судеб самого человеческого рода. Человек должен оправдать свое родовое название *Homo sapiens* — человек разумный! — иначе он вообще сойдет с лица планеты. Именно эту альтернативу сформулировал впервые обращенный к человечеству Манифест Рассела — Эйнштейна. Именно так оборачивается для конца XX в. вопрос, поставленный в книге Чернышевского с неумирающим — пока живы люди — заглавием: «Что делать?»

Еще одна важная связка между прошлым и настоящим. Ленин, чрезвычайно высоко ставя письма Герцена «К старому товарищу» (а они содержат не только обращение к Интернационалу, но и массу предупреждений против «разгулявшейся силы истребления» — Г., XX, кн. 2, 593), вместе с тем оценит как «старые буржуазно-демократические фразы» тезис Герцена о том, «будто социализм должен выступать с «проповедью», равно обращенной к работнику и хозяину, земледельцу и мещанину»¹. После победы Октября 1917 г. появилась такая сфера — сфера борьбы за мирное сосуществование (во все не устраняющая сферу классово-борьбы), — где такая проповедь стала необходимой и закономерной; чрезвычайные условия ядерной эпохи заставляют социализм множить усилия, идущие в этом направлении.

Разумеется, нельзя забывать: движение по пути разрядки, разоружения, взаимного доверия и сотрудничества — процесс, зависящий от согласия, доброй воли разных сторон, их способности и готовности к компромиссу. Но научное, марксистское мышление, как мышление более высокое по типу, чем буржуазное, призвано по природе своей проявить максимум миротворческой деятельности, максимум понимания того, что в вопросе сохранения мира движение прежним способом — способом проб и ошибок — исключено, максимум способности оказать воздействие на мышление буржуазное (разумеется, различая пацифистскую, либеральную часть буржуазии и часть агрессивную, реакционную)^{2*}.

* Характерно, что соглашения с пацифистской частью буржуазии (не только экономические, но и политические), Ленин расценивал

Человек не сам по себе и не только для себя живет на свете. Нити от прошлого тянутся к настоящему. И нужно сделать все возможное — и даже невозможное, — чтобы они не оборвались в грядущем.

Мы должны ясно сознавать важность начавшегося в Женеве в ноябре 1985 г. диалога между руководством СССР и руководством США. Сомнений нет — плодотворное продолжение этого диалога, а главное, закрепление его в делах будет трудным и достаточно долгим процессом. Но нет иного пути к сохранению мира на Земле, иного пути к выживанию человечества. «Наш вывод был таков, — говорил на пресс-конференции в Женеве 21 ноября 1985 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев о советской позиции, — пришло время, когда под угрозой всеобщей ядерной опасности надо научиться великому искусству жить вместе. В этом в равной степени заинтересованы и советский народ, и, я глубоко убежден, американский народ. В этом заинтересованы все народы мира»³.

«как один из немногих шансов мирной эволюции капитализма к новому строю, чему мы, как коммунисты, не очень верим, но помочь испытать согласны и считаем своим долгом, как представители одной державы, перед лицом враждебного ей большинства других» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 44, с. 407). При этом Ленин уточнял, что пацифистской частью другого, капиталистического лагеря следует считать мелкобуржуазную пацифистскую и полупацифистскую демократию типа II Интернационала и II^{1/2}, затем типа Кейнса и т. п.

Введение (с. 3—13)

¹ *Покровский М.* Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв. Курс лекций. М., 1924.

² *Покровский М.* Указ. соч.; *Стеклов Ю. М.* Борцы за социализм. Очерки из истории общественных и революционных движений в России, ч. 1—2. М.—Пг., 1923—1924; *его же.* Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность 1828—1889, т. I—II. М.—Л., 1928; *Полонский В. М. А.* Бакунин (Из истории русской интеллигенции), т. I—II. М.—Л., 1925—1927; *Евгеньев-Максимов В. Е.* «Современник» при Чернышевском и Добролюбова. М., 1936; *Гуковский Гр.* Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. М., 1938; *Козьмин Б. П.* От «19 февраля» к «1 марта». Очерки по истории народничества. М., 1933, и др.

³ *Нечкина М. В.* Движение декабристов, т. 1—2. М., 1955; *Левин Ш. М.* Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX века. М., 1958; *Макогоненко Г.* Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. М.—Л., 1952; *его же.* Радищев и его время. М., 1956.

⁴ См., напр.: *Волобуев П. В.* О проблеме выбора путей общественного развития. — Вопросы философии, 1984, № 1, 2; *Тарновский К.* Начало большевизма. — Коммунист, 1983, № 11.

⁵ *Venturi F.* Il populismo russo. Torino, 1972, vol. I—III.

⁶ *Lampert E.* Studies in Rebellion. London, 1957, p. 261.

⁷ См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 4, с. 426, 428; т. 46, ч. I, с. 386—387.

⁸ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 36, с. 263.

⁹ Ссылки на труды Н. Г. Чернышевского (Поли. собр. соч., т. I—XVI. М., 1939—1953), а также на труды А. Н. Радищева (Полн. собр. соч., т. I—III. М.—Л., 1938—1952); В. Г. Белинского (Поли. собр. соч., т. I—XIII. М., 1953—1959); А. И. Герцена (Собр. соч. в 30-ти т. М., 1954—1965); Н. А. Добролюбова (Собр. соч. в 9-ти т. М.—Л., 1961—1964); Д. И. Писарева (Соч. в 4-х т. М., 1955—1956); Г. В. Плеханова (Соч., т. I—XXIV. М.—Л., 1923—1927) даются в тексте книги. Римской цифрой обозначен том, арабской — страница.

¹⁰ См.: *Ленин В. И.* Поли. собр. соч., т. 21, с. 16—17.

¹¹ Вопросы философии, 1947, № 1, с. 113.

Глава 1. Предпосылки формационного порядка (с. 14—56)

↙ ¹ Переход от феодализма к капитализму в России. М., 1969, с. 107.

² *Яцунский В. К.* Социально-экономическая история России XVIII—XIX вв. М., 1973, с. 71.

³ *Жуков Е. М., Барг М. А., Черняк Е. Б., Павлов В. И.* Теоретические проблемы всемирно-исторического процесса. М., 1979, с. 314.

⁴ См.: *Бородай Ю. М., Келле В. Ж., Плимак Е. Г.* Наследие

К. Маркса и проблемы теории общественно-экономической формации. М., 1974, с. 93—94.

⁵ Чистозвонов А. Н. Нидерландская буржуазная революция XVI века. М., 1958, с. 177.

⁶ Тойнби Арн. Промышленный переворот в Англии в 18-м столетии. М., 1912, с. 43.

⁷ Зомбарт В. Современный капитализм, т. II. М., 1904, с. 81.

⁸ Кареев Н. Две английские революции XVII века. П., 1924, с. 39.

⁹ Тревельян Дж. М. Социальная история Англии. Обзор шести столетий от Чосера до королевы Виктории. М., 1959, с. 296.

¹⁰ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, а. 282.

¹¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 771; т. 19, с. 400.

¹² Кареев Н. Происхождение современного народно-правового государства. СПб., 1908, с. 14.

¹³ Тревельян Дж. М. Указ. соч., с. 59.

¹⁴ Сперанский Н. Очерки по истории народной школы в Западной Европе. М., 1896, с. 22.

¹⁵ Тревельян Дж. М. Указ. соч., с. 71, 258—259.

¹⁶ Мижуев П. Г. Главные моменты в развитии западноевропейской школы. М., 1913, с. 10.

¹⁷ Там же, с. 203—204.

¹⁸ Суворов Н. Средневековые университеты. [М.], 1898, а. 41.

¹⁹ Делюмо Ж. Развитие организационного сознания и методологической мысли в западноевропейском мышлении эпохи Возрождения. М., 1970; Жуков Е. М., Барз М. А., Черняк Е. Б., Павлов В. И. Указ. соч., с. 257—260.

²⁰ Зомбарт В. Современный капитализм, т. I. М., 1904, с. 359—361.

²¹ Социальная природа средневекового бюргерства XIII—XVII вв. М., 1979, с. 209—211.

²² Кулишер И. М. История экономического быта Западной Европы, т. II. М. — Л., 1931, с. 153.

²³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, а. 308.

²⁴ Мижуев П. Г. Указ. соч., с. 59—68, 78—86.

²⁵ Франклин В. Избр. произв. М., 1956, с. 83, 567—568 и др.

²⁶ Подробнее см.: Соловьев Э. Ю. Мартин Лютер — вождь немецкой бюргерской Реформации. — Религии мира, вып. 2. М., 1984.

²⁷ Дружинин Н. М. Особенности генезиса капитализма в России в сравнении со странами Западной Европы и США. — Новая и новейшая история, 1972, № 4, с. 23.

²⁸ Бааш Э. История экономического развития Голландии в XVI—XVIII веках. М., 1949, с. 283—285.

²⁹ Кулишер И. М. Указ. соч., т. II, с. 427.

³⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 10, с. 463.

³¹ Чистозвонов А. Н. Общее и особенное в процессе генезиса капитализма в странах Центральной и Восточной Европы (постановка вопроса). — Вопросы первоначального накопления капитала и национальные движения в славянских странах. М., 1972, с. 13—16; см. также о проблеме запоздалого капитализма обзор К. Н. Тарновского «О социологическом изучении капиталистического способа производства». — Вопросы истории, 1964, № 15.

³² Жуков Е. М., Барз М. А., Черняк Е. Б., Павлов В. И. Указ. соч., с. 313.

³³ Переход от феодализма к капитализму в России, с. 309—310.

³⁴ См.: История СССР с древнейших времен до наших дней.

В 2-х сериях, 12-ти т., т. VI. М., 1968, с. 18—19.

³⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 39.

³⁶ *Nobutaka Ike. The Beginnings of Political Democracy in Japan.* Baltimore, 1950, p. 195—212.

³⁷ Подробнее см.: Павлов В. И. К стадияльно-формационной характеристике восточных обществ в новое время; Жуков Е. М., Барг М. А., Черняк Е. Б., Павлов В. И. Указ. соч. М., 1979; Рейснер Л. И. Возможен ли переход от уклада к капиталистическому способу производства? (О пределах капиталистической трансформации освободившихся стран). — Азия и Африка сегодня, 1978, № 11; Хорос В. Г. Идеиные течения народнического типа в развивающихся странах. М., 1980, с. 61—75; Развивающиеся страны: экономический рост и социальный прогресс. М., 1984.

³⁸ Павлов В. И. Типология генезиса капитализма в Азии и Африке. — Проблемы социально-экономических формаций. Историко-типологические исследования. М., 1975, с. 210.

³⁹ Переход от феодализма к капитализму в России, с. 311.

⁴⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 125.

⁴¹ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 411.

⁴² Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России и СССР. М., 1966, с. 70—71.

⁴³ Лаппо-Данилевский А. С. Русские промышленные и торговые компании в первой половине XVIII столетия. Исторический очерк. СПб., 1899, с. 43.

⁴⁴ Яцунский В. К. Указ. соч., с. 295—296.

⁴⁵ Тарле Е. В. Запад и Россия. Статьи и документы из истории XVIII—XIX вв. Пг., 1918, с. 140—149.

⁴⁶ Пажитнов К. А. Положение рабочего класса в России, т. 1. Л., 1924, с. 11.

⁴⁷ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 58.

⁴⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 179.

⁴⁹ История СССР с древнейших времен до наших дней, т. VI. М., 1968, с. 335.

⁵⁰ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 27, с. 81; см. также: Сидоров А. Л. В. И. Ленин о русском военно-феодальном империализме. — История СССР, 1961, № 3.

⁵¹ См.: Сторожев В. История Московского купеческого общества. Кн. II, вып. 1. М., 1916, с. 241—245.

⁵² Шаццлло М. К. Опыт изучения массовых источников, характеризующих структуру российской буржуазии. — Источниковедение отечественной истории. М., 1984.

⁵³ Струмилин С. Г. Указ. соч., с. 484—485.

⁵⁴ Освобождение, 1902, № 1, 18 июня (1 июля), с. 5.

⁵⁵ Майер В. Е. «Прусский путь» развития капитализма в заэльбской Германии: историография проблемы (ГДР, 50—60-е годы). — Проблемы генезиса капитализма. М., 1979, с. 32.

⁵⁶ Подробнее см.: Гиндин И. Ф. Докапиталистические банки России и их влияние на помещичье землевладение. — Возникновение капитализма в промышленности и сельском хозяйстве стран Европы, Азии и Америки. М., 1968.

⁵⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 140.

⁵⁸ Дружинин Н. М. Особенности генезиса капитализма в России в сравнении со странами Западной Европы и США. — Новая и новейшая история, 1972, № 5, с. 28.

⁵⁹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 172.

⁶⁰ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 218—219.

⁶¹ Переход от феодализма к капитализму в России, с. 95,

- ⁶² Хромов П. А. Динамика производительных сил России в период капитализма (1861—1917 гг.). — Ученые записки МГУ, вып. 123. Политическая экономия. М., 1947, с. 172—173, 181, 199.
- ⁶³ Струмилин С. Г. Указ. соч., с. 482—483.
- ⁶⁴ Материалы по истории СССР, т. VI. Документы по истории монополистического капитализма в России. М., 1959, с. 176—177.
- ⁶⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 361.
- ⁶⁶ Столянский П. Н. Жизнь и быт петербургской фабрики 1704—1914 гг. Л., 1925, с. 57.
- ⁶⁷ Струмилин С. Г. Указ. соч., с. 93, 97.
- ⁶⁸ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 20—21.
- ⁶⁹ Лохтин П. Безземельный пролетариат в России. М., 1905, с. V.
- ⁷⁰ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 136—137.
- ⁷¹ Найденов Н. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном, ч. I. М., 1903, с. 99—100.
- ⁷² Лященко П. И. Очерки аграрной эволюции России, т. I. СПб., 1908, с. 117—121.
- ⁷³ Цит. по: Берлин П. А. Русская буржуазия в старое и новое время. М., 1922, с. 85.
- ⁷⁴ Нисселович Л. Торгово-промышленные совещательные учреждения в России. Исторический очерк. СПб., 1887, с. 43—44.
- ⁷⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 262.
- ⁷⁶ Князьков С. А., Сербов Н. И. Очерк истории народного образования в России до эпохи реформ Александра II. М., 1910, с. 7.
- ⁷⁷ Там же, с. 61.
- ⁷⁸ Князьков С. А., Сербов Н. И. Указ. соч., с. 147.
- ⁷⁹ Фальборк Г., Чернолуцкий В. Народное образование. — Левассер Э. Народное образование в цивилизованных странах, т. II. СПб., 1899, с. 23.
- ⁸⁰ Шмид Е. История средних учебных заведений в России. СПб., 1878, с. 666.
- ⁸¹ Цит. по: Князьков С. А., Сербов Н. И. Указ. соч., с. 201.
- ⁸² Каменев С. А. Церковь и просвещение в России. М., 1930, с. 91—93.
- ⁸³ Фальборк Г., Чернолуцкий В. Указ. соч., с. 221.
- ⁸⁴ Левассер Э. Указ. соч., т. I. СПб., 1899, с. 28.
- ⁸⁵ Dove R. British Factory—Japanese Factory: The Origins of National Diversity in Industrial Relations. London, 1973, p. 414.
- ⁸⁶ Михайловский Н. К. Соч., т. V. СПб., 1896, с. 539.
- ⁸⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 10, с. 281.
- ⁸⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 33, с. 147.
- ⁸⁹ Подробнее см.: Максименко В. И., Хорос В. Г. Интеллигенция несоциалистических обществ как историко-социологическая проблема. — Известия АН Грузинской ССР. Серия философии и психологии, 1981, № 3, с. 21—24.
- ⁹⁰ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 415.
- ⁹¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 16, с. 417.
- ⁹² История СССР с древнейших времен до наших дней, т. VI. М., 1968, с. 320.
- ⁹³ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 398.
- ⁹⁴ Рубакин Н. А. Избранное, т. I. М., 1975, с. 98.
- ⁹⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 71.
- ⁹⁶ См.: Тарновский К. Начало большевизма. — Коммунист, 1983, № 11, с. 35—36.
- ⁹⁷ См.: Ленинский сборник XI, с. 397.
- ⁹⁸ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 10; т. 45, с. 381.

Глава 2. Александр Радищев. У истоков российской революционной традиции (с. 57—79)

¹ См.: *Бабкин Д. С.* Процесс А. Н. Радищева. М.—Л., 1952, с. 244.

² *Гуковский Гр.* Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л., 1938, с. 144.

³ *Берков П. Н.* Некоторые спорные вопросы современного изучения жизни и творчества А. Н. Радищева. — XVIII век. Сб. 4. М.—Л., 1959, с. 173.

⁴ См.: *Макогоненко Г.* Поэзия Александра Радищева. — *А. Н. Радищев.* Стихотворения. Л., 1953, с. 25, 26, 27.

⁵ См.: *Бабкин Д. С.* Процесс А. Н. Радищева, с. 188.

⁶ См.: А. Н. Радищев. Его жизнь и сочинения. М., 1907.

⁷ Подробнее об этом см.: *Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г.* Запретная мысль обретает свободу. 175 лет борьбы вокруг идейного наследия Радищева. М., 1966.

⁸ *Маркс К., Энгельс Ф.* Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. М., 1966, с. 41.

⁹ *Der Aufgeklärte Absolutismus.* Köln, 1974.

¹⁰ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 32, с. 319.

¹¹ *Гете И. В.* Фауст. Перевод Б. Пастернака. М., 1960, с. 356.

¹² *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 19, с. 121.

¹³ Цит. по: *Державин К. Н.* Вольтер. М., 1946, с. 36.

¹⁴ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 43, с. 140—141, 385; т. 53, с. 206.

¹⁵ См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 34, с. 50.

¹⁶ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 20, с. 268 (разрядка моя. — *Е. Н.*).

¹⁷ *Макогоненко Г. П.* Радищев и его время. М., 1956, с. 554.

¹⁸ Цит. по: *Фридлянд Ц.* Дантон. М., 1965, с. 245.

¹⁹ *Гете И. В.* Фауст, с. 556—557.

²⁰ *Макогоненко Г. П.* Радищев и его время, с. 547—554.

²¹ *Прийма Ф. Я.* К спорам о Радищеве. — Русская литература, 1980, № 4, с. 102—105.

²² Там же, с. 105.

²³ *Шторм Г.* Потаенный Радищев. М., 1974, с. 373—375.

²⁴ *Бабкин Д. С.* А. Н. Радищев. Литературно-общественная деятельность. М.—Л., 1966, с. 264.

²⁵ См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 21, с. 256—257; т. 41, с. 8.

²⁶ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 41, с. 55.

²⁷ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 36, с. 119.

Глава 3. Революционеры в военных мундирах (с. 80—117)

¹ *Нечкина М. В.* 150-летний юбилей восстания декабристов. — Исторические записки, т. 96. М., 1975, с. 17.

² *Пыпин А. Н.* Общественное движение в России при Александре I. Пг., 1918, с. 374; *Семевский В. И.* Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, с. 68, 199, 256.

³ *Тарле Е. В.* Соч., т. 5. М., 1958, с. 7—20; *Дружинин Н.* Декабрист Никита Муравьев. М., 1933.

⁴ *Нечкина М. В.* Декабристы. М., 1982, с. 5, 7.

⁵ История СССР с древнейших времен до наших дней, т. IV. М., 1967, с. 13.

⁶ Сравни, напр.: *Аксенов К. А.* Северное общество декабристов. Л., 1951, с. 42; *Анисимов И. В.* Восстание декабристов — первое революционное выступление против царизма в России. — *Декабристы. Сб. статей.* М., 1951, с. 4; *Нечкина М. В.* Движение декабристов, т. 1. М., 1955, с. 57; *ее же.* Декабристы. М., 1982, с. 10 и *Ковальченко И. Д.* Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX века. М., 1967, с. 379.

⁷ *Предтеченский А. В.* Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века. М. — Л., 1957, с. 429.

⁸ Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. II. М., 1951, с. 165.

⁹ Восстание декабристов, т. XI. М., 1954, с. 37.

¹⁰ Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика (далее — *Декабристы*). М. — Л., 1951, с. 510.

¹¹ *Шеголев П. Е.* Декабристы. М. — Л., 1926, с. 161.

¹² Декабристы, с. 459.

¹³ Там же, с. 492.

¹⁴ Там же, с. 484—491.

¹⁵ *Плеханов Г. В.* Соч., т. X. М. — Л., 1925, с. 356—357.

¹⁶ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 30, с. 318.

¹⁷ *Лотман Ю. М.* В. И. Ленин об идеологической сущности движения декабристов. Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 251, 1970, с. 3—4.

¹⁸ Декабристы, с. 459.

¹⁹ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 3, с. 15; т. 15, с. 227.

²⁰ См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 20, с. 174—175.

²¹ *Тартаковский А. Г.* Просветительство и декабризм. — Освободительное движение в России, вып. 6, 1977, с. 128—129.

²² Ленинский сборник V, с. 67.

²³ *Пугачев В. В.* О специфике дворянской революционности. — Освободительное движение в России (Саратов), 1971, I, с. 22—28; *Лотман Ю. М.* Указ. соч., с. 5; *Ланда С. С.* Дух революционных преобразований... Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов 1816—1825. М., 1975, с. 150, 308.

²⁴ Восстание декабристов, т. IV. М. — Л., 1927, с. 101.

²⁵ См.: *Предтеченский А. В.* Указ. соч., с. 347—350.

²⁶ *Семевский В. И.* Указ. соч., с. 618.

²⁷ Декабристы, с. 50.

²⁸ *Лебедев Н. М.* «Отрасль» Рылеева в Северном обществе декабристов. — Очерки из истории движения декабристов. Сб. статей. М., 1954, с. 364.

²⁹ Восстание декабристов, т. III. М. — Л., 1927, с. 371.

³⁰ *Горбачевский И. И.* Записки. Письма. М., 1963, с. 34.

³¹ *Нечкина М. В.* В. И. Ленин — историк революционного движения России. — В. И. Ленин и историческая наука. М., 1968, с. 48.

³² *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 5, с. 352.

³³ См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 21, с. 261; т. 23, с. 398.

³⁴ См.: История СССР с древнейших времен до наших дней. В 2-х сериях, 12-ти т., т. IV. М., 1967, с. 163.

³⁵ Восстание декабристов, т. IV, с. 179.

³⁶ Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. 1, с. 244; Восстание декабристов, т. V. М. — Л., 1926, с. 12.

³⁷ *Розен А. Е.* Записки декабриста. СПб., 1907, с. 57.

³⁸ Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981, с. 67 (Из

Прибавления к Запискам князя Сергея Петровича Трубецкого); *Ровен А. Е.* Записки декабриста. Иркутск, 1984, с. 133.

³⁹ Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1816—1824 годы, т. III. — Архив братьев Тургеневых, вып. 5. Пг., 1921, с. 183.

⁴⁰ Там же, с. 59, 158, 167 и др.

⁴¹ Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. 1, с. 497.

⁴² См. подробнее: *Плимак Е. Г.* Революционный процесс и революционное сознание. М., 1983.

⁴³ Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1816—1824 годы, т. III, с. 114.

⁴⁴ Там же, с. 302.

⁴⁵ Цит. по: *Пугачев В. В.* О специфике дворянской революционности. — Освободительное движение в России, I, 1971, с. 26.

⁴⁶ Восстание декабристов, т. IV, с. 90—92.

⁴⁷ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 30, с. 315.

⁴⁸ Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981, с. 73.

⁴⁹ См.: Манифест к русскому народу, найденный в бумагах Трубецкого. — Восстание декабристов, т. I. М. — Л., 1925, с. 107—108.

⁵⁰ *Эйдельман Н.* Апостол Сергей. Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле. М., 1975, с. 264.

⁵¹ См.: *Сказин Е. В.* Восстание 14 декабря 1825 года. М. — Л., 1925; *Нечкина М. В.* День 14 декабря 1825 года. М., 1975, и др.

⁵² См.: *Габаев Г. С.* Гвардия в декабрьские дни 1825 года (военно-историческая справка). — *Пресняков А. Е.* 14 декабря 1825 года. М. — Л., 1926; *Кузьмин Г. В., Орлов В. С.* Военно-тактическая подготовка и ход восстания декабристов. — Декабристы. Сб. статей. М., 1951, и др.

⁵³ *Нечкина М. В.* День 14 декабря 1825 года, с. 345.

⁵⁴ Там же, с. 218, 345.

⁵⁵ См.: *Сказин Е. В.* Указ. соч., с. 34; *Нечкина М. В.* День 14 декабря 1825 года, с. 101.

⁵⁶ Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981, с. 74.

⁵⁷ Восстание декабристов, т. I, с. 66.

⁵⁸ *Сказин Е. В.* Указ. соч., с. 42.

⁵⁹ Там же, с. 41.

⁶⁰ *Нечкина М. В.* День 14 декабря 1825 года, с. 187—188.

⁶¹ *Гордин Яков.* Гибель полковника Булатова. — Аврора, 1975, № 12, с. 63.

⁶² *Нечкина М. В.* День 14 декабря 1825 года, с. 195.

⁶³ Восстание декабристов, т. III. М. — Л., 1927, с. 371.

⁶⁴ *Горбачевский И. И.* Записки. Письма. М., 1963, с. 14.

⁶⁵ Восстание декабристов, т. II. М. — Л., 1926, с. 170.

⁶⁶ См.: *Порох И. В.* Восстание Черниговского полка. — Очерки из истории движения декабристов. М., 1954, с. 166, 173—174.

⁶⁷ *Беляев А.* Воспоминания декабриста о пережитом и пережитом. 1805—1850. СПб., 1882, с. 173.

⁶⁸ Записки декабриста Д. И. Завалишина. СПб., 1906, с. 196—197.

⁶⁹ Декабристы. Материалы и документы. Харьков, 1926, с. 204.

⁷⁰ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 36, с. 81.

⁷¹ *Пресняков А. Е.* Указ. соч., с. 204—205.

⁷² Записки декабриста Д. И. Завалишина, с. 191.

⁷³ *Беляев А. П.* Указ. соч., с. 173.

⁷⁴ Междоусобице 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М. — Л., 1926, с. 25.

⁷⁵ *Нечкина М. В.* День 14 декабря 1825 года, с. 231.

- ⁷⁶ Пресняков А. Е. Указ. соч., с. 205.
⁷⁷ Записки декабриста Д. И. Завалишина, с. 197.
⁷⁸ Там же, с. 191.
⁷⁹ Пресняков А. Е. Указ. соч., с. 204.
⁸⁰ Воспоминания Бестужевых. М.—Л., 1951, с. 30—31.
⁸¹ Довнар-Запольский М. В. Мемуары декабристов, вып. 1. Киев, 1906, с. 52.
⁸² Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984, с. 135.
⁸³ Горбачевский И. И. Записки. Письма, с. 89.
⁸⁴ Гордин Я. Парадокс 14 декабря. — Сибирь, 1975, № 4, с. 128.
⁸⁵ Восстание декабристов, т. XVII. М.—Л., 1980, с. 65.
⁸⁶ См.: Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, с. 490.
⁸⁷ Цит. по: Эйдельман Н. Лунин. М., 1970, с. 85—86.
⁸⁸ Пушкин А. С. Стихотворения и поэмы, М., 1972, с. 117.
⁸⁹ Плеханов Г. В. Соч., т. X. М.—Л., 1925, с. 367.
⁹⁰ Дьяков В. А. Освободительное движение в России 1825.—1861 гг. М., 1979, с. 46—47.
⁹¹ Заблужкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время. т. II. СПб., 1882, с. 203—204.
⁹² Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. М., 1977, с. 231—239.
⁹³ Записки декабриста Д. И. Завалишина. СПб., 1906, с. 211; см. также: Семенова А. В. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982, с. 17—60.
⁹⁴ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 17, с. 520—521.
⁹⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. Изд. 4, т. 5. Л., 1978, с. 183—184.
⁹⁶ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 261.

Глава 4. Российская утопия Павла Пестеля (с. 118—131)

- ¹ Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, с. 501.
² Записки Н. В. Басаргина. Пг., 1917, с. 3, 10.
³ Цит. по: Володин А. Революция, литература, нравственность. — Степняк-Кравчинский С. М. Избранное. М., 1972, с. 9.
⁴ Довнар-Запольский М. В. Мемуары декабристов. Киев, 1906, с. 207.
⁵ Восстание декабристов, т. XVII. М., 1980, с. 41.
⁶ Сыроечковский Б. Е. Из истории движения декабристов. М., 1969, с. 174.
⁷ Павлов-Сильванский Н. Декабрист Пестель перед Верховным уголовным судом. Ростов н/Дону, [б. г.], с. 66.
⁸ Там же, с. 110—111.
⁹ Довнар-Запольский М. В. Мемуары декабристов, с. XXIV.
¹⁰ Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981, с. 13 (здесь в мемуарах очевидно ошибка: речь идет о Комитете общественного спасения).
¹¹ Довнар-Запольский М. В. Указ. соч., с. 211.
¹² См.: Манфред А. З. Три портрета эпохи Великой французской революции. М., 1979, с. 304—305.
¹³ Семевский В. И. Указ. соч., с. 224.
¹⁴ Дневники и письма Н. И. Тургенева. — Архив братьев Тургеневых, вып. 5. Пг., 1921, т. III, с. 10.
¹⁵ Восстание декабристов, т. VII. М., 1958, с. 298.

- ¹⁶ Восстание декабристов, т. IV. М. — Л., 1927, с. 91.
- ¹⁷ Сыроечковский Б. Е. Указ. соч., с. 206—207.
- ¹⁸ Восстание декабристов, т. VII, с. 184.
- ¹⁹ Дружинин Н. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933, с. 323.
- ²⁰ Поджио А. В. Записки декабриста. М. — Л., 1960, с. 56.
- ²¹ Восстание декабристов, т. VII, с. 301.
- ²² См.: Лебедев Н. М. Пестель — идеолог и руководитель декабристов. М., 1972, с. 147—148.
- ²³ Дружинин Н. Указ. соч., с. 224.
- ²⁴ Восстание декабристов, т. IV, с. 87.
- ²⁵ Восстание декабристов, т. VII, с. 69.
- ²⁶ Там же, с. 296.
- ²⁷ Там же, с. 300.
- ²⁸ Сыроечковский Б. Е. Указ. соч., с. 193.
- ²⁹ Дружинин Н. Указ. соч., с. 112.
- ³⁰ Восстание декабристов, т. VII, с. 196.
- ³¹ Дружинин Н. Указ. соч., с. 322.
- ³² Восстание декабристов, т. VII, с. 204.
- ³³ Там же, с. 137, 205.
- ³⁴ Там же, с. 204.
- ³⁵ Дружинин Н. Указ. соч., с. 324.
- ³⁶ Восстание декабристов, т. VII, с. 204.
- ³⁷ Там же, с. 121, 122, 123.
- ³⁸ Там же, с. 149.
- ³⁹ Там же, с. 150.
- ⁴⁰ Там же, с. 118.
- ⁴¹ Там же, с. 152, 179.
- ⁴² Там же, с. 187.
- ⁴³ Там же, с. 192.
- ⁴⁴ Там же, с. 152.
- ⁴⁵ Горбачевский И. И. Записки. Письма. М., 1963, с. 23.
- ⁴⁶ См. об этом: Фурсенко А. А. Американская буржуазная революция XVIII века. М. — Л., 1960, с. 134—135.

Глава 5. У истоков «русского социализма» (с. 132—159)

- ¹ См.: Володин А. И. Начало социалистической мысли в России. М., 1966; его же. Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. М., 1973; Смирнова Э. В. Социальная философия Герцена. М., 1972, и др.
- ² Володин А. И. Начало социалистической мысли в России, с. 93—94.
- ³ Дьяков В. А. Освободительное движение в России. 1825—1861. М., 1979, с. 132.
- ⁴ Володин А. И. Утопия и история. М., 1976, с. 233.
- ⁵ Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, т. II. М., 1914, с. 302—303.
- ⁶ Красный архив, 1929, № 6, с. 149.
- ⁷ Огарев Н. Н. Избранные социально-политические и философские произведения, т. II. М., 1956, с. 326—327.
- ⁸ Пушкин А. С. Поли. собр. соч., т. VII. М., 1978, с. 199.
- ⁹ См.: Володин А. И. Начало социалистической мысли в России, с. 83—93.
- ¹⁰ Литературное наследство, т. 63, с. 288.
- ¹¹ Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, т. II, с. 200—201.
- ¹² Там же, с. 201.

- ¹³ Там же, т. I. М., 1913, с. 212.
¹⁴ Там же, т. II, с. 224.
¹⁵ Там же, с. 228.
¹⁶ Там же, с. 227.
¹⁷ Там же, с. 230.
¹⁸ Там же, с. 227.
¹⁹ *Киреевский И. В.* Критика и эстетика. М., 1979, с. 145—146.
²⁰ Там же, с. 148.
²¹ *Хомяков А. С.* Полн. собр. соч., т. III. М., 1914, с. 20.
²² *Киреевский И. В.* Критика и эстетика, с. 144, 292.
²³ *Хомяков А. С.* Поли. собр. соч., т. III, с. 462.
²⁴ Там же.
²⁵ Там же, с. 467—468.
²⁶ Сочинения Ю. Ф. Самарина, т. I. М., 1877, с. 39.
²⁷ См.: *Дмитриев С. С.* Славянофилы и славянофильство. — Историк-марксист, 1941, № 1.
²⁸ Письма Огарева к Герцену. Годы студенчества (1832—1833). — Литературное наследство, т. 61. М., 1958, с. 706.
²⁹ *Володин А. И.* Начало социалистической мысли в России, с. 147—152.
³⁰ *Огарев Н. П.* Избранные социально-политические и философские произведения, т. II, с. 271.
³¹ Там же, с. 285.
³² *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 21, с. 257.

Глава 6. 1861 год: на переломе российской истории (с. 160—182)

- ¹ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 20, с. 179.
² Революционная ситуация в России в середине XIX века. М., 1978, с. 9.
³ *Пинаев М.* Зоркость и предвидения художника-мыслителя. — Наш современник, 1978, № 11, с. 158. Аналогичную формулу находим и в книге: *Новикова Н. Н., Клосс Б. М., Н. Г. Чернышевский* во главе революционеров 1861 года. М., 1981, с. 38.
⁴ Ср.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 20, с. 140, 166, 172; т. 26, с. 218—219, и Революционная ситуация в России в середине XIX века, с. 5, 10, 11, 12, 14, 69, 152, 221 и др.
⁵ Примерные расчеты сделаны на основании сб. документов: Крестьянское движение в России в 1857 — мае 1861 г. М., 1963, с. 14.
⁶ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 17, с. 520—521; *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 20, с. 140, 173.
⁷ Революционная ситуация в России в середине XIX века, с. 206.
⁸ Там же, с. 12.
⁹ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 20, с. 178.
¹⁰ Чернышевский в воспоминаниях современников. В 2-х т., т. II. Саратов, 1959, с. 90—91.
¹¹ Колокол, л. 64, 1 марта 1860 г., с. 533—535. Факсимильное издание. М., 1962.
¹² См.: *Нечкина М. В.* Встреча двух поколений. М., 1980, с. 88, 180 и др.; Революционная ситуация в России в середине XIX века, с. 154.
¹³ Колокол, л. 101, 15 июня 1861 г.; с. 845—848; л. 103, 15 июля 1861 г., с. 862—866; л. 104, 1 августа 1861 г., с. 869—874; л. 105, 15 августа 1861 г., с. 877, 879—883; л. 106, 1 сентября 1861 г.,

с. 884—888; л. 110, 1 ноября 1861 г., с. 918. Факсимильное издание. М., 1962.

¹⁴ Чернышевский в воспоминаниях современников. В 2-х т., т. I. Саратов, 1958, с. 202.

¹⁵ Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания. В 2-х т., т. 1. М., 1967, с. 158. О полемике в советской литературе вокруг единого «прокламационного плана» см.: Виленская Э. С. Революционное подполье в России (60-е годы XIX века). М., 1965, с. 85—89.

¹⁶ Из письма П. Г. Заичневского от 1889 г. Цит. по: Лемке Мих. Политические процессы в России 1860-х гг. М. — П., 1923, с. 521.

¹⁷ Подробнее о деятельности этой организации см.: Линков Я. И. Революционная борьба А. И. Герцена и Н. П. Огарева и тайное общество «Земля и воля» 1860-х годов. М., 1964.

¹⁸ Народное дело. Женева, октябрь 1868, № 2—3, с. 33.

¹⁹ Линков Я. И. Указ. соч., с. 97.

²⁰ Сб. Социальный вопрос, № 1. Издание группы социалистов-народников. [Казань], 1888, с. 15.

²¹ Писарев Д. И. Полн. собр. соч. В 6-ти т., т. 4. СПб., 1912, стб. 578—579.

²² См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 16, с. 216; т. 20, с. 165—167 и др.

Глава 7. Николай Чернышевский. На пути к созданию «правильной революционной теории» (с. 183—203)

¹ *Saint-Just. Discours et rapport.* Paris, 1957, p. 145.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. III, с. 82.

³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 57.

⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. I, с. 347.

⁵ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 17—18.

⁶ Мы излагаем взгляды К. Д. Кавелина, Б. Н. Чичерина, А. И. Кошелева. См.: Кавелин К. Д. Собр. соч., т. II. СПб., 1898, стб. 33, 64; Голоса из России, ч. 1. Лондон, 1856, с. 13—16. Факсимильное издание. М., 1974; Колокол, л. 29, 1 декабря 1858 г., с. 236—239. Факсимильное издание. М., 1960.

⁷ Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. В 2-х т., т. II. Саратов, 1959, с. 135.

⁸ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 35, с. 137; т. 19, с. 305.

⁹ Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. В 2-х т., т. II. Саратов, 1959, с. 196.

¹⁰ См. подробнее: Плимак Е. Испытание временем. Вопросы литературы, 1978, № 2; Плимак Е. В конце моей истории есть секреты. — Молодой коммунист, 1978, № 8.

Глава 8. Нечаев и «нечаевщина». Заговорщичество в России (с. 204—224)

¹ Ралли-Арборе Э. Сергей Геннадьевич Нечаев. — Былое. СПб., 1906, № 7, с. 144.

² Историко-революционная хрестоматия, т. 1. М., 1923, с. 89.

³ Письма М. А. Бакунина А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб., 1906, с. 394.

- ⁴ Борьба классов. Л., 1924, № 1—2, с. 268—272; Бакунин М. А. Речи и воззвания. [Б. м.], 1906, с. 259—269.
- ⁵ Письмо М. Бакунина — С. Нечаеву от 2/VI—1870 (опубликовано М. Confino). — *Cahiers du monde russe et soviétique*, oct. — dec. 1966, vol. VII, p. 632. Абрек — кавказский горец, изгнанный из своего клана или взявший на себя долг кровавой мести.
- ⁶ Стеклов Ю. Михаил Александрович Бакунин. Его жизнь и деятельность, т. 3. М. — Л., 1927, с. 436.
- ⁷ Нечаев и нечаевцы. М. — Л., 1931, с. 108.
- ⁸ Там же, с. 122.
- ⁹ Гольденберг Л. Б. Воспоминания. — Каторга и ссылка, 1924, № 3 (10), с. 102.
- ¹⁰ Нечаев и нечаевцы, с. 140.
- ¹¹ Там же с. 118.
- ¹² Ралли З. Михаил Александрович Бакунин. — Минувшие годы. СПб., 1908, октябрь, с. 160.
- ¹³ Сочинения Н. К. Михайловского, т. 1. СПб., 1911, с. 869.
- ¹⁴ Тун А. История революционных движений в России. СПб., [б. г.], с. 86.
- ¹⁵ См. особенно: Гамбаров А. В спорах о Нечаеве. М. — Л., 1926.
- ¹⁶ Квинтэссенция этих работ выражена в книге: *Prawdin M. The Unmentionable Nechaev. A Key to Bolshevism.* L., 1961.
- ¹⁷ Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. «Нечаевщина» и ее современные буржуазные «исследователи». — История СССР, 1960, № 6; см. также: Володин А. И., Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. Чернышевский или Нечаев? О подлинной и мнимой революционности в освободительном движении России 50—60-х годов XIX века. М., 1976.
- ¹⁸ Фроленко М. Ф. Записки семидесятника. М., 1927, с. 87—88.
- ¹⁹ Историко-революционная хрестоматия, т. 1, с. 59.
- ²⁰ Покушение Каракозова. Стенографический отчет, т. 1. М., 1928, с. 172.
- ²¹ Там же, с. 103, 105—106, 158; т. VI, с. 173.
- ²² См., напр.: Аптекман О. В. Общество «Земля и воля» 70-х годов. Пг., 1924, с. 59—60; Былое, 1907, № 9 (21), с. 183; Фигнер В. Поли. собр. соч. В 7-ми т., т. 1. М., 1932, с. 91; Лавров П. Л. Народники-пропагандисты 1873—1878 гг. Л., 1925, с. 31; Чарушин Н. А. О далеком прошлом. Из воспоминаний о революционном движении 70-х гг. XIX в. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1973, с. 108—109; Обще-ственно-политические и культурные связи народов СССР и Югосла-вии. Сб. статей. М., 1957, с. 330—331, и др.
- ²³ Дебогорий-Мокриевич Вл. От бунтарства к терроризму, кн. 1. М. — Л., 1930, с. 88—89.
- ²⁴ Архив «Земли и воли» и «Народной воли». М., 1932, с. 65.
- ²⁵ Бух Н. К. Воспоминания. М., 1928, с. 133.
- ²⁶ Революционное народничество 70-х годов XIX в., т. 1. М., 1964, с. 316; см. также: Чарушин Н. А. Указ. соч., с. 116; Фроленко М. Ф. Записки семидесятника, с. 58.
- ²⁷ Бух Н. К. Воспоминания, с. 48—49.
- ²⁸ Козьмин Б. П. Нечаев и его противники. — Революционное дви-жение 1860-х годов. М., 1932, с. 169—170.
- ²⁹ Стеклов Ю. Михаил Александрович Бакунин, т. 3, с. 513.
- ³⁰ Лавров П. Л. (П. Миртов). Народники-пропагандисты 1873—1878 годов. Л., 1925, с. 27.
- ³¹ Стеклов Ю. Михаил Александрович Бакунин, т. 3, с. 543.
- ³² Нечаев и нечаевцы, с. 138.
- ³³ Революционное движение 1860-х годов. М., 1932, с. 233.

- ³⁴ Нечаев и нечаевцы, с. 219.
- ³⁵ Письмо М. Бакунина — С. Нечаеву от 2/VI — 1870. — *Op. cit.*, р. 674.
- ³⁶ *Ткачев П. Н.* Избр. соч., т. III. М., 1933, с. 263, 268, 253, 265, 252, 267—268.
- ³⁷ Новое о С. Г. Нечаеве. — Красный архив, 1926, т. XV, с. 158.
- ³⁸ *Кункль А.* Долгушинцы. М., 1932, с. 40.
- ³⁹ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч., т. 10. Л., 1974, с. 298.
- ⁴⁰ См.: *Лавров П. Л.* Избранные сочинения на социально-политические темы. В 8-ми т., т. 3. М., 1934, с. 362; *Лавров П. Л.* Философия и социология. Избр. произв. В 2-х т., т. 2. М., 1965, с. 481—483.
- ⁴¹ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 1, с. 65.
- ⁴² Народная расправа, 1870, № 2.
- ⁴³ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 18, с. 414.
- ⁴⁴ *Маркс К., Энгельс Ф.* Из ранних произведений. М., 1956, с. 587.
- ⁴⁵ *Достоевский Ф. М.* Указ. соч., с. 322.
- ⁴⁶ Там же, с. 323.
- ⁴⁷ Письмо М. Бакунина — С. Нечаеву от 2/VI — 1870. — *Op. cit.*, р. 652.
- ⁴⁸ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 8, с. 94.
- ⁴⁹ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 45, с. 391—392; т. 50, с. 295.

Глава 9. «Хождение в народ» (с. 225—250)

- ¹ *Итенберг Б. С.* Движение революционного народничества. М., 1965, с. 414.
- ² Там же, с. 24.
- ³ *Степняк-Кравчинский С.* Соч., т. 1. М., 1958, с. 374.
- ⁴ *Чарушин Н. С.* О далеком прошлом. Из воспоминаний о революционном движении 70-х гг. XIX в. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1973, с. 31—32; *Дебогорий-Мокриевич Вл.* От бунтарства к терроризму, кн. 1. М. — Л., 1930, с. 59.
- ⁵ Былое, 1924, № 26, с. 83.
- ⁶ О различии «индивидуального», «группового» и «массового» этапов становления идеологии народничества см.: *Пантин И. К.* Социалистическая мысль в России: переход от утопии к науке. М., 1973, с. 124—130.
- ⁷ *Аптекман О. В.* Общество «Земля и воля» 70-х гг. по личным воспоминаниям. Пг., 1924, с. 30.
- ⁸ См. подробнее: *Неманов И. Н.* Социальный утопизм и общественная мысль. — Методологические проблемы истории, философии и общественной мысли. М., 1977.
- ⁹ *Михайловский Н. К.* Соч., т. III. СПб., 1897, с. 404.
- ¹⁰ *Грашки А.* Избр. произв. В 3-х т., т. 3. М., 1959, с. 14.
- ¹¹ *Аптекман О. В.* Указ. соч., с. 76—78.
- ¹² *Дебогорий-Мокриевич Вл.* Указ. соч., с. 63.
- ¹³ *Клевенский М. М.* Александр Дмитриевич Михайлов. М., 1925, с. 35.
- ¹⁴ Литература партии «Народная воля». М., 1930, с. 114—115.
- ¹⁵ *Фроленко М. Ф.* Записки семидесятника. М., 1927, с. 87.
- ¹⁶ *Рашковский Е. Б.* Об одной из социально-психологических предпосылок институционализации в развивающихся странах (еще раз о проблеме «популизма» в странах третьего мира). — Общество,

элита и бюрократия в развивающихся странах Востока, кн. 1. М., 1974, с. 68—70.

¹⁷ *Богучарский В.* Активное народничество семидесятых годов. М., 1912, с. 179.

¹⁸ *Былое*, 1907, № 7, июль, с. 64.

¹⁹ *Былое*, 1907, № 3, март, с. 15.

²⁰ *Аптекман О. В.* Указ. соч., с. 59.

²¹ *Дебогорий-Мокриевич Вл.* Указ. соч., с. 92.

²² Там же, с. 57.

²³ *Кропоткин П. А.* Записки революционера. М. — Л., 1933, с. 198.

²⁴ *Аптекман О. В.* Указ. соч., с. 80.

²⁵ *Берви-Флеровский В.* Записки революционера-мечтателя. М. — Л., 1929, с. 107.

²⁶ *Богучарский В.* Активное народничество семидесятых годов, с. 153.

²⁷ *Былое*, 1906, № 5, май, с. 213.

²⁸ *Берви-Флеровский В.* Записки революционера-мечтателя, с. 169.

²⁹ *Русанов Н. С.* На родине. 1859—1882. М., 1931, с. 89.

³⁰ Там же, с. 131—132.

³¹ *Васильев Н. В.* В семидесятые годы. М. — Л., 1931, с. 62—63.

³² *Лавров П. Л. (П. Миртов).* Народники-пропагандисты 1873—78 годов. СПб., 1907, с. 164.

³³ Революционное народничество семидесятых годов XIX века, т. 1. М., 1964, с. 208.

³⁴ *Аптекман О. В.* Указ. соч., с. 238.

³⁵ *Морозов Н. А.* Повести моей жизни, т. 1. М., 1965, с. 74, 75.

³⁶ *Аптекман О. В.* Указ. соч., с. 173.

³⁷ *Лукашевич А. О.* Нечто из опытной практики. — Красный архив, 1926, т. XV, с. 127—128.

³⁸ *Дебогорий-Мокриевич Вл.* Указ. соч., с. 98.

³⁹ Революционное народничество семидесятых годов XIX века, т. 1, с. 166.

⁴⁰ *Ковалик С. Ф.* Революционное движение семидесятых годов и процесс 193-х. М., 1928, с. 109.

⁴¹ Цит. по: *Богучарский В.* Активное народничество семидесятых годов, с. 152.

⁴² *Аптекман О. В.* Указ. соч., с. 138.

⁴³ *Клеменц Д. А.* Из прошлого. Воспоминания. Л., 1925, с. 125, 123.

⁴⁴ *Аптекман О. В.* Указ. соч., с. 51.

⁴⁵ *Морозов Н. А.* Повести моей жизни, т. 2. М., 1965, с. 367.

⁴⁶ *Народоволец А. И.* Баранников в его письмах. М., 1935, с. 62.

⁴⁷ *Чарушин Н. А.* О далеком прошлом. Кружок чайковцев. М., 1926, с. 157.

⁴⁸ *Базанов Вас.* Русские революционные демократы и народозна-ние. Л., 1974, с. 248.

⁴⁹ *Острогорский В. П.* Из истории моего учительства. СПб., 1914, с. 56.

⁵⁰ *Базанов Вас.* Указ. соч., с. 268—269.

⁵¹ Там же, с. 259.

⁵² Революционное народничество семидесятых годов XIX века, т. 1, с. 168.

⁵³ *Левенталь Н.* Накануне «хождения в народ». М., 1927, с. 10.

⁵⁴ *Фроленко М. Ф.* Записки семидесятника, с. 47.

⁵⁵ *Ковалик С. Ф.* Указ. соч., с. 17.

⁵⁶ *Дебогорий-Мокриевич Вл.* Указ. соч., с. 154.

- ⁵⁷ Левенталь Н. Указ. соч., с. 13.
- ⁵⁸ Бух Н. К. Воспоминания. М., 1928, с. 113.
- ⁵⁹ Фроленко М. Ф. Указ. соч., с. 110.
- ⁶⁰ Аптекман О. В. Указ. соч., с. 136.
- ⁶¹ Кункль А. Долгушинцы. М., 1932, с. 101—103.
- ⁶² Дейч Л. За полвека, т. 1. Берлин, 1923, с. 219—220.
- ⁶³ Аптекман О. В. Указ. соч., с. 436.
- ⁶⁴ Лукашевич А. В народ! (Из воспоминаний семидесятника). — Былое, 1907, № 3, март, с. 40—41.
- ⁶⁵ Базанов Вас. Указ. соч., с. 529—531.
- ⁶⁶ Фроленко М. Ф. Указ. соч., с. 48.
- ⁶⁷ Кункль А. Долгушинцы, с. 107—108.
- ⁶⁸ Цит. по: Богучарский В. Указ. соч., с. 197.
- ⁶⁹ Аптекман О. В. Указ. соч., с. 152.
- ⁷⁰ Там же.
- ⁷¹ Лукашевич А. О. В народ! Указ. соч., с. 28.
- ⁷² Богучарский В. Указ. соч., с. 188—189.
- ⁷³ Попов М. Р. Записки землевольца. М., 1933, с. 126.
- ⁷⁴ Итенберг Б. С. Указ. соч., с. 53.
- ⁷⁵ Революционное народничество семидесятых годов XIX века, т. 1, с. 282.
- ⁷⁶ Дейч Л. За полвека, т. 1, с. 199.
- ⁷⁷ Лукашевич А. О. Нечто из попыточной практики, с. 129.
- ⁷⁸ Лукашевич А. О. В народ! — Указ. соч., с. 34.
- ⁷⁹ Революционное народничество семидесятых годов XIX века, т. 1, с. 277—278.
- ⁸⁰ Ковалик С. Ф. Указ. соч., с. 142.
- ⁸¹ Иванчин-Писарев А. И. Из воспоминаний о «хождении в народ». СПб., 1914, с. 12.
- ⁸² Там же, с. 165.
- ⁸³ См.: Троицкий Н. А. Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма 1866—1882. М., 1978, с. 54.
- ⁸⁴ Дебогорий-Мокриевич Вл. Указ. соч., с. 217—218.
- ⁸⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 304.
- ⁸⁶ Базанов Вас. Указ. соч., с. 533.
- ⁸⁷ Головина-Юргенсон Н. А. Мои воспоминания. — Каторга и ссылка, 1923, № 6, с. 30—31.

Глава 10. Тупики революционного терроризма (с. 251—270)

- ¹ Дебогорий-Мокриевич Вл. От бунтарства к терроризму, кн. 2. М. — Л., 1930, с. 52.
- ² Попов М. Р. Записки землевольца. М., 1933, с. 308.
- ³ Дейч Л. За полвека, т. II. Берлин, 1923, с. 45—49.
- ⁴ Васильев Н. В. В семидесятые годы. М. — Л., 1931, с. 68.
- ⁵ Фигнер В. Запечатленный труд. Воспоминания. В 2-х т., т. 1. М., 1964, с. 229; Аптекман О. В. Земля и воля 70-х годов. Пг., 1924, с. 217.
- ⁶ Ткаченко П. С. Революционная организация «Земля и воля», М., 1961, с. 78.
- ⁷ Бervi-Флеровский В. Записки революционера-мечтателя. М. — Л., 1929, с. 166.
- ⁸ См.: Кравчинский С. Смерть за смерть (Убийство Мезенцева). Пг., 1920.

- ⁹ Революционная журналистика 70-х годов. Ростов-на-Дону, 1907, с. 104.
- ¹⁰ Литература партии «Народная воля». М., 1930, с. 4.
- ¹¹ Былое, 1906, № 1, январь, с. 299.
- ¹² Морозов Н. Террористическая борьба. Лондон, 1880, с. 6—8.
- ¹³ Литература партии «Народная воля», с. 27.
- ¹⁴ См.: Революционное народничество семидесятых годов XIX века, т. II. М. — Л., 1965, с. 175—183, 190—191.
- ¹⁵ См. там же, с. 194—195, 221—222, 223—224.
- ¹⁶ См.: Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. М., 1964, с. 298—299.
- ¹⁷ Подробнее об этом см. там же.
- ¹⁸ Русанов И. С. На родине. 1859—1882. М., 1931, с. 269—270.
- ¹⁹ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 372.
- ²⁰ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 300; т. 26, с. 218—219, 379.
- ²¹ Фигнер В. Н. Полн. собр. соч. В 6-ти т., т. 4. М., 1929, с. 118.
- ²² См.: Зайончковский П. А. Указ. соч., с. 16; Седов М. Г. Героический период революционного народничества (Из истории политической борьбы). М., 1966, с. 16; Волк С. С. Народная воля. 1879—1882. М. — Л., 1966, с. 62—63, и др.
- ²³ См.: Хейфец М. И. Вторая революционная ситуация в России (конец 70-х — начало 80-х годов XIX века). Кризис правительственной политики. М., 1963, с. 33—46, 46—51.
- ²⁴ Валуев П. А. Дневник. 1877—1884. Пг., 1919, с. 26.
- ²⁵ Там же, с. 51.
- ²⁶ Зайончковский П. А. Указ. соч., с. 284.
- ²⁷ Богучарский В. Я. Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX века. Партия «Народной воли», ее происхождение, судьба и гибель. М., 1912, с. 247.
- ²⁸ Былое, 1918, № 10—11, октябрь — ноябрь, с. 165.
- ²⁹ См. подробнее: Хейфец М. И. Указ. соч., с. 82.
- ³⁰ См.: Седов М. Г. Указ. соч., с. 319.
- ³¹ Морозов Н. А. Повести моей жизни, т. 2. М., 1965, с. 412.
- ³² См., напр.: Волк С. С. Указ. соч., с. 277; Троицкий Н. А. Безумство храбрых. М., 1978, с. 141, и др.
- ³³ См.: Седов М. Г. Указ. соч., с. 213—217.
- ³⁴ Волк С. С. Указ. соч., с. 276—277.
- ³⁵ Литература партии «Народная воля», с. 308, 109.
- ³⁶ Революционное народничество семидесятых годов XIX века, т. II, с. 189.
- ³⁷ Литература партии «Народная воля», с. 4, 16—17, 28, 83, 287 и др.; см. также: Былое, 1906, № 3, март, с. 72.
- ³⁸ Революционная журналистика 70-х годов, с. 72.
- ³⁹ Былое, 1906, № 4, апрель, с. 219.
- ⁴⁰ См. подробнее: Твардовская В. А. Социалистическая мысль России на рубеже 1870—1880 годов. М., 1969.
- ⁴¹ Русанов И. С. На родине. 1859—1882, с. 266.
- ⁴² Морозов Н. А. Повести моей жизни, т. 2, с. 414.
- ⁴³ Революционная журналистика 70-х годов, с. 305.
- ⁴⁴ Морозов Н. Террористическая борьба, с. 3—4.
- ⁴⁵ См.: Фигнер В. Запечатленный труд, т. 1, с. 261.
- ⁴⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 176; т. 6, с. 180—181; т. 12, с. 180.

⁴⁷ Подробнее см.: *Плимак Е. Г., Хорос В. Г.* «Народная воля»: история и современность. — Вопросы философии, 1981, № 5.

⁴⁸ Литература партии «Народная воля», с. 127.

Глава 11. Демарксистский период освободительной борьбы в России: некоторые итоги (с. 271—292)

¹ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 21, с. 255.

² *Эйдельман Н.* Лунин. М., 1970, с. 12.

³ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 25, с. 94.

⁴ См. там же.

⁵ Письмо М. Бакунина — С. Нечаеву от 2/VI—1870 г. (опубликовано в *Сaheirs du monde russe et soviétique*, oct.—dec. 1966, vol. VII, p. 654).

⁶ Цит. по: *Вульфсон Г. Н.* Разночинно-демократическое движение в Поволжье и на Урале в годы первой революционной ситуации. Казань, 1974, с. 56.

⁷ *Ткачев П. Н.* Избранные сочинения на социально-политические темы. В 4-х т., т. III. М., 1933, с. 71.

⁸ См. подробнее: *Володин А. И., Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г.* Чернышевский или Нечаев? М., 1976.

⁹ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 32, с. 549.

¹⁰ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 19, с. 143.

¹¹ *Ковалик С. Ф.* Революционное движение семидесятых годов и процесс 193-х. М., 1928, с. 110.

¹² *Дебогорий-Мокриевич Вл.* От бунтарства к терроризму, ч. 1. М. — Л., 1930, с. 95.

¹³ *Ткачев П. Н.* Избранные сочинения на социально-политические темы, т. III, с. 423.

¹⁴ *В. В. (Воронцов В. П.).* Судьбы капитализма в России. СПб., 1882, с. 15, 16.

¹⁵ *Каблиц И. (Юзов И.).* Основы народничества, ч. 1. СПб., 1888, с. 410—426, 427.

¹⁶ См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 45, с. 379; т. 41, с. 3.

¹⁷ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 41, с. 8.

¹⁸ Уч. зап-ки Тартуского гос. ун-та, вып. 98, 1960, с. 17.

¹⁹ *Макашин С.* Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860 годов. Биография. М., 1972, с. 458.

²⁰ См.: *Плимак Е. Г.* К спору о политической позиции «позднего» Белинского. — История СССР, 1983, № 2.

²¹ См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 8, с. 136.

²² *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 21, с. 256.

²³ См. там же, с. 257.

²⁴ См.: *Пантин И. К.* Социалистическая мысль России: переход от утопии к науке. М., 1973, с. 319—351.

²⁵ См.: *Хорос В. Г.* Народническая идеология и марксизм (конец XIX в.). М., 1972, с. 133—146.

²⁶ *Лавров П. Л.* Философия и социология. Избр. произв. В 2-х т., т. 2. М., 1965, с. 239—240.

Глава 12. Марксистское решение проблемы (с. 293—319)

¹ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 7, с. 17.

² *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 8, с. 211.

- 3 *Маркс К., Энгельс Ф. Соч.*, т. 17, с. 556.
4 *Маркс К., Энгельс Ф. Соч.*, т. 29, с. 295.
5 *Маркс К., Энгельс Ф. Соч.*, т. 34, с. 290—291.
6 Там же, с. 292—293.
7 *Маркс К., Энгельс Ф. Соч.*, т. 1, с. 424.
8 *Маркс К., Энгельс Ф. Соч.*, т. 36, с. 315.
9 *Маркс К., Энгельс Ф. Соч.*, т. 19, с. 120.
10 Там же, с. 119.
11 *К. Маркс и Ф. Энгельс и революционная Россия. М., 1967,*
с. 435.
12 *Маркс К., Энгельс Ф. Соч.*, т. 19, с. 251.
13 Там же.
14 Там же, с. 401.
15 Там же, с. 415.
16 См.: *Маркс К., Энгельс Ф. Соч.*, т. 32, с. 549.
17 *Ленин В. И. Полн. собр. соч.*, т. 45, с. 379.
18 *Ленин В. И. Полн. собр. соч.*, т. 16, с. 269.
19 *Ленин В. И. Полн. собр. соч.*, т. 32, с. 28.
20 *Ленин В. И. Полн. собр. соч.*, т. 34, с. 114.
21 Там же.
22 Там же, с. 115.
23 *Ленин В. И. Полн. собр. соч.*, т. 45, с. 380—381.

Вместо заключения (с. 320—324)

- 1 *Ленин В. И. Полн. собр. соч.*, т. 21, с. 257.
2 См.: *Ленин В. И. Полн. собр. соч.*, т. 44, с. 407—408.
3 *Коммунист*, 1985, № 17, с. 17—18.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМАЦИОННОГО ПОРЯДКА	14
Глава 2. АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ. У ИСТОКОВ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТРАДИЦИИ	57
Глава 3. РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ В ВОЕННЫХ МУНДИРАХ	80
Глава 4. РОССИЙСКАЯ УТОПИЯ ПАВЛА ПЕСТЕЛЯ	. 118
Глава 5. У ИСТОКОВ «РУССКОГО СОЦИАЛИЗМА»	. 132
Глава 6. 1861 ГОД: НА ПЕРЕЛОМЕ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ	. 160
Глава 7. НИКОЛАИ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ «ПРАВИЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ»	183
Глава 8. НЕЧАЕВ И «НЕЧАЕВЩИНА». ЗАГОВОРЩИЧЕСТВО В РОССИИ	204
Глава 9. «ХОЖДЕНИЕ В НАРОД»	. 225
Глава 10. ТУПИКИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ТЕРРОРИЗМА	251
Глава 11. ДОМАРКСИСТСКИЙ ПЕРИОД ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ В РОССИИ: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ	271
Глава 12. МАРКСИСТСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ	. 293
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ	. 320
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА	. 325

Пантин И. К. и др.
П 16 Революционная традиция в России: 1783—
1883 гг. / И. К. Пантин, Е. Г. Плимак, В. Г. Хорос. —
М.: Мысль, 1986. — 343 с.
В пер.: 1 р. 90 к.

От Радищева до появления марксизма — такова панорама истории общественной мысли и революционной борьбы, рассматриваемая авторами. Предпринимаются попытки выявить особенности освободительного движения в России (соотносительно со странами Запада и Востока), диалектику национального и интернационального в российской революционной традиции, закономерности того процесса, в котором, по ленинскому выражению, «выстрадывался» марксизм. Данный целостный подход привел авторов к необходимости уточнения характеристик тех или иных фигур (декабристов, народников и др.) и тенденций освободительного движения.

П 0505000000-079
004(01)-86 25-86

ББК 63.3(2)4

Игорь Константинович Пантин
Евгений Григорьевич Плимак
Владимир Георгиевич Хорос

РЕВОЛЮЦИОННАЯ
ТРАДИЦИЯ
В РОССИИ:
1783 — 1883 гг.

Заведующий редакцией **В. С. Антонов**
Редактор **И. И. Макаров**
Младший редактор **О. В. Карева**
Оформление художника **Ф. Г. Миллера**
Художественный редактор **И. А. Дутов**
Технический редактор **Л. П. Гришина**
Корректор **Г. С. Михеева**

ИБ № 1656

Сдано в набор 15.11.85. Подписано в печать 13.02.86. А 08825. Формат 84×108^{1/32}.
Бумага тип. № 1. Печать высокая. Гарнитура «Литературная». Усл. печ.
л. 18,06. Усл. кр.-отг. 18,06. Уч.-изд. л. 19,76. Тираж 6000 экз. Заказ № 1530.
Цена 1 р. 90 к.

Издательство «Мысль». 117071, Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.